



СОГЛАСИЕ

Петр Алешковский

АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО

Роман



Сергей Петров

КАНОН

Стихи



В. Г. Короленко

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ

*По неопубликованным письмам В. Г. Короленко к родным
(1892—1919)*



8-12' 1993



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

№ 8—12 (25).
АВГУСТ—ДЕКАБРЬ 1993 ГОДА

МОСКВА. АО «СОГЛАСИЕ»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Петр Алешковский

АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО.

Роман. Вступительная статья Андрея Немзера

3

Сергей Петров

КАНОН. *Стихи*

57

Алексей Бердников

НЕКТО ПЕТРОВ

65

Кирилл Тынтарев

ШАРМУТТА АМЕРИКАИТ. *Рассказ*

67

Анатолий Кобенков

«ВСЕ ПОВТОРИТСЯ, ИБО — ВОЗВРАТИТСЯ». *Стихи*

72

Марина Тарковская

ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА. *Окончание*

76

Сергей Юрьенен
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ. *Роман. Окончание*

98

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Алла Марченко
ПРОЩАНИЕ С ИМПЕРИЕЙ

147

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери
ЦИТАДЕЛЬ. *Продолжение.*
Перевела с французского Марианна Кожевникова

154

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. Г. КОРОЛЕНКО

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ. *По неопубликованным письмам*
В. Г. Короленко к родным (1892—1919). Вступительная заметка,
публикация и примечания М. Г. Петровой

177

ВНЕ КОНТЕКСТА

В. Кардин
«О, КАКИМИ БЫЛИ Б МЫ СЧАСТЛИВЫМИ...»

211

ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*
Перевела с английского Юлия Муравьева

214

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Петр Алешковский
АРЛЕКИН, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА
ТРЕДИАКОВСКОГО

Роман

Памяти моего деда — Германа
Александровича Недошивина

Очень краткая повесть о том как Петр Маркович подружился с Василием Кирилловичем

Читатель, следящий за сегодняшней словесностью, может испытать минутное недоумение при знакомстве с романом Петра Алешковского. Формально жизнеописание Тредиаковского выпадает из круга постоянных предпочтений прозаика, уверенно заявившего о себе в начале 1990-х годов. Проза Алешковского мечена двумя отчетливыми единствами: он пишет о современности, пристально и доброжелательно вглядываясь в лица людей, которых испытывает на прочность нынешняя духовная смута; он сосредоточен на жизни провинциального города, конкретного, узнаваемого и в то же время созданного волей художника. Взаимодействие этих «единств» обеспечивает спаянность всех сочинений Алешковского: книга рассказов, волей обстоятельств существующая пока лишь в раздробленности отдельных газетных и журнальных публикаций, называется «Старгород», в Старгороде и его окрестностях разыгрываются события повестей «Чайки» и «Жизнеописание Хорька» («Дружба народов», 1992, № 4; 1993, № 7).

В романе же нас ждут история (далекий XVIII век) и география (дернув из Астрахани, Тредиаковский двинулся извилистым маршрутом: Москва — Голландия — Париж — Гамбург — Петербург). К тому же установка на вымысел (выхватывая из толчи отдельные лица, Алешковский изобретает судьбы неизвестных персонажей, сюжетная парадоксальность — сердце его прозы) в историческом романе нивелируется: сколь ни причудлива была судьба славного российского пиита, а укладывается она в «документированную» раму жизни (1703—1769).

Все так, но удивляться нечему. Можно не знать, что Алешковский

по «первой профессии» археолог и что книга о Третьяковском должна была быть его дебютом (написанное позже читаем раньше), — не чувствовать историко-культурного ядра его «современной» прозы — значит читать мимо текста. Потому что Старгород и его обыватели существуют только при свете тысячелетней истории России; потому что неповторимые характеры героев Алешковского созданы писателем, постоянно вслушивающимся в голоса легенды и летописи, былины и формулярного списка, прибаутки и челобитной, кляузы и молитвы, Гоголя и Лескова, «еллинского баснословия» и православной литургии; потому что «поэзия» и «правда» здесь постоянно перетекают друг в друга.

Закономерно, что первым героем Алешковского стал живой символ русского «архаизма», алчущий новизны, персонаж «плутовского романа жизни», оборачивающийся то протагонистом трагедии, то побеждаемым шутком фарса, «беглец» и «почвенник», провинциал, ставший создателем столичной петербургской культуры, — говоря короче, старгородец или поэт. Без Третьяковского не было бы старгородского цикла, как без Старгорода, в котором легко угадывается древнейший русский город, весело несущий через века свое веселое, сияющее новизной имя, не было бы изумительного многоцветия нашей истории.

Андрей Немзер

«Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние».

И. Ньютон. I закон движения

«Словесность наша. . . и Увещательница, и Преклонительница, и Утешительница, и Одобрительница, и законов Положительница, и от зверския нас жизни Отвратительница».

В. К. Тредиаковский

Часть первая

АСТРАХАНСКИЙ ПОПОВИЧ

1

Первая русская газета «Ведомости» в первом номере 1703 года сообщала:

«На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400. И еще много форм готовых, великих и средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пудов лежит.

Повелением его величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили.

В математической штурманской школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют.

На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужески и женска полу 386 человек.

Из Персиды пишут. Царь послал в дарах великому государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путем . . .

На Москве 1703 генваря в 2 день».

2

Кирилла Яковлев, священник астраханского собора Живоначальной Троицы, долго обсуждал со своим приятелем отцом Иосифом дела строительные. В кровле над дьяконником обнаружилась течь. В прошлый дождь натекло изрядно, теперь бы в сушь и починить. Крыть надлежало белым олифеным железом, отец Иосиф обещался уговорить митрополита, чтоб отпустил: запасено было на Успенский, но там вроде выходили излишки. Затем спустились в подклет, где хранился воск, и, как назло, чуть лоб не рассадили на лестнице: кирпич искрошился от постоянного хождения. Кирилла Яковлев упросил и лестницу переложить. Кирпич договорились взять с того же Успенского.

Пока уговаривал, пока ходил — недоглядел, рясу свечным салом закапал. А тут еще беспорядок: крысы воск учуяли. Все четыре тюка оборвали, крашенину растащили по полу. Вызвал послушников. Тюки разбирали, увязывали по новой, перекладывали: что порчено — к порченому, что сохранилось — к сохранимому. Носили наверх все по той же

лестнице. Сложили пока в келарской, а там уж пускай начальство монастырское решает — только эти твари везде нос сунут, не убережешься.

Так утро прошло. К матушке не навывался. Сегодня опять — пироги пекла, прислонясь к печке. Того и гляди родит, пузо как море Хвалынское, ходуном ходит, а все к печи. Упросил повитуху на эти дни дома посторожить. Мария маленькая за подол цепляется, дела домашние стоять не могут: и пеки, и стирай, отец старый едва с постели встает, а тут гляди — не сегодня-завтра...

Вышел во двор — сразу жаром дохнуло: солнце в самой вышине. У собора нового на лесах тишина, не кричит никто. У известковой ямы ведра стоят полные, а мужиков нет, зато на дворе губернаторском суета — ворота настезь распахнуты, караульные из будок вышли, а люди все как сговорились, бегут к Пречистенским воротам из крепости на Большую. Не пожар ли, не приведи Господь?

Нет, не пожар вроде: весело бегут. Селитряный мастер Ефим Степанович на дворе встретился — разъяснил: в город слон шествует! Серокан Бек, сокольничий шахский из Шемахи, ведет слона государю царю в подарок. Весь город с утра у заставы.

Дивный зверь слон!

Хотел домой зайти — Ефим Степанович отговорил. Вот-вот посольство покажется, а может, и идут уже по Большой, музыканты с час назад к заставе отправились. Сам Тимофей Иванович Ржевский, губернатор, с товарищем — Никитой Ивановичем Апухтиным — с музыкой выехали.

Персидский двор, Индийский, ряды торговые — все закрыто, как вымерло, только ишаки на скотных дворах орут: не напоили их с утра, а может, слона почуяли?

Народу навстречу высыпало! Гомон, толчея базарная, сюртуки, халаты стеганые, платья, пузатые сарафаны; редкие немецкие шляпы утонули в море тюбетеек, тюрбанов, войлочных шапок и просто голов бритых и голов патлатых; мелькали моржовые армянские усы, калмыцкие козлиные бородки и холеные восточные бородищи, иссиня-черные, тщательно покрашенные и расчесанные самшитовым гребнем; пыль из-под ног поднялась до неба, как на лошадиных состязаниях: языки, языки — Вавилон Астраханский!

— Идет! Идет!

Расступились, вжались в плетни, повалились в обочины, забрались на крыльца.

Сначала стрельцы проехали верхами — дорогу расчищать, но уже и не надо было. Показался оркестр — флейтчики, гобоисты, барабанщики во главе с капитаном Вагенером чеканят шаг под немецкий марш. Двух иноходцев персидских, как смоль вороных, солдаты под уздцу провели. Кони коврами покрыты разноцветными, ворс пушистый, нечесаный. За жеребцами три телеги, тоже коврами застелены. На них клетки огромные с птицами: в первой и второй — попугаи по парам подобраны, самец с самочкой. Попугаи на толпу кричат, волнуются, по клеткам прыгают, а в третьей — одна клетка на всю телегу с чудо птицей-жар: огнем вся горит, как смарагд переливается. Не видали таких птиц в Астрахани. Ни персы, ни индийцы, ни бухарцы их не привозят, кто же тут на такое диво раскошелится — царская птица, ей и полагается у царей жить.

За птицами — слон-зверь. Плывет над морем голов, чуть покачивается, а на шее человек в чалме. Правит без узды. В руке орудие чудное, согбенное крюком на конце, — как ишака палкой по шее подгоняют, так и он слона своим крюком покалывает в затылок.

Идет слон. Ноги — четыре бревна тяжелых, толстотелесен, бесшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, ступанием медведеподобен, от верхней губы нос имеет, или губу, или хобот, что, как рукав на ризе,

до земли висит. Носом сим и еду, и питье забирает и, согнув змеєю, в уста маленькие свои отдает. От верхних зубов два превеликих зуба наружу торчат: один остер, как рог у единорога, да только не крученный, другой на конце потесан и меньше первого. На голове тяжелой — бусинки-глаза и уши великие, как заслоны печные. Сзади хвост сухой, подобен воловьему.

Народ от страху друг в друга вжался, не кричит, все больше шепотом, глаза у всех горят. Только калмыки лопочут по-своему, пронзительно.

Идет слон. Дышит тяжело. Бока ходят, как меха кузнечные. Хобот-губа чуть подымется, снова опустится, а то в кольцо свернется. И человек на нем, что воробей, уместился и не боится.

Налево и направо от слона — губернского полка астраханского солдаты идут, на зверя косятся: если что вдруг, успеть бы убежать.

Идет слон. Головой покачивает, пыль от ног ему в глаза летит, слепни облепили, норовят в губу укусить. И дух от слона тяжелый, мощный, под стать его росту и силе.

За слоном колесница позлащенная. В ней сам сокольничий Серокан Бек, шаха персидского посланник. Красномордый, чернобровый, усы пышные, аж до ушей, а борода в четверть аршина ниже бритого подбородка висит. На голове белая шелковая чалма с сапфировым аграфом, сам в кафтане расшитом, перепоясанном золотой парчи кушаком, а за него кинжал в богатых ножнах заткнут. Чуть позже два арапа стоят с большими саблями, на поясы навешенными, и с блестящими трубами за спиной.

Рядом с колесницей, верхами, губернатор с помощником, полковник Лаврентий де Винь и толмач-купец с Индийского подворья.

За колесницей верблюды с поклажей посольской: хурджины, тюки, кули, ковры.

За верблюдами — войско астраханское в полной амуниции, великое посольство до Персидского подворья провожают.

У подворья встали. Из свиты персидской вышел вперед кызыл-баши в тюрбане с красной верхушкой, а с ним толмач Сухананд Дадлаев, всегдашний губернаторов переводчик.

Перс в тюрбане от Серокан Бека команды ждал — речь приветственную перед астраханцами начинать. Сокольничий шахский махнул платком — и глашатай сразу поклонился губернатору и свите и заголосил распевно, обрывая речь в самых неожиданных местах, чтобы наполнить грудь воздухом. Кончил он так же неожиданно, словно голос потерял: мотнул головой, как мул на привязи, и замер, сдерживая дыхание, только щеки загорелись под цвет верхушки его тюрбана. В ушах астраханцев еще стоял чудной звук его речи, когда выступивший вперед Сухананд начал переводить. Индус говорил спокойно, уверенно, словно держал перед глазами лист, но никакого листа-то не было, и тем удивительнее было слушать пышнозвучное величание, и тому изумлялись, как сумел индиец запомнить все точно и не ошибиться в переводе. А говорил Сухананд так:

«Божиею милостью возвеличенный и благословением небесного царя преобразующий отблеск Бога, обладатель целого мира, глава земного шара, всех царей царь, средоточие, перед которым преклоняются все народы, самодержец высокопрославленной в целом свете Персидской монархии, наследник Дария и храброго Хозроя, содержащий в себе врата неба, всепресветлейший и наивысочайший шахиншах султан Хоссейн-ас-Софи, следам коня которого все правоверные должны приносить жертвы, посылает через своего сокольничего Серокан Бека царю и государю российскому Петру Алексеевичу в подарок слона, клетки с попугаями-птицами и чудесную птицу-жар, а также шелка гилянские, керманскую бязь, а также штуку жижиму, штуку бурмету, штуку

аладжи, а также горский мед, изюм, инжир, дыни ширванские, сорочинского пшена и персидского гороха, да будет между двумя державами мир, благоденствие и благодатная торговля».

Сухананд Дадлаев кончил так же резко, как и персиянин, сложил руки лодочкой у лица, поклонился.

Арапы вынули из-за спин длинные медные трубы-карнаи — резкие, рвущиеся звуки вылетели из их начищенных до блеска, расходящихся горловин и понеслись ввысь, до самого неба. Рев их был слышен, наверное, далеко за Кутумом, в полях, на виноградниках.

Непривычные русские кони чуть присели, прядая ушами, но наездники быстро их успокоили. К командным воплям карнаев присоединился писк дудки, забил барабан, и вся пышная иноземная свита потянулась на Персидское подворье. Слон, уставший от необычного путешествия из далекой Шемахи, равнодушно зашагал на внутренний двор. Морщинистая кожа и воловий хвост его показались в воротах и пропали, как и все это цветастое наваждение.

— Старый он какой-то, слон-зверь, — заметили в толпе, — еле бредет.

Толпа вздохнула разом и начала расходиться, подгоняемая солдатской командой. Мужчины спешили в «Спасительский» — питейный дом, названный так в просторечье из-за близко расположенного от него надвратного образа Спаса на убресе.

3

Грозноокий Спас, казалось, поглядел на него осуждающе: ряса погибла окончательно — кроме утренних сальных, на ней прибавилось еще несколько пятен, происхождения совершенно непонятного. Подол и правый рукав были надорваны, но как это случилось, Кирилла Яковлев вспомнить не мог. Когда появился слон, толпа отпрянула и его затянуло в подворотню, из которой, усердно работая локтями, он все же сумел выбраться. На него все время наваливался грузный армянин, в какой-то миг они чуть не поцеловались, спутавшись бородами, — так сильно жали со всех сторон.

Он спешил домой, надеясь, что неопрятный вид священнослужителя горожане, встревоженные сегодняшним происшествием, просто не заметят.

Перед самой дверью нос к носу столкнулся с повитухой: та будто специально выходила во двор высматривать. Схватил ее за плечи, затряс: «Что? Что случилось?»

Толстое лицо старухи расплылось в улыбке:

— Ты, батюшка, никак, из кабака, рваный такой? Отлучился, а тут сын у тебя на свет Божий появился!

— Сын?! — рванулся к двери, но старуха опередила, заслонила проход:

— Поостынь маленько, батюшка Кирилла Яковлевич, твоя-то спит, умаялась, а ты как медведь топчешь.

... Ночью он вставал. Мать, накормив ребенка, опять спала. С жадностью глядел на жену, подходил к колыбельке с долгожданным наследником. Лишь к сорока годам услышаны были их мольбы о сыне. Господи, да святится имя Твое! Щепоткой, как посолил, отрывисто навел три креста.

Откуда-то издали послышался трубный глас. Звуки неслись из города, с Персидского подворья. Так кричал слон.

Кирилла Яковлев уже успел забыть о нем после всего происшедшего. Перед глазами вдруг возник Сухананд Дадлаев, бросающий в толпу: «Царей царь, наследник Дария и храброго Хозроя!»

Имена были незнакомые, но звучные, красивые, раскатистые, как

рев слона, рык карнаев, золотой блеск персидского посольства. И сразу родилось, всплыло в памяти имя: Басилевс — царь. Царь царей — Василий.

4

*Пишет голландский путешественник Корнелий Лебрюн своему приятелю доктору Бидлоо в Лейден (перевод с голландского).
Из Астрахани, года 1703.*

Дорогой Якоб!

Обещаясь описывать тебе места примечательные, встреченные мною на пути, спешу познакомить тебя с городом Астраханью.

От самой Казани, откуда прошлое письмо, до Астрахани никаких особых приключений с нашим караваном не случилось. Река Волга здесь, в ее нижнем течении, широка невероятно, дробится на множество более узких проток, разбегающихся от нее в разные стороны . . .

. . . К самой Астрахани приблизились мы под вечер, пройдя в семь часов мимо горы Плосконной. От этого места до Астрахани насчитывают две версты. Отсюда видна на самом горизонте большая соборная церковь, чрезвычайно высокая, но еще недостроенная. Спутники мои сообщили мне, что в прошедшем году, когда работали над куполом сказанной церкви, часть купола обрушилась, по непрочности поддерживающего его фундамента. Поэтому вынуждены были дело повести иначе, а именно: в настоящее время возводят там пять небольших башен с куполами, на коих водрузят кресты.

Восточно-южный ветер, сопутствовавший нам в дороге, стих, и мы, продолжая путь свой при такой тиши, прибыли, наконец, за час до полуночи в Астрахань и заночевали на кораблях. Этот город находится в 2000 верстах, или 400 немецких милях, от Москвы, от Казани же на половине этого расстояния.

Прибыв в Астрахань, я тотчас же поутру был принят губернатором Тимофеем Ивановичем Ржевским. Вероятно, два моих вида и письмо князя Бориса Александровича произвели должное впечатление, ибо большого стоило мне труда отбиться от предложений жить в его доме и питаться от его кухни.

Я благодарил от всей души и объяснил, что было бы некрасиво бросить моих товарищей-армян и остановиться в любом другом месте, нежели как в армянском караван-сараяе, куда мои заботливые спутники уже распорядились перенести всю мою поклажу.

Губернатор отпустил меня; но только отобедали мы, как пришли восемь или десять солдат от него с разными приношениями . . .

Астраханское общество приняло меня чрезвычайно добросердечно. Вскоре я получил приглашение пожаловать к товарищу губернатора Никите Ивановичу Апухтину. Я, естественно, отправился и имел честь увидеть там и господина губернатора со всем его семейством и несколькими господами, одетыми и причесанными по-немецки. Меня попотчевали вином и пивом, после чего губернатор вскорости распростился и уехал со своим обществом. Помощник губернатора вместе с митрополитом Сампсоном и сопровождавшим его священником Троицкого собора Кириллой Яковлевым пригласили меня в другую комнату, где, усадив на мягкий диван, угощали разными персидскими лакомствами, после чего поданы были кофе и кулабнабат. Последний напиток был не что иное, как белый ликер, очень приятный и составленный из сахара и розовой воды. Когда же я выразил желание ознакомиться с местными достопримечательностями, вышеупомянутый священник Кирилл Яковлев, оказавшийся большим книголюбом и любителем до натуральной истории, вызвался сопровождать меня в прогулках по Астрахани.

На другой день мы осмотрели здешние базары. Они заслуживают

самого тщательного описания, но здесь я замечу только вкратце, что подобного смешения народов, языков, обилия товаров я не видел, пожалуй, ни на одном торге в Европе.

Интересны очень перепелиные бои, когда на базаре стравливают на потеху зрителям маленьких перепелов. Они бьются зло и жестоко, и дело нередко заканчивается смертью одного из них...

Кирилла Яковлев — мой чичероне — человек весьма и весьма любопытный: он добр, простодушен, принимает все на веру, но не лишен ума и, как всякий священник, постоянно ссылается на авторитет Писания, — но признает и другие книги. Одно плохо: он говорлив.

... Юртовские татары, живущие в своей слободе, рядом с городом, и калмыки, кочующие со стадами баранов по окрестлежащим степям, ежедневно привозят на рынок столько мяса, что, в отличие от других городов, оно стоит здесь совсем дешево. Вообще, в съестных припасах в этой стране не бывает недостатка, за исключением ржи, привозимой из Казани и других мест.

В особенности много тут рыбы. Рыбные ряды дважды в день пополняются новым уловом, но Волга доставляет такое огромное количество рыбы, что часть ее, оставшуюся непроданной, отдают свиньям и другим животным. Самая лучшая рыба — белуга, которая достигает иногда преогромных размеров — до полутора сажений и больше. Стерлядь тут очень вкусна. Много еще рыбы простой и отменной, как-то: судак, которого готовят таким же образом, как и треску; множество щук, окуней, линеи и больших лещей. Самые грубые и дешевые суть сомы с большими головами. Еще интересна рыба, называемая вьюн, которая ловится, как указал мне мой попутчик, только в одном месте, где впадает небольшая речка как бы в яму. Кирилла Яковлев уверял меня, что вьюны бывают и больше, но нам попадались невеликие экземпляры, коих мы наловили обычным решетом. Я сохранил многих из них с маленькими судачками в спирту. Остальные виды рыб Кирилла Яковлев пообещался мне засушить и сохранить до моего возвращения из Персии.

Перед самым отъездом я зашел проститься в дом к Кириллу Яковлеву и попросил его присмотреть за моей коллекцией, которую оставил ему на сохранение. У него недавно родился сын, и, по русскому обычаю, я подарил ему голландский червонец «на зубок», то есть по случаю появления у него первого зуба...

Обнимаю тебя, дорогой друг.

Всецело твой Корнелий Лебрюн».

5

«Долженство народа подданного сия суть:

1. Должен народ без прекословия и роптания, вся от самодержца повелеваемая творити... Аще бо народ воли общи своей совлекся и отдал оную Монарху своему, то како не должен хранити его повеления, законы и уставы, безо всякои отговорки.

2. И по тому не может народ судити дела Государя своего, инако бо имел бы еще при себе волю общаго правления, которую весьма отложил и отдал Государю своему. И того ради пребеззаконное дело было сильных неких изменников от Парламента Великобританского, над Королем своим Каролом первым, 1649 году зделанное, от всех проклинаемое, и от самых Англичан установленным на то повсегодно слезным праздником, весьма хулимое, нам же и воспоминания не достойное».

Феофан Прокопович. «Правда воли монаршей»

6

Астраханского бунта Васька не мог помнить, но, кажется, знал все происходившее тогда отчетливо, до мельчайшей подробности, словно сам был свидетелем.

Много позднее пережитой в детстве страх часто всплывал в памяти и, помноженный на страх отцовский, сквозивший из бесчисленных рассказов о бунте, претворялся в красочные и страшные сновидения. Но никогда, думая о бунте, не осуждал он отца, а лишь сочувствовал его раскаянью. Поначалу же долгие годы просто не мог уяснить, почему отец ставит себе в вину то, что ни один человек, кроме него самого, не посмел бы посчитать даже невольным прегрешением?

Ему уже исполнилось тогда три года. Все, что запомнилось, — это как гладила по голове мать, заговаривала, успокаивала, отваживала надвигающуюся грозную беду. Но отец всю жизнь потом без конца корил, клеймил себя принародно и дома, что не помог, не вмешался, а остался немым свидетелем кровопролития.

Свершилось оно мгновенно, в нескольких шагах от их дома, на большой соборной площади.

Дикой смертью погиб де Винь. Тимофея Ржевского вытащили из курятника, жалкого, перепачканного куриным пометом, в оборванном немецком платье, с трехдневной щетиной, отчего смертельно серое, напуганное лицо его казалось особенно грязным. Щетина послужила поводом для насмешек: «Ишь, решил в спешке бороду отпустить, ирод немецкий! Заточили настоящего государя нашего в Стекольном граде, заклали в столп, а на Москве веру немецкую поставит хотите».

Разбушевавшийся народ был непредсказуемо ужасен.

Губернатор увидел попа — бросился: «Батюшка, защити!» Что он мог тогда, батюшка?!

Никак мальчик этого помнить не мог, а представлял красочно, вплоть до изрытого страшными копытами песка перед собором, до страшного всадника, мчащегося с пикой наперевес, нацеленной прямо в лицо Ржевскому.

Остался в памяти детский страх, и временами вставала перед глазами картина жестокой расправы, столько раз обрисованная отцом, и, вспоминая его терзания, невольно и в себе он ощущал его муки, словно сам был невольно причастен к бесцельному убийству.

7

Голландца Лебрюна Василий помнил отчетливо.

Отец ждал иноземца с нетерпением. Несколько дней, с ним проведенных, вспоминать часто и всегда восторженно: пронеслись перед ним далекие миры, о которых мечтал в юности и к которым не отпустил тогда дед.

И вот наука сама постучалась в их дверь и... испарилась, оставив просьбу-наказ. Пузатенькие маленькие склянки с красными засургученными пробками, спирт, в котором плавали, если наклонить склянку, разные рыбы, и большая бутылка с головой птицы-бабы — трогать их было запрещено, к ним даже близко нельзя было подходить. Если бы его поймали в сарае — порка не заставила бы себя долго ждать: отец гордился возложенным на него поручением и любил показать, что стережет коллекцию голландца особо внимательно.

На деле все это богатство пылилось в дальнем углу за заброшенным верстаком. Васька любил разглядывать белые рыбы глаза, серебряную чешую судачков, желто-черные спины линей, их лопатообразные тела и слипшиеся, плоские хвосты. Рыбины с рынка совсем его не

интересовали, другое дело те, что затаились в сарае. Пыльные бутылки и белые, неподвижные, чуть пухлые рыбки животы. На полках лежали высушенные осетры и стерлядка. С них летела чешуя, и все больше выступали комочки соли, похожие на перекаленную золу.

Зато голова птицы-бабы с широким клювом и морщинами мешка под ним (в мешке спокойно уместился бы небольшой судачок), потемневшие дырочки-ноздри и закатившиеся глаза пугали и притягивали одновременно. Эти два смутных чувства рождали любовь к темным склянкам: Васька мог часами изучать складки на шее птицы или узоры чешуи у рыбин, а страх придавал любопытству значение подвига.

Отец называл птицу-бабу на немецкий манер — пеликан. На Кутуме, на волжских мелях они часто встречались.

Пеликан и рыбы были нужны для науки. Отец произносил это слово с большим уважением, и оно запомнилось, хотя было непонятно, что она, наука, будет делать с этими мертвыми тварями.

Наука жила в Голландии. Страна эта располагалась где-то на краю земли: никто точно не знал, где именно она находится. Дальше Дербента, Бухары, Самарканда — это точно. Даже дальше Гиляна, Шемахи и уж совсем недосягаемой Индии. Снежная Вологда, откуда был родом дед Яков и из которой «попадали» в Москву, как в свое время «попал» дед, и та была ближе.

... Они всей семьей хлебали щи, когда без стука отворилась дверь и в избу вошел черный от загара человек в немецком господском платье. С ним был еще один, проще одетый, без кружев, но тоже в большой фетровой шляпе и башмаках с бантами.

Детей сразу отправили гулять на улицу.

Это был Лебрюн.

Еще раз он заходил к отцу через день, забирал своих рыб. Два солдата вытаскивали их из сарая, бережно обтирали мокрой тряпкой, стараясь не повредить чешую, и так уже сильно пооблетевшую, а загорелый следил и обязательно приговаривал: «Гут-гут».

8

Лебрюна он помнил, Кубанца не мог забыть никогда.

... Разница эта велика и значительна. Мог ли он подозревать, что судьбе будет угодно снова свести их; но если голландец, проскользнувший, как тень, сказочно чудесный, так навсегда и останется для него лишь прелестным образом детства, манящим и загадочным, то Кубанец, Юсуп Кубанец, сменивший имя, но не переменявший своей сути, еще раз достигнет его, пересечет ему дорогу, и это случится в самый важный период его жизни, и там, в неведомом пока будущем, он будет столь же жесток и коварен, как и сейчас, когда он предстанет перед ним на астраханских виноградниках; и первая горечь и обида от несправедливого наказания, первое знакомство с настоящей жизнью когда-то, когда-то впереди, снова вспыхнут с почти детской силой первооткрытия, и былой ужас и бывшее бессилие повторятся вновь, и будет это не случайное, слепое повторение.

Подоспело время — отец взялся за сына. Он подолгу сидел с ним — учил грамоте. По Часослову, затем по Евангелию. Заставлял учить наизусть главы из Деяний Апостолов, но пустого, бездумного заучиванья не принимал, заставлял вдумываться в смысл, вслушиваться в каждое слово, пояснял непонятное. Вскоре он отвел сына в собор и определил певчим в хор.

Васька пел хорошо. Ему нравились псалмы, само антифонное пение — захватывала разноголосица, переключка хоров, и он не увиливал от слезок. Он пел крепким, юным дискантом, доставшимся, надо полагать, в наследство от деда. Отец приучал к церкви намеренно. Подра-

стет, получит дьяконский чин, а затем займет его место. Так уж повелось: дед был попом, он сам поп, сын тоже пойдет по их стезе.

Пение в соборе не сковывало Васькиной свободы. Днем он носился с ребятей из крепости по волжским камышам, удил рыбу на Кутуме, а иногда, выпросив у Фаддея Кузьмина челнок, уплывал на острова со своим приятелем Сунгаром. Сунгар был из рода Притомовых, индийцев с подворья, но его отец только родился в Индии, а жизнь прожил в Астрахани, крепко обосновался здесь, разбогател и теперь был выборным главой индийского купечества. Сунгар родился в России, и дружить с русской ребятей ему не возбранялось. Маленький индеец был моложе Васьки на год. Юркий, ловкий, черный, как арапчонок, всегда веселый, иногда он пел Ваське на островах свои песни, тягучие и печальные, и Васька никак не мог понять, что индийцы находят в них хорошего. Он сравнивал их с псалмами: индийские песни явно проигрывали — не было того душевного порыва, чувства, мелодия же была слишком тягучей, как будто уставший Сунгар безуспешно канючил пастилу, а не пел свои древние как мир гимны. У индийцев были другие боги, но это Ваську не смущало. В Астрахани привыкли к различным богам, и только отец, бывало, жалел всех язычников, а когда Васька рассказал ему о Сунгаре, сказал: «Пой, пой ему, может, одумается». Васька втихомолку жалел Сунгара, но как-то не представлял веселого индийца в огненной печи. Он пел ему псалмы, и Сунгару, как ни странно, это нравилось.

... В полях за Кутумом раскинулись виноградники. Васька с Сунгаром решили совершить на них налет. Это строго запрещалось, но очень уж захотелось темно-синих, чуть вяжущих ягод.

Лучше всего было отправиться в полдень, по самой жаре. Так всегда поступали астраханские мальчишки — зной загонял сторожей в шалаши. Доступней всего виноградники государевы, лазить к армянам в их сады никому и в голову не приходило: там могли потравить собаками да еще пожаловаться в губернскую канцелярию. Государеву же ягоду сторожили наемные татары. Обычно они сквозь пальцы смотрели на три-четыре грозди, утащенные с края поля, но Васька с Сунгаром задумали пробраться вглубь, к самым сладким гроздьям.

Они вышли за город, прошли татарскую слободу и оказались на месте. Никакой ограды не было, только протоптанная в сухой траве дорожка вокруг поля, по которой ездил сторож-верховой. Виноградник был разбит на плоской равнине, лишь канавы с проточной водой спасали урожай от палящего астраханского солнца. Шалаши сторожей спрятались где-то в другом конце, за переплетением лоз их не было видно, только ходил старый облезлый верблюд вокруг колодца, скрипело колесо, и мутная вода лилась из ведер в главную канаву и растекалась от нее по ответвлениям. Верблюд ходил медленно, не останавливаясь ни на минуту, он даже мочился на ходу, зная, что за остановкой последует окрик или удар кнута. Его, впрочем, давно уже не били — он исправно выполнял свою ежедневную повинность и по молчаливому сговору со сторожами получал вечером пищу и ночной отдых. Верблюд — животное двуужильное, будет идти, пока не упадет, а падать ему не давали.

Они нырнули в свод зелени. Виноградную лозу растят специально до высоты человеческого роста, затем подрезают, привязывают к жердям, и дальше она уже не поднимается вверх, а переплетается с соседними, образуя тенистый проход, в котором сверху спускаются темно-синие треугольные грозди, тяжелые и сочные.

Друзья забрались подальше от конной тропы. Сунгар залез к Василию на плечи и доставал только верхние, самые спелые, уже основательно прожарившиеся на солнцепеке ягоды. Их сильно поклевали птицы, зато зеленых почти не попадалось. Сок тек по рукам, лицу, к

нему приставала пыль, но как мало это значило по сравнению с тем, что они ели виноград!

Потом еще долго сидели в прохладной тени, Сунгар вполголоса напевал свои индийские песни, Василий слушал, блаженно развалившись на комковатой земле, и лениво поглядывал в бездонное небо, в просветы между листьями; скрипело колесо, изредка доносился тяжелый вздох верблюда, и однажды кто-то из сторожей прикрикнул то ли на собаку, то ли на верблюда, но это было далеко, и никакой опасности не ощущалось.

— Пора, отец, наверное, уже закрыл хан, домой надо, да и Тимоха придет сегодня, — сказал вдруг Сунгар и приподнялся на локте, выжидая ответа. Даже он поддался убаюкивающему спокойствию полуденной тени.

... Васька оторвался от земли и сквозь сонные веки поглядел на друга. Когда же до него дошло сказанное Сунгаром, он встряхнулся и, сохраняя видимость спокойствия, согласился: «Пойдем, что ли, сегодня петь в вечерню. Пока дойдем, уж и темнеть начнет».

Им не хотелось признаться друг другу, что просто быстро катящееся к закату солнце вселило в их сердца тревогу, а отдаленность от дома пугала.

От съеденного винограда раздуло животы, прохлада успокоила, а дальние звуки от сторожевых шалашей усыпили долженствующее быть стороже внимание — они не залегли на выходе, не высмотрели отступление, а просто вышли из виноградника, как из волжских камышей, и зашагали по конной тропе.

Собственно говоря, вины уже на них не было, они не захватили с собой ягод, а ходить по тропе никому не запрещалось, так они себя уговаривали. Правда, их перепачканные лица говорили о похищенных ягодах, но и это было бы не бедой, кто же, проходя мимо съедобной плантации, устоит перед соблазном? Сторож, однако, углядел их в самой глубине виноградника, иначе никак нельзя объяснить его неожиданное появление. Наказание последовало тут же, без вопросов, без выслушивания обычных извинений и отговорок; они услышали всадника, скачущего галопом по окраине поля к ним наперерез, и — наилучшее доказательство их вины — пустились наперегонки.

Конник мчался над лозами, лошадь была высокая, наверное, помесь с персидской, но ее еще скрывала виноградная зелень, зато овчинную шапку и нагольный халат, молодое, разъяренное лицо и отведенную руку с плетью они различили отчетливо.

Сунгар сорвался сразу, а затем уже закричал. Он помчался вперед, стараясь опередить преследователя, отсекающего путь к бегству. Он весь согнулся, только пятки мелькали. Васька замешкался, из оцепенения его вывел крик друга, он поднял глаза и бросился вдогонку, но было уже поздно, да к тому же, высокий и крупный, он бегал медленнее и в схватках с ребятней всегда больше полагался на свою силу. Поняв, что попался, он встал, поднял руки, закрывая голову, — в нагайку вплетают свинец или тяжелый камешек — и стал ждать, надеясь, что беззащитность позы умилостивит страшного всадника.

Большая черная лошадь пронеслась мимо, в воздухе просвистела плеть. «Уй-йаа!» — закричал татарин, досадуя, что не зацепил мальчишку. Он хотел было броситься за убежавшим Сунгаром, но промах озлил его: всадник рванул узду, поднял коня на дыбы и послал его назад, сильно стиснув бока вороного своими кривыми наездничьими ногами. Мелькнуло косое скуластое лицо, открытый рот, плеть обожгла руку, и слезы сразу хлынули из глаз. В ту минуту Васька вдруг понял, что знает сторожа, даже помнит его имя — Юсуп Кубанец; он что-то делал на конном дворе у губернатора, а теперь, видно, подался сторожить государеву ягоду.

— Не надо, Юсуп, — закричал он. — Не надо!

— Ненада? Ненада? — подхватил с восторгом татарин, и нагайка со свистом заходила по Васькиным плечам.

Мальчик упал.

— Не надо, Юсуп, не надо, — всхлипывал он тихонько, громко реветь сил не было.

Нагайка обожгла еще раз, и топот копыт стал удаляться. Он понял, что все кончилось, что Юсуп поскакал за Сунгаром, но боялся даже посмотреть ему вслед и только прижимался к земле и сучил ногами от нестерпимой боли.

Дома мать охнула и бросилась отмывать. Он был страшен: распухший, посиневший, весь в грязи, спекшейся крови и сладком виноградном соке. Спину саднило, холодная вода не приносила облегчения, а только щипала невыносимо. Дед из своего угла неожиданно поднялся на руках и изрек: «Поделом, не бери чужого!» Это было обидно: из-за каких-то виноградных ягод он бит, а теперь еще и вор. Васька молча глотал слезы и отворачивался к стенке. Отец, придя домой, разобрался по-своему. Он редко сек сына, но сейчас, словно злоба Кубанца передалась ему, схватил тяжелый кожаный ремень — правило для бритвы — и отодрал его изо всей силы. Васька молчал и тут, только крепко сжал ноги.

Ночью он вдосталь наревелся и, кусая подушку, вспоминал виноград, старого верблюда, вот так же забитого, как он, и злое скуластое лицо Кубанца: «Ненада? Ненада?»

Юсупа Кубанца он не мог забыть никогда.

9

Астрахань. Журнал входящих указов за год 1719.

«Октября в 26. Великого государя указ из военной коллегии о переписке полевой армии и гарнизонных полков, и артиллерийских, и солдатских, и пушкарских, и прочего всякого чину служилых людей детей, недорослей, обучения неумеющих грамоте.

Помета на том указе полковника и губернатора Артемья Петровича Вольского такова: Послать указ в Астрахань и велеть помянутых недорослей немедленно во всех городах переписать по сему великого государя указу и сделать имянные списки. Расписать по статутам особливо каждого чину детей, а другия такие же списки оставить для ведения в Астраханской канцелярии, и которой недоросли ничему не учены, оных определять по приходским священникам, где кому пристало, и велеть им, священникам и протоиереям церковным, учить грамоте, и читать, и писать, и о том послать во все города Астраханской губернии к оберкомендантам и комендантам указы, чтоб они над учителями сами с прилежанием надсматривали и к тому б принуждали, а в котором городе сколько будет учеников из каких детей, о том присылали б погодные ведомости с имянными списками за руками в Астархану».

10

Кафтан на нем теплый, стеганный, да и натоплено основательно, так что озноб прошиб не от холода.

— Черт бы побрал эту Астрахань, — ругнулся в сердцах.

Утреннее происшествие не шло из головы, мешало, как он себя ни уговаривал, настроиться на работу. Но, сам того не замечая, он и не пытался интересоваться делами, словно специально находил ничтожные поводы их избежать. Мысли путались, в них заползал лай с площади, тянул к окну. Не выдержав, он быстро пересек залу, вцепился руками в холодный подоконник — из щели дуло.

Зима случилась необычайная для Астрахани — столь холодная, что поговаривали: если так еще постоит, выстудит все сады и виноградники. Но сейчас это мало его беспокоило: он глядел на соборную площадь.

Солнце послеполуденными лучами било в губернаторский дом, но не совладать было ему с сорвавшимся с цепи, диким степным ветром. Стоявший у окна глядел на копошащуюся серую массу, выставленную напоказ прямо против въездных ворот, но не было жалости к наказуемому. И зла. Утреннего сумасшедшего зла не было.

Собаки измученно дергались и теперь почти уже выли и скребли, скребли передними свободными лапами промерзший песок. Они не утихомирились, не поняли, как, кажется, понял возвышающийся над ними, что смириться придется. Да-да, придется!

Человек на площади сник, кулем обвис на деревянной кобыле и лишь изредка вздрагивал, когда обезумевшие псы в который раз безуспешно пытались порвать ему ноги.

— Так надо, — уверял он себя, — пусть, пусть думают, что тиран: их только кнутом и можно приручить. Не научить, а именно приручить, как диких зверей. Только звери, пожалуй, быстрее сдаются.

Он вспомнил, с чего все началось.

На той неделе, в четверг, на куртаге у генерала Матюшкина, что стоит в слободе с полком, личный генералов шут, мичман князь Мещерский, позволил себе пройтись насчет его, Волинского, верховой езды: чинно, мол, слишком губернатор восседает, словно аршин проглотил! Кривляясь, проехался на табурете вокруг стола и сорвал всеобщий хохот и одобрение.

Тогда за столом Артемий Петрович сдержался, не резон было себя с дураком равнять, но на другой день послал к генералу штык-юнкера с наказом тотчас же доставить мичмана в резиденцию, хотел на площади отодрать батогами. Тут бы дело и кончилось, ан нет, Матюшкин власть свою решил показать — не выдал. Приехал сам, извинялся, в гости звал. И тогда он смолчал, решил повременить. Но как в прошлый день заявился сам насмешник да стал *требовать* квитанцию об остатнем морском провианте и пиве, тут уж прорвало его.

— Извольте, ваше превосходительство, выдать квитанцию, как нам положено.

— Ах, сучий ты сын, как . . . положено?!

Да как тут положено — ему одному и знать! И не генералу, и уж совсем не мичману, пускай он хоть трижды князь будет, *не положено* ему его же права разъяснять, да еще и *требовать*!

Вскочил, набросился сам и сам же, сам валял его — морду наглуго разбил, а после отдал Кубанцу. Васька ему плетей всыпал и запер на гауптвахте.

И что? Образумился? Никак нет. Привели сегодня утром, а Мещерский голову задрал: я, говорит, самому царю писать стану о вашем произволе.

Всплыло тут и насмехательство на куртаге, и отказ генеральский. Себя не помня, снова сорвался, заорал: «Ну так и скачи!» Скачку же Васька Кубанец придумал — сколотили наспех деревянную кобылу, намазали князьку морду сажей, кафтан наизнанку вывернули и на кобылу усадили, а к ногам по пудовой гире привязали и по собаке за задние лапы. Гири дергаются, по собакам бьют, псы осатаневшие лай подняли, рвутся, норовят мучителя укусить: но с умом вязали, чтоб не достать им. А все ж боязно — скоморох вертится, подпрыгивает, словно едет в дальние края, трясется на кобыле, вопит: «Помилуйте!» Да теперь — куда, знать будет!

Народ сбежался на потеху, а Кубанец еще и Ваньку Кузьмина, губернаторского шута, сзади усадил. Ванька князьку кнутом охаживает: «Поехали!» — одно слово — комедия! Люди покатываются, а солдаты,

он углядел, больше все тихо смотрят. Генерал Матюшкин — ни-ни, полдня уже прошло, носу не показал, а ведь половина Астрахани уже на площади побывала. Да только ветер их всех повымел — холодно.

Артемий Петрович стоял у окна, лицо презрительно дернулось: «Черт их дерн, пускай пишут!»

Он ни минуты не сомневался в правильности содеянного: так только и надо, коль мирного языка не понимают!

Дверь приоткрылась, в щель просунулась круглая голова Кубанца: «Армяне пришли, ваше превосходительство, дозволите впустить?»

Ординарец хорошо знал, как не любит генерал-губернатор астраханский, чтобы его беспокоили после обеда, но Артемий Петрович сам приказывал вчера звать армян к этому часу. Те пришли и теперь толклись в прихожей.

— А Мамикон-то, ваше превосходительство, давешних иноходцев привел, — хитро улыбаясь, сказал Кубанец. — Так как прикажете?

«И тебя небось умаслили», — подумал.

— Давай, давай, веди в маленький кабинет, только не сюда. Да накрой там... — Волынский повернул голову от окна к двери. — Пускай ждут...

Тут вспомнил про армян: однако надо идти, достаточно время потянул.

Он прошел через анфиладу комнат, свернул в левое крыло, открыл потайную дверь в кабинет. Купцы его с этой стороны не ожидали, разом вскочили с кресел, низко поклонились.

— Садись, Мамикон, садись, говорить же пришел, а в ногах правды нет.

Кубанец принес кофейник, разлил всем кофе. Армяне к чашкам не притронулись, только приложили руки к груди, поблагодарили. Ждали, когда сам отхлебнет. Но на кофе даже не взглянул: тут не восточный дом, надо с ходу брать быка за рога, кофе — это так, для обстановки.

— С чем пожаловали? — спросил; а посмотрел в сторону.

Мамикон Ваграпов, глава Джульфинской компании, начал, конечно, издалека. Приветствовал — сплошной мед: и недостойный, мол, целовать стопы, и прочее, прочее, а у самого капитал — ого! Ему одному этих двух жеребцов персидских, что в подарок привели, тканей да табакерку с алмазами ничего не стоит поднести.

Знают ведь, чем улестить: он, Волынский, с детства до лошадей охотник. На днях увидал на базаре — глаз не оторвать: чистые персидские иноходцы. Осмотрел, погладил, похвалил, а армянам и достаточно — глядь, уже ко двору привели. Он как увидел — понял: его будут, на таких конях только губернатору и ездить. Ну как тут удержаться? Ведь и азиаты не зря ему иноходцев показывали. Здесь так заведено, иначе не поймут; откажешься — значит, мало дают, еще и еще несут; а совсем откажи — неведомо, что и будет, удерут, наверное, из России, решат, что их извести собрались. А раз подарки берет — значит, согласен говорить: ему от того только больше уважение, а державе — престиж. Азиаты тоже силу да власть понимают. Хорошо получилось, что через те ворота прошли, где мичман на кобыле скачет, — они к таким вещам привычные, в Персии сам наглядился. Только крепче почитать станут.

Артемий Петрович в упор разглядывал купцов-компаньонов. Все пожилые, бороды седые, носы мясистые, крючком, глаза черные — взял Мамикон их для представительства. Так и будут сидеть, слова не вымолвят, а по-русски понимают, давно в Астрахани торгуют.

Мамикон сперва просьбу о патере изложил.

Дело о католическом фратре-капуцине Антонии важное, Мамикон знал, с чего начать: ни для кого в Астрахани не секрет, что у Волынского настоящая война идет со своими, с православными попами.

Краем уха слушал, о чем говорит Мамикон, и внутренне порадовался хитрости смышленного купца. Надо же, даже не пожурил Мамикон Ваграпов в речи своей епископа астраханского Иоакима, первого его, губернаторова, противника, а так, еле зацепил — ловко дров в огонь подбросил... Строитель Троицкий, Иосиф Колюбакин, люди донесли, в Синод отписал, с ведома епископского, конечно. Зачем-де новый губернатор кельи монастырские под свою канцелярию и склады занял, землю от обители отнял под городскую площадь, а в самом монастыре ворота каменные разломать приказал и здания снес.

Он, Волинский, тогда ему по-свойски объяснил; думал, уймутся, не станут больше доносы строчить. Крепость Астраханская не монастырь, а фортеция военная. Ее бы на Вобанов манер переделать, а то здорово стара, как в курятнике, — закоулки, перегородки, лабазы — второй базар. Два года назад велел указ, чтоб грамоте детей учили, разослать. Разослали, списки недорослей представили, а что толку — Часослов, Псалтырь, азбука... По складам да из-под палки — одни читать не учатся, другие читать не учат. Сегодня одна на католических монахов надежда. Государь поймет, иностранцев с детства любит, хоть крыж на шею повесь, лишь бы дело ведал да против воли царской не умышлял.

Неужели до сих пор не поняли, что не низовой воевода у них, а он, Волинский, столбовой из Рюриковичей, род от Боброка Волинского считает! Ему что князь Мещерский, что генерал Матюшкин, что сам архиерей — все нипочем! Так нет, не угомонятся никак, подкоп на него затеяли. Преосвященный епископ астраханский Иоаким сам уже в Синод отписал. По его-де дозволению губернаторскому цезарской веры монах церковь в Астрахани построил. А он, патер Марк Антоний этот, в Астрахань приехал из Персии без паспорта и всем пребыванием своим чинит одно помешательство вере православной. Да еще приписал, что генерал-губернатор приказал без его изволения дел в церковном приказе не производить и послал в приказ церковный своего поручика Ермолова для пущего надзору.

Послал, и впрямь так и будет — за ними глаз да глаз нужен!

Но интересно, откуда только про писание Иоахимово армянам известно? У них свои люди везде. Ведь как подал хитрец: приходил к церкви католической Иоаким со свитой, грозился, наверное, в Синод уже написал. Так и сказал: «наверное», голосом только чуть выделил, но по-ихнему, по-восточному, это значит: написал точно, прими, генерал-губернатор, к сведению. Не знал бы наверняка — никогда б не сказал. Все недомолвками... Но Артемий Петрович опять и виду не подал — пусть выговорится Мамикон Ваграпов.

Из Сената недавно допросные пункты пришли про католиков, но это не одно дело с синодским. У царя два фратра римского закона, Казимир и Фиделий, в Астрахань просились, к Антонию в подмогу. Что ж, и этих примем, одна только польза.

— Про себя пусть Антоний подробную сказку царю напишет да завтра мне принесет, — перебил Мамикона Артемий Петрович. — К вам тут из Питербурха еще два фратра-капуцина просятся.

— Отцы Казимир и Фиделий, — подхватил купец.

Вот ведь! Хорошо же у них почта налажена, поди скорее государевых курьеров известия получают!

Слушал фратрам похвалы, а сам знал, что уже Кикин ответ сочинил. Подробно расписал, что как от Марка Антония, так и от двух других новых фратров, в Астрахань государственной коллегией иностранных дел назначаемых, опасности для государства предвидеть трудно, понеже как Цезария и Франция, а также прочие немецкие земли от Астрахани лежат за иными государствами, а не порубежные. Это против Иоакима довод, никакого соглядатайства тут нет. А чтоб весомей

звучало, самолично в рапорте прибавил, что этих капуцинов и сейчас не один Антоний в городе обретается, а несколько (сколько, не указали — считай их потом!). И паства у них из армян большая, того же римского закона, а поскольку от Джульфинской компании одни барыши Российскому государству, то и церковь католическая весьма здесь уместна будет. А что насчет подозрения либо опасности от этих монахов, он, Волынский, не чаёт, поскольку со временем от них только бы польза могла сыскаться, понеже из здешнего сурового народа обучаются от них молодые дети латинскому и прочим языкам.

Как же его, попов еще сын... в Троицком певчий... большой такой, Вергилия читал наизусть, как фратр Марк Антоний представление делал. Глазами только от усердия крутил очень...

Пусть себе учатся!

Знал, когда рапорт царю писал, куда бил. Государь перед отъездом ему про переписку с великим Лейбницею рассказывал. Так тот немецкий академик царю советовал на Москве, Астрахани, Киеве и Петербурге университеты учинить и школы открыть. Это, конечно, мечты Петровы, сейчас хоть кого бы тут выучить, может, свой поп объявится, образованный. А пока тьма... Тьма да сладкоголосие восточное.

— Насчет фратров решим как-нибудь, если царя воля на то будет. Еще-то с чем пришли?

Мамикон, на полуслове оборванный, густо покраснел, отдышался и начал про льготы...

Волынский рассматривал остывший кофе. Помешал ложечкой, поднял со дна гущу, поднес ко рту, но пить, конечно же, не стал, наблюдал за купцами. Те взгляд поймали сразу же, но и виду не подали, им тоже все понятно было: помешали, в точности его движения повторив, но пить не стали.

Решительно, следует дать им льготы, только не сейчас; еще раз другой придут, принесут подарки новые, почуют, что они перед ним, — слишком уж уверенно себя ведут, спесивы не по чину...

— Да, кстати, я на базаре у вас попугая гвинейского видел, — опять перебил купца. Тот даже немного растерялся, наконец: все-таки и их можно из себя вывести. — Так вот, попугая я видал, можно ли его по-русски обучить?

— А как же, наш господин, на любом языке, какой пожелаете, — Мамикон Ваграпов незамедлительно обрел прежнее спокойствие. Его толстое лицо так и светилось. — Прикажете принести?

Вопрос оставил без внимания.

— Что ж вы кофе не пьете? Угощайтесь, угощайтесь...

Опять замолчал. Чуть скосив глаза друг на друга, армяне потянулись к чашкам и отхлебнули по глотку.

— Пейте, ешьте шербет, халву, — он провел рукой над столом.

Пришлось допивать давно остывший кофе. Один даже отщипнул кусочек халвы.

— Ну что же, — Артемий Петрович встал, — просьбы ваши мне ясны. Сами понимаете, за один раз не решить. Приходите на той неделе. Кубанец вас известит. Идите с Богом! Васька! Проводи гостей!

Ординарец возник тут же. Армяне долго раскланивались, наконец ушли.

— Васька! — бросил вдогон. — Снимай-ка нашего путешественника да веди сюда, пожалуй, пора и с ним разобраться.

Он чувствовал себя прекрасно: армяне успокоили его, и, поддавшись минутному настроению, он решил отменить истязание, назначенное до конца дня.

— Ну-ка, — хлопнул он в ладоши лакею. — Неси кофе да водки большой штоф, мичман наш продрог, поди.

Наконец два штык-юнкера ввели арестованного. Артемий Петрович властно махнул им рукой:

— Отпустите!

Измученный, синий от холода, стоял перед ними глумливец на трясущихся ногах и молча, внимательно изучал воспаленными глазами своего мучителя.

— Наливай, Васька,—приказал Артемий Петрович ординарцу и подвинулся поближе.— Ну что, шут гороховый, прокатился на лошадке?— сам не замечая, он сорвался в крик.— А? Авось теперь-то язык научишься попридерживать! Отвечай!

Арестованный с трудом разжал губы: «Так точно, ваше превосходительство!» Простой ответ Артемию Петровичу показался подозрительно дерзким.

— А ты, я вижу, замерз! Так разогрейте его! Пусть пьет мое здоровье!

Желая проделать с ним известную шутку, Артемий Петрович мечтал не только унижить, но и напоить проклятого глумливца, а то не ровен час загнетса.

Кубанец с поклоном поднес Мещерскому здоровенный рог, в который влили большой штоф перцовой водки, и произнес угодливо: «Извольте, князь, отведать!»

Штык-юнкеры хихикнули с деланной завистью. Мещерский принял рог, руки его дрожали, водка текла за воротник рубахи. Он начал отклоняться назад, но, не сдержав равновесия, рухнул на спину. Рог выпал из рук, водка разлилась по полу.

— Я... я, — стал оправдываться Мещерский, — стоять не могу, ваше превосходительство.

Он зашпешил, пытаясь подняться на колени, но трясущиеся, нагруженные гирями ноги разъезжались по мокрому паркету.

Тут Волинский не выдержал — нет, не суждено было этому дню закончиться хорошо.

— Врешь! Нарочно вылил! Значит, мало еще мерз, горячительное не приемлешь? — закричал он не своим голосом, затопал ногами, свалил стул и зашиб ногу, отчего только больше распалился: «Мало тебе, так погоди же!» Штык-юнкеры замерли, боясь даже бровью повести; Мещерский покорился судьбе и только воспаленными глазами пристально глядел на разбушевавшегося генерал-губернатора. Это надменное, как показалось Волинскому, спокойствие и решило исход дела.

— Васька! — заорал Артемий Петрович в исступлении. — Васька! На лед его! На лед! Стоять не может, так пускай же насидится всласть! Вон! — обрушился он на штык-юнкеров, и те, счастливые, что гнев не перекинулся на них, схватили Мещерского под микитки и потащили прочь.

11

«Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество, на них бо висит не одного некоего человека, не дому одного, но всего великаго народа житие, целость, безпечалие...»

Феофан Прокопович. Из «Слова о власти и чести царской». 1718 г.

12

Петр. Петр Великий. Отец отечества. Император. Странно звучащие, почти кощунственные новые титулы. Сколько раз на дню ловило их ухо. Громкое, грозное, далекое имя. Вошло в привычку слышать его, удивляться, восхищаться, робеть, затаивать страх. Имя его — Россия, но связать его с Астраханью... кому бы пришло в голову?

И вот пришло кому-то. Покатилось, понеслось. Понеслось по домам,

базару, торжкам, словно ветром надуло. Задолго до посещения уже знали: замышлен Персидский поход. Цены полезли вверх. Ничего еще не произошло, а одни уже надеялись, другие дрожали, и ожидание подогревалось ежедневно разноречивыми слухами, и на базаре — а значит, и в городе — все бурлило. Астраханское солнце перерождает кровь и даже в русских будит вспыльчивый, восточный темперамент.

Васька рано вставал тогда, но еще раньше, с солнцем, точнее еще — в предрассветной мгле, начинали работу подрядившиеся на выгодный заказ плотники, — казалось, топоры стучат всю ночь. Спешно ремонтировали кровлю над губернаторскими покоями, меняли разошедшиеся ставни, перебирали половицы, белили внутри потолки, а московская артель скипидарила и доводила до блеска зелеными оселками уснувший было ложный мрамор парадной лестницы.

Площадь перед дворцом покрылась пятнами извести, кучами песка, желтой кудрявой стружкой. По Волге, груженные лесом, плыли из Казани дощаники: Артемий Петрович Вольтинский возводил за Кутумом загородную резиденцию.

Васька кончал терцию — последний класс школы. В спокойном, добром, уравновешенном капучине появилась нервность: школа была чрезвычайно дорога старику, и, зная ненависть отца Иоакима, Марк Антоний, ожидая высочайшего визита, томился. Губернатор задолго наперед предупредил, что, возможно, император сам захочет осмотреть школы, и монах, много постранствовавший по свету, а потому научившийся презирать опасность, вдруг понял, что боится, попросту боится ожидаемого посещения. Здесь, в Астрахани, старик решил остаться навсегда — город стал ему дорог, и школа, и костел — детища его рук... Страшно было лишиться последнего прибежища и снова отправляться в неведомое странствие. Да, слишком, слишком многое зависело от ожидаемого приезда...

Ученики разучивали новые песнопения, завезенные из далекой столицы, твердили наизусть орации Цицерона, оды Горация, распевно качали в такт головами — Марк Антоний готовил их тщательно, как никогда прежде. И как никогда прежде доставалось лентяям — долго молчавшая линейка доброго капучина часто теперь свистела в классах.

Душой пастырь отдыхал со своими любимцами — Василием и Сунгаром — друзья были много способнее остальных: итальянский, латынь и даже древнегреческий они освоили легко. Монах подолгу гулял с ними в школьном саду, беседовал на родном ему языке и часто, часто прятал улыбку, когда они, перебивая друг друга, рвались читать выученные помимо школьных занятий стихи. Мальчишки упивались поэзией.

«Это возраст такой», — думал капучин. Он остужал немного их пыл, направлял в чтении, объяснял начатки пиитики и риторики. Он поощрял желание русского учиться дальше: учеба и дела красят человека. Он давал им книги, а они помогали ему, возились с малышами-приманами* и скоро стали вместо него вести у них занятия.

Теперь они стали почти полноправными членами школьной общины и втроем готовились к встрече. Они трое и весь город. Город и отдельно, особо — три его жителя.

С той печально закончившейся виноградной вылазки Сунгар с Василием не расставались. Индеец принес на следующий день какой-то пахучий бальзам, наложил на ранки — все зажило как на собаке.

Они дружили, но цели были у них разные: Сунгар готовился заметить отца в лавке, Васька мечтал учиться дальше. Их роднили Вергилий, Гораций, Цицерон и еще — комедии Теренция и Плавта. Марк Антоний дал им историю Рима Аппиана Александрийского, изложение греческих мифов Аполлодора Афинского, поэмы Гомера, и они впервые

* Ученики первого класса латинской школы.

задумались, как велик, красив и мудр мир. Сколь он сед, славен и удивителен.

Но стихи, которыми было писано большинство книг, волновали особенно. Четкая латынь, певучий греческий — они не казались тяжелыми, как в первый год обучения, и теперь одаривали за усердие несказанным счастьем.

Отец воспрянул, вышел из своего сонно-подавленного, самоуглубленного состояния. Он интересовался Васькиными успехами, выспрашивал, обсуждал и много рассуждал вслух. Это они, вместе с отцом Иосифом, сговорились определить Василия к капуцину. У них появилась цель — сделать из Василия архиерея, а отец даже, заговариваясь, мечтал о большем. Отец Иосиф, Васькин духовник, поощрял латинство, он сам учился когда-то в Киево-Могилянской академии, правда, не окончил ее, но хорошо понимал, что учение у капуцина не повредит его духовному чаду. Он и сам занимался с мальчиком: гонял Ваську по катехизису, пояснял примерами из Писания возникавшие вопросы, а в хорошие минуты распевал Псалтырь Симеона Полоцкого, коего ценил больше всех живших на земле поэтов.

Отец Иосиф обещал дать письмо в Киевскую академию, где остались у него знакомые. Василий даже подал челобитие товарищу губернатора с прошением о паспорте для учения в Киеве. Канцелярия паспорта выписала, но неожиданно все сорвалось...

Умер дед. Умер среди дня, спокойно, никого не позвав, ни с кем не простившись. Закрыв Минеи, положил на крышку голову, задремал. Василий хотел вынуть книжку, подложить подушку, но дед пробурчал спросонья: «Отстань, Васька, не мешай думать», — словно помогала ему эта книга, ведь так и не отпустил ее. Когда мать принесла ему обед, он уже окоченел. Смерть была безболезненной, счастливой.

Мать умерла по-другому. Она давно, давным-давно стала копить на приданое дочке. И скопила. Чего ей это стоило, только она одна знала. Скопила, дождалась весеннего мясоеда, выдала Марию замуж. Растаралась на славу, много народу гуляло тогда у Третьяковских. Много больше, чем вскоре на ее поминках. Умирала она тяжело, мучилась удушьем. Можно сказать, что смерть ее задушила.

Отец после похорон ходил потерянный, дома стало пусто: два мужика да печь. Он переменялся, стал высказываться против латинских школ, против отъезда, даже против собственного друга — отца Иосифа. Против всех, против всего. Он торопил Ваську с дьяконством, настаивал, кричал, даже плакал, чего раньше за ним не водилось, и, боясь, что Васька его покинет, решил женить. Был тут и далекий, тайный смысл: женив, он закрывал для сына монашество, а значит, и архиерейство, о котором недавно еще так мечтал. Отец всегда мыслил крайностями.

Сватовства особого не было, он давно приглядел хорошую невесту. Сходил к Фаддею Кузьмину: потолковали, выпили водки, ударили по рукам. В год приезда императора отец Иосиф обвенчал их в Троицком соборе. Свадьбу справили тихую, только семейным кругом.

Федосья — большая и уже немного грузная для своих восемнадцати лет, пышущая здоровьем — была хорошая хозяйка. Кирилл Яковлев наглядеться на нее не мог; думал — посадит сына на цепь, привяжет к дому. Но не случилось. Не слюбились. Подчинившись воле отца, в душе Васька восставал против его произвола и предательства и из-за этого не мог полюбить работающую и покладистую, ни в чем не повинную жену. Он был упрям и втайне решил: учиться он будет во что бы то ни стало. А пока — пока приходилось затаиться и ждать. Федосья, увидав, что муж ее сторонится, перестала навязываться, терпела, отмалчивалась, делала вид, что не замечает его угрюмости, и всю нерастратенную энергию пустила на дом и огородное хозяйство. А он пропадавал в церкви, в школе у капуцина или в келье отца Иосифа, старался

бывать дома как можно меньше: уходил чуть свет, приходил поздно и сразу ложился спать.

... Девятнадцатого июня тысяча семьсот двадцать второго года, в полдень, он был в толпе на пристани. Солдаты теснили народ: второе кольцо, взяв ружья на караул, стояло чуть поодаль, вокруг причала. Наконец вдалеке показалась галера с развевающимся флагом, и от пристани сразу же отвалила шлюпка, убранный цветами,— императора ждали с супругой. С крепости ударила башенная пушка.

Он знал, что император высок. Среди гребцов и свиты, действительно, один выделялся своим ростом. Василий не спускал с него глаз и по почету, каким окружили высокого на берегу, понял, что не ошибся.

Он кричал, кричал вместе со всеми, но император лишь мельком взглянул на толпу и быстрым шагом направился к крепости.

Со стен троекратно салютовали из всех орудий, как и полагалось по воинскому уставу. Толпа потянулась на главную площадь. На паперти Успенского собора ждал архиерей со священниками, отец был в их числе. Забили в колокола. В солдатской слободе, в стане генерал-майора Кропотова трижды отозвалась салютами полковая артиллерия. Затем затрещали ружья.

Он тогда пожалел, что не пел в Успенском. В новом соборе были свои певчие.

13

Потом пошел дождь. Сильный, необычный для астраханского июня.

Государь стоял на нижних ступеньках Успенского собора вместе с Волынским, свита расположилась чуть в стороне. Войско проходило четким парадным шагом, мокрый песок летел из-под сапог. Флейтчики и гобоисты играли. Что есть силы бил барабан, с ним перекликались маленькие барабаны в строю.

Дождь зарядил сильнее. Свита сбилась в кучу, но Петр не обращал на нее никакого внимания — он весь был поглощен действием. Василий понял, что теперь никто уже не в силах отменить намеченных экзерциций.

Волынский взмахнул рукой. Оркестр замолк, послышалась барабанная дробь. В дальнем углу площади показался прапорщик с пикой. За ним маршировала шеренга, и еще, и еще — второй и третий взводы. Прямо перед императором прапорщик замер, солдаты топнули ногой — встали. Петр не выдержал, сбежал со ступенек. Сам давал команды. Солдаты четко перестраивались, брали ружья наизготовку, вставляли в дуло байонеты — кололи, отступали назад, снова замирали. Поворачивались кругом, припадали на колено, целились. Ложились в мокрый песок. Целились. Вскакивали. Замирали.

— А-ах! — доносилась до него команда, поданная резким государевым голосом.

— А-ах!

Солдаты взяли ружья в левую руку, опустили стволы вниз, спрятали замки под мышку, чтобы не намочить порох. Приклады одинаково выглядывали из-за плеч.

Петр обходил шеренги. Все лица тянулись к нему.

Петр повернулся, подошел к ступенькам, давая понять, что смотр окончен. Оркестр заиграл немецкий марш — шеренги двинулись. Одежда солдат набухла от воды, была испачкана в песке, латунные лялдушки с патронами били по бокам, по ним текли желтые капли. Василий неотрывно глядел на Петра, не ощущая холода и тяжести промокшей рясы: давно уже — сам он того не заметил — вытянуло его из-под навеса на улицу, ближе к плацу, под дождь.

Марк Антоний не стал ругать его за прогул. Наоборот, обрадовался, увидав. Схватил за локоть.

— Василеус! Иди домой, вымойся, одень лучшее, что у тебя есть. Сегодня занятия отменяются — завтра нас посетит государь император. Приходи пораньше!

Никакой особой одежды у него не было — отец не покупал ему немецкого платья. Теперь, узнав о торжестве, отец сходил к келарю монастыря, принес новую рясу. Пошел с ним в мыльню и после заставил пропеть «Виват», как учил присланный месяц назад от Вольтинского офицер. Васька с гордостью исполнил его тогда домашним, и теперь отец проверял — не забыл ли? Федосья подстригла его. Словом, все готовилось к необыкновенному. Васька так волновался, что заразил домашних, — ночью спали плохо все трое.

Отец освободил его от заурени, благословил с надеждой, и Василий побежал в школу, но на дверях дома, где находились классы, еще висел замок — Марк Антоний молился в костеле.

Стараясь унять дрожь, он принялся ходить по саду, повторяя заученную орацию Цицерона. Слова путались, голова была пуста, он с ужасом пытался, ухватившись за обрывок фразы, вспомнить, вспомнить... но не мог. За этим занятием его застал капуцин. Он только мельком взглянул на Василия и тут же крепко сжал ему запястья, встряхнул, и Васька успокоился.

Но затем, затем накатило снова, и еще хуже, как столбняк, сводило горло и болел живот. Кажется, пришли ученики, чистили помещения, плели цветочный венок на дверь и устраивали спевку. Занятия начались, но никто не мог сосредоточиться на правилах. Наконец в класс заглянул бойкий секундан*: «Патер зовет выходить».

Василий стоял со своими малышами-приманами, выделяясь ростом, церковным облачением; все: и армяне, и русские — были в кафтанчиках, штанишках, башмаках с бантами — их родители расстарались ради такого случая.

Через полчаса, когда стало совсем уж невтерпеж, около ворот церковного двора остановилась коляска. Не дожидаясь запаздывавшей свиты, из нее соскочил высокий человек и быстро зашагал к школе. Вслед за императором поспешали Вольтинский и еще двое вельмож. Чуть сбоку семенил Мамикон Ваграпов, глава Джульфинской компании, — он-то и вел великого гостя. Петр по приезде утвердил армянам льготы, а теперь пожелал взглянуть на латинские школы Марка Антония.

Монах заспешил навстречу, шаркая сандалиями. Веревка от пояса путалась в складках рясы. Он согнулся в поклоне, и хор, как договаривались, на этот знак радостно грянул «Виват». Это было новое в Астрахани пение, собственно, всего одно-то слово и пели, но получалось удивительно: слово раскладывалось на двенадцать партий двенадцатиголосого хора, и оно менялось, перекрещивалось, добавлялось повторами, дробилось, множилось, разбухало, росло, росло, рвалось из усердных юных уст, это слово «виват», и Васькин ликующий дискант был заглавным в этом громкозвучном приветственном гимне.

Затем кто-то из старших учеников читал оду Горация. Петр прохаживался перед шеренгой, было непонятно, знает ли он латынь.

Государь заглянул ему прямо в глаза так неожиданно, что Василия обдало огнем, как от плетки Кубанца. Он сразу устался в песок дорожки, примятый большим грубым сапогом.

* Ученик второго класса латинской школы.

— Кто таков? Почему не по возрасту стоит? — раздался над ухом резкий голос.

Надобно было сразу отвечать, но он не мог. Это и было чудо, которое он упустил. И никакого счастья, страх сковал его.

Выручил патер Антоний:

— Лучший ученик, ваше величество, Василеус Третьяковиус. По окончании школы занимается с приманами грамматикой.

— Должно учиться дальше! — отрезал Петр. — Ты что ж о своих дарованиях не печешься, только на словах горазд?! — бросил он ехидно генерал-губернатору и зашагал дальше вдоль замерших учеников. Больше он ничего не сказал.

Над свитой пронесся шепоток — было известно, что государь император по приезде уличил Волинского в казнокрадстве и очень им недоволен, — положение астраханского генерал-губернатора было весьма и весьма ненадежно.

Подняв голову, Василий заметил, как зло стрельнул по нему глазами уязвленный вельможа, и оттого, вконец растерявшись, качнулся и чуть не выпал из общего строя — только укоризненный взор Марка Антония заставил собраться с силами и перенести эту муку до конца.

Государь пробыл недолго, заглянул в костел, прогулялся по саду и, кажется, уехал затем пировать к армянам.

«Должно учиться!» Это выстрелило как приказ. Но как? Как исполнить его?

Дома он все рассказал и сетовал, что упустил случай: надо было броситься на колени, молить... Отец и Федосья успокаивали, утешали, жалели...

15

Мало кто знал в Астрахани, что часть государевой свиты задержалась в отведенном губернатором небольшом особнячке, спрятавшемся на задворках необъятной старой крепости. Особняк жил тихой, малоприметной жизнью, и лишь полковые лекари да изредка губернатор навещали расположившегося там влиятельного вельможу. Но приспел срок и им покинуть принявший их, по воле случая, город.

...Вечерний благовест плыл над Астраханью. Возки давно были собраны, тронуться должны были еще утром, как и подобает дальним путешественникам, но задержались. У старого князя Кантемира опять случился припадок. Велели было разгружать, но князь оставаться наотрез отказался. Он словно чувял надвигающуюся кончину, спешил домой — мечтал увидеть сыновей, обнять любимицу дочь! Посему приказал выезжать хоть на ночь глядя.

Дмитрий Кантемир — князь и наследный господарь Молдавии и Валахии — был из числа любимых Петровых советчиков. Государь взял его секретарем походной канцелярии — хотел всегда иметь под рукой — и сам же от должности освободил, как приключилась болезнь. Напоследок строго наказал больного сберечь и выполнять любые его пожеланья.

— Ты, князь, мне здоровый нужен, не спеши, лечись, сколько потребуется, а то ведь знаю тебя...

Обнял на прощанье, расцеловал и отбыл. Уехал водой к Москве еще в ноябре. Князь хотел прямо вослед, да засиделись до конца января. Врачи и сейчас уговаривали переждать зиму, но князь их советов не слушал.

Василий прощался с Федосьей на рыбном дворе около возков. Отец, благословив днем, теперь ушел к вечерне, втайне надеясь, что отложат отъезд.

— Я отпишу, не волнуйся, — в который раз повторил Василий... — Жаль вот, что с отцом не повидались.

Жена лишь наклонила голову. Прощание было ему особенно в тягость, он старался подавить жалость и острое чувство вины перед женой.

— Видишь, права ты была тогда — сбылись государевы слова...

— Да, да.

Она покорно кивала головой.

На другой день после государева посещения нагрянул в дом необычный гость.

Иван Ильинский состоял секретарем при князе Кантемире и присутствовал на смотре в латинской школе. Государевы слова крепко засели в его памяти, а князю как раз нужен был переписчик. Потому и разыскал он дом Третьяковских и, зайдя, вызвал своим приходом небывалый переполох.

Отец испуганно отступил назад, пропуская важного столичного господина, бросился было хлопотать, но Иван Ильинский от трапезы откасался — сразу приступил к делу.

Отец слушал растерянно, взглядом изучая неожиданного нарушителя семейного спокойствия. Ильинский был роста невысокого, средних лет, внешности весьма невыразительной. Высказав просьбу, он нервно забарабанил пальцами по деревяшке стола, ожидая ответа. Он и в разговоре не находил места рукам, дергал себя за обшлага кафтана и время от времени, замирая, кашлял в кулак.

Отец рассыпался в благодарностях князю, но твердо решил отказать. Но он не знал Ильинского — напорвшись на оборону, тот только воспрянул духом, глаза его засверкали, и он принялся убеждать. Убеждать же умел он красиво, честно и настойчиво.

Васька сидел затаив дыхание. Сердце екнуло и, казалось, навсегда остановилось.

Кирилла Яковлев пытался было сопротивляться, но Иван такого понасулил его сыну, так горячо корил отца, обрекающего на погибель талант, что тот сдался.

— Но я еще не знаю, подойдет ли нам ваш сын, — вдруг строго проговорил гость и повернулся к Василию. Начался экзамен. Говорили только на латыни. Иван заставлял читать наизусть стихи, читать по книгам, спрягать глаголы. Спрашивал из Писания — не совсем понятно было, зачем все это положено знать переписчику. В общем, мучил его с час, к концу которого оттаял, просветлел как-то и наказал приходить.

На другой день представил старому князю.

Тонкий с горбинкой нос, высокий лоб, строгие седые брови над внимательными, изучающими глазами. Лицо красивое, даже стиснутые в ниточку губы не делали его надменным. Князь говорил с заметным акцентом. Расспрашивал, но не экзаменовал, лишь проверял впечатление своего секретаря, вставляя иногда в речь латинские выражения, и часто цитировал стихи. Порадовался бойкому знанию Третьяковским итальянского.

— А ну-ка, бери перо, — принялся монотонно диктовать с листа: — «Как сын грешил бы, без благословения родителей вступая в брак, так грешат родители, кои насильно заставляют своих детей не по любви идти на это. Например, если бы родители принуждали своего семнадцатилетнего сына взять в жены сорокалетнюю, но с каким-либо физическим недостатком и лишь только ради ее богатства или знатности рода. Он же ни богатства, ни благородства не желал, кроме как жены по велению своего сердца, и умолял своих родителей о согласии. Но если родители в своей ненасытной жадности к богатству и знатности непреклонны, то лишь оскорбили бы душу своего сына. В таком случае, думаю, сын не обязан повиноваться таким родителям».

Возвращая листок, Васька изумленно глядел на князя — надиктованное словно про него было писано. «А вдруг узнал?» — мелькнула, но тут же погасла мысль; лицо вельможи оставалось непроницаемым.

— Хорошо, кругло, без завитков. Читать легко. Так что, хочешь учиться дальше? — спросил неожиданно.

— Да, конечно, ваше сиятельство!

Старому Кантемиру пришелся по душе его пыл.

— Ладно, будет до Москвы переписчиком, а там посмотрим. Иван подготовит тебя в Академию, — сказал уже мягче.

Так распорядилась судьба, или Фортуна, или Тихия — много у нее было имен, но была она одна, и была к нему благосклонна, пока благосклонна. Ах! Время, состоящее из дней, часов и минут, потянулось теперь совсем невыносимо, и впору б ему мчатся, но нет — болезнь князя сковывала, заставляла сидеть на месте.

Василий простился с Марком Антонием, с приманами, ушел из певчих и со всем старанием принялся переписывать набело сочинения старого князя по истории Молдавии.

Ильинский каждое утро приносил листы будущей книги, садился к столу и частенько начинал рассказывать о Москве, о строгой академической жизни, которую в прошлом сам испытал. Впервые услышал Василий от него и о Феофане Прокоповиче — первом из живущих российских поэтов. Диктованный князем отрывок, оказывается, взят был из большого полемического сочинения, направленного против Феофанова трактата о воспитании юношества. Но странно: споря на словах с педагогом, Дмитрий Кантемир, оказывается, на деле весьма уважал и ценил Прокоповича-поэта. Ильинский читал по памяти Феофановы творенья, и Василий вместе с ним восторгался их красотой, их мерным звучаньем.

Любовь к поэзии сблизила Ильинского с молодым переписчиком. Иван знал наизусть уйму стихов, псалмов в переложении разных поэтов, школярских песенок и духовных кантов, он и сам пробовал сочинять, и молодой князь Антиох Кантемир, тоже любитель складывать вирши, хвалил его упражненья. Обо всем этом Ильинский повествовал свободно, без ложной скромности, просто рассказывал как само собой разумеющееся, и Васька внимал с нескрываемым благоговением. Он понял, что попал в другой, совсем в другой мир: чудесный, новый; и он рвался скорей распрощаться с Астраханью. Прежняя жизнь еще больше стала тяготить его.

... Старого князя вынесли на руках два лакея и, бережно усадив в возок, укутали меховыми покрывалами. С ним сел секретарь.

Василий обнял Федосью и залез в возок с челядью. Жена замахла платком, он принялся махать в ответ. Поезд тронулся.

Промелькнула перед глазами родная крепостная площадь, Пречистенские ворота. Выехали на Большую.

Астрахань быстро терялась в наступивших сумерках, и вот остался только расплывчатый ее контур. Впереди, далеко впереди, была вожденная Москва.

Часть вторая

МОСКВА

1

— А вот мой, молодой! Перо соловое, зоб черный как вороново крыло, ноги желтые, когти черные, глаза красные! В первый бой пушу! А вот любого в Москве молодого!

Низенький мужичонка поднял на руках своего петушка, представляя публике. Стоявшие полукругом сильнее затолкались, стараясь разглядеть бойца.

— Никакой не молодой, уже линия раз — осельчук, точно осельчук, — громко сказал стоявший рядом с Васькой здоровенный детина и сплюнул под ноги. Поймав заинтересованный взгляд, он мигом сообразил, что перед ним новичок, и принялся пояснять: — Хитрит Костяная Яичница. Дурака ищет. Видишь, как ногу уверенно ставит: нет, точно осельчук — сентябрьского выводка. Молоденького-то сразу видать, ерепенится, в драку лезет, а поступь прыгучая: силу чувствует, а бить толком не умеет, крови не видал. Думает, не разглядят, пустят необстрелянного.

— А почему так его называешь? — спросил Васька.

— Кого? Яичницу-то? Да ведь прозвище прямо по нем — он и есть натуральная яичница костяная, — уверенно ответил парень, — сейчас своих станет подбивать, насулит горы, а угощения от него шиш получишь, — объяснивший подтвердил слова дулей. — Деньги с кона получит — только его и видели.

И впрямь, мужичонка, ерошивший шею своего любимца, переменил тактику: «Полтину с четвертаком на кон, а моим — пива на пятиалтынный! — закричал он. — Или нет моему молодого в пару?»

Толпа оживилась. Взгляды собравшихся обратились к владельцам птиц, а те делали вид, что не слышат и не видят зазывалы.

— А хоть бы зверь какой сыскался на тебя! — Васькин сосед в исступлении махнул руками. — В прошлый праздник Яичница своего переярка Яхонта пускал. Я гривенник поставил против — и просадил.

Любители боев волновались все больше, обсуждая качества петушка; некоторые подходили, трогали ноги, стучали по клюву, а хозяин время от времени встряхивал своего питомца, щелкал по лбу, чесал гребешок, оглаживал крылья — словом, старался убедить публику в неотразимой силе и красоте длинноногого забияки.

Зная хорошо коварство Костяной Яичницы, держатели бойцовых птиц долго не решались выставить противника, пока, наконец, из их рядов не вышел пожилой крепкий приказчик в широкой белой рубахе, неся на вытянутых руках маленького петушка.

— Молодого на молодого, отвечаю полтину с четвертью, — не надбавляя ставки, чинно провозгласил он и медленно, с достоинством бывалого победителя пошел по полукружью, давая всем возможность наглядеться на своего невыразительного петушонка.

— Ты, Фомич, на сей раз не то что молодого — цыплака принес! — крикнули из толпы. Все засмеялись, но кое-кто, зная Фомича не первый год, начал возражать. Его петухи не раз бивали самых сильных противников.

Пока петушков показывали, примеряли, поднося клювом к клюву, стравливали, зрители пустились в неминуемые пересуды, посмеивались, давали оценку обоим бойцам и между делом, незаметно начали заключать заклады. Кто рисковал пятакон, кто копеечкой — бой был сегодня первый, — а кто не побоялся выставить и четвертак.

— Да это ж обман, чистой воды обман, — волновался Васькин сосед, кузнечный подмастерье Степан, как успел он уже представиться. — Ты гляди, — он совал в длинноногого пальцем, — он же крыльями одними забьет.

— Маленькие — самые боевитые, не гляди, что мал, — ответил, чтобы возразить и не уронить достоинства, Василий, вспоминая астраханских кекликов-перепелов, которых стравливали на базаре бухарцы.

— Да что ты понимаешь, — наседали Степан, — говорю же, осельчук, а супротив него молодой что тьфу! — он снова плюнул и даже расстерсал сапогом плевки для пушого подтверждения.

Но уже захватил Ваську азарт: темно-красный с черным зобом малыш явно нравился ему больше горделивого осельчука, и он втайне молился за его победу и весь подался вперед, когда петухов наконец отпустили. Они стали похаживать кругом, оглядывая друг друга и оценивая расстояние, — хозяева трусили за ними следом, согнувшись, подмахивая ладошками под хвосты, но руками перьев не касаясь, — соблюдали правила.

— У, цыпленок горелый, — крикнул рядом здоровенный купец, — с таким и воевать неча!

— Погоди, погоди, — запальчиво осадил его Васька, — гляди, как в наскок пошел.

Петухи начали уже чуть подпрыгивать, но шпоры в ход пока не пускали, лишь сшибались грудью и тут же отскакивали назад.

— А ты что, никак за букашонка? — с издевкой спросил купец. — Так давай об заклад на двугривенный.

— Давай! — выкрикнул Васька. Он и сам не понял, почему вдруг ответил на вызов: то ли ему не понравился Яичница, то ли купец, то ли решил сделать так в противовес кичливому Степану.

— Ты что, умом двинулся, лучше мне подари! — Степан даже приобнял его: — Васенька, так-то дурачки и попадают.

— Отстань! — Васька отпихнул назойливого опекуна и еще раз подтвердил ставку.

Вокруг них заговорили, но больше льнули к купцу, надеясь на дармовую выпивку по случаю победы.

— Слушай, я же тебе друг, — извиняясь, пробасил здоровенный Степан и зашептал прямо в ухо: — Ты что, по первому разу ставишь, да?

— Да, да, смотри вперед, не мешай, — отмахнулся Васька.

Петухи сшиблись наконец всерьез. У маленького полетели перья, но он изловчился и сильно тюкнул своего врага прямо в лоб.

— Все, Васенька, все понял, — покаялся Степан, — я за тебя. Признайся только, ты что — учуял?

Всем известное везение новичков придало вдруг Степану твердую уверенность, и он даже насмешливо подтолкнул одного из купцовых прилипал: «Яичница сегодня не игрок, мне верь, я точно знаю. Видишь, как малыш отшпаривается».

Петухи дрались уже в полную силу. Осельчук, более высокий и тяжелый, норовил шпорой рассадить горло неприятелю, вкладывая в удар всю свою массу, но, верткий и легкий, тот сам бил ногами, клювом, крыльями, пока, увлеченный сражением, не напоролся на прямой удар клюва в лоб. От такого попадания петушок отлетел далеко наземь, перевернулся в пыли, но успел вскочить на ноги и бросился по кругу, на ходу качая головой, словно пытаясь рассеять туман в красных, налитых кровью глазах. Длинноногий поспевал сзади, теребил хвост, но захватить и подмять противника ему не удавалось.

— Маловат еще воевать, — добродушно заметил купец.

Васька молча переживал бегство своего героя. А тот вдруг подскокил, пропустив под собой преследователя, и, набросившись сверху на длинноногого, двумя точными ударами пришпорил его в шею. Осельчук на секунду замешкался, и малыш ударил его ответно в лоб, и снова в лоб, а затем, уже шатающегося, сразил шпорой, рассадив ему горло до глубокой багровой синевы.

Длинноногий зашатался, закатил глаза, из надрыва брызнула кровь, и он упал, раскинув крылья, и засучил ногами по пыли. Малыш бросился добивать, но стоявшие начеку хозяева подскочили и вмиг растащили бойцов в разные стороны.

Приказчик высоко поднял победителя, а затем, крепко прижав к груди и отбиваясь от наседавших поздравителей, направился к Костяной Яичнице требовать честно заработанные деньги.

Васька гордо взглянул на купца, и тот, пожав плечами, протянул ему двугривенный.

— Всяко бывает, но должна-то была, конечно, моя взять,— сказал он в оправданье.

Неотступный Степан окончательно повис на Третьяковском, обнимая его, и кричал во всю глотку: «Знал, знал, чертяка, наперед знал! Новичку всегда удача! А я, остолоп, не поверил сперва».

Прихлебатели от купца было переметнулись к счастливчику, но дюжий Степан разом их осадил, назвав московскими шишами, и вытащил измятого и довольного Ваську на свежий воздух.

— Ну, везунчик, пойдем в Никольский рóскат, за знакомство да за удачу не грех и по чарочке.

Васька пытался отнекиваться, объяснял, что ему надо в Академию, что он приезжий, что его ждут на дворе у Головкиных, но отбиться от вцепившегося Степана было невозможно, да и он, окрыленный первым московским успехом, честно говоря, не очень-то и хотел от него отбиться.

2

Очнулся он в конюшенном сарае на соломе. Рядом храпел незнакомый нищий старик: Степана же и след простыл. Исчез не только выигранный двугривенный, но и полтина денег, данная на прощанье Ильинским. Васька долго шарил вокруг себя, искал картуз, но не было и его.

— Письма!

Он с содроганием залез за пазуху, но сверток, сильно мятый, отыскался почти у самой спины. То ли его побоялись стащить, то ли он был не нужен вчерашним собутыльникам. Голова гудела, руки не слушались, лишь машинально разглаживали на колене мятый пакет: в нем заключалась вся его надежда.

— Господи! — испуганно выговорил Васька. — Как же в таком виде в Академию идти?

— А, проснулся,— сказал, приоткрывая один глаз, сам только что очнувшийся ото сна старик. — Это я тебя сюда вчера заволок. Гляжу, спишь в кустах, дай, думаю, затащу под кровлю, не ровен час ограбят.

— Да и ограбили всего,— пожаловался, чуть не плача, Васька.

— Ну ничего, цел сам — и ладно,— наставительно произнес нищий. — Откуда в Москву пришел?

— Из Астрахани.

— Уй ты,— удивился собеседник,— своих где потерял?

Ваське неохота было откровенничать, и он ответил кратко:

— Один я.

— Ага,— смекнул старик,— богомольствуешь или так, Христа ради?

— Да нет, в Академию Спасскую приехал учиться, и вот...

— Значит так, Христа ради, знаем вашего брата,— непонятно провозгласил нищий, развязал торбу, вынул оттуда яичко и подал Ваське. — На вот, подкрепишься, школяр, да пойдем. Я со здешними конюхами хоть и знаком, да лишний раз нечего глаза мозолить. Пойдем, проведу тебя к Академии, а там уже действуй по разумению. Москвы небось не знаешь еще?

— Теперь знаю,— хмуро ответил Васька, жуя всухомятку вареное яйцо.

— И-хи-хи,— зашелся нищий. — Ну, с приездом себя, сынок, с московским крещением.

И он замотал головой, давась от смеха.

Занятия должны были начаться через неделю, а пока немногие обитатели Славяно-латинской академии готовили классы, перетрясали белье, кололи дрова, складывая их высоченными аккуратными горками, и собирались совместно только за трапезой да на ежевечерней молитве. В те дни у Третьяковского оставалось много свободного времени. Он старался не попадаться на глаза отцу келарю, которому был отдан в подмогу, а тот, назначив урок, забывал о его существовании до следующего утра. Васька подметал двор: старался делать это тщательно, как приучила к работе мать, — проходился голиком по каждому булыжнику, собирал опавшие листья в большую корзину и нес их на зады, к ограде, в глубокую яму. Попадавшиеся желуди он пересчитывал, как четки, а затем кидал в ту же яму, и они в ней терялись, засыпались новой корзиной мусора.

Место для ночлега ему указали в холодном, вытянутом зале, где залетавший с улицы свет собирался посередине, а углы даже днем терялись в черноте. Зал перегородили брошенные козлы. Топчаны стояли прислоненные к стенам или валялись, сползшие с них, на полу поблизости, видно, как их оставили с начала вакаций, так к ним и не прикасались. Убирать зал распоряжения не поступало, и он только проделал себе дорожку к оконцу, около которого и спал один в большой и мрачной спальне. Вечерами Васька слушал шорохи своей темницы, скрип рассыхающегося дерева и крестил темноту.

Все время он старался думать о будущем — то, что мерещилось раньше, теперь стало близко, почти осязаемо, но в голову лезли воспоминания, вернее, даже какие-то отрывочные, не связанные воедино мелочи.

С того первого дня он видел ректора лишь раз, столкнулся с ним у ворот — архимандрит спешил к карете и Василия попросту не заметил. Ректор мало появлялся на людях, к общему столу не выходил, молился в своей моленной — все дела лежали на плечах префекта. Зато тот успевал всюду, все видел, все знал, во все вникал.

Все сложилось неожиданно хорошо. Распростившись с нищим, Третьяковский вошел во двор Академии, и монах-привратник отвел его в покои префекта отца Илиодора Грембицкого.

— Как там наш Иван, не забросил ли свои вирши? — поинтересовался префект, проглядывая рекомендательное письмо. По всему было заметно, что Ильинского он помнил и любил. Расспрашивать принялся с живым любопытством, и с удовольствием слушал об Ивановом житье-бытье, и даже припомнил к слову потешный стишок, сочиненный Ильинским еще в Академии.

Префект скоро расположил Василия к себе, и тот не заметил, как выложил ему все про петушинный бой, про гулянку в роскате и про полтину, но отец Илиодор не ругал, а лишь слегка пожурил.

Вызнав, что было ему нужно, префект перевел разговор на любимые книги. Узнав, что юноша знаком с Вергилием, снял с полки томик, предложил почитать.

Откинувшись в кресле, префект долго слушал не прерывая, а затем, словно вмиг очнулся, спросил: «Так, говоришь, пел в хоре? Это хорошо, ничто так не развивает слух. Стихи, вижу, ты любишь и можешь читать, но эти вздохи... Лишнее, лишнее».

Затем последовал опрос по катехизису, и здесь префект был жесток, вопросы зачитывал особо сложные, но Васька знал катехизис наизубок и подтверждал ответы пространными цитатами из Писания и Апостолов. Отличная память, школа отца Иосифа да и отцовские наставления очень теперь пригодились.

Так прошло часа три или больше того — экзамен прервал колокол,

сзывавший к трапезе. Они спустились в большую столовую, и Василия усадили с краю, а после еды молодой монашек повел его куда-то коридорами и переходами. Перед тяжелой кованой дверью они остановились. Провожатый открыл ее и, пропуская ТрEDIAKовского вперед, учтиво поклонился и затворил ее за ним с наружной стороны.

Префект был тут же, но он только передал прошение Ильинского и отошел к окошку, оставив их как бы один на один.

Ректор Академии архимандрит Гедеон Вишневский был уже в летах. Его тяжелое, грузное тело прочно покоилось в глубоком жестком кресле рядом со столом, заваленным бумагами и книгами. Тяжелые и властные, под стать всей фигуре, жгучие черные глаза пристально изучали юношу. Наконец он кивнул на табурет и, повертев в руках письмо, бросил его на стол, не разворачивая. Еще с минуту отец Гедеон хранил молчание, выжидая, и затем заговорил тихо и размеренно — архимандрит страдал одышкой.

Он поинтересовался житьем у Кантемиров и сокрушенно качал головой, слушая о последних днях старого князя.

Всем своим обликом ректор Академии вызвал в Ваське глубокое почтение, и он боялся, отвечая, оскорбить ненужным словом святость его сана. Но ректор со стариковским любопытством выпрашивал о течении болезни и способах лечения, опробованных лекарями на князе Кантемире. Особенно интересовали его описания внутренних болей, претерпеваемых в последние дни умирающим. Такая мирская дотошность покорила Ваську, — почему-то главный пастырь Академии в мыслях рисовался ему иным, сродни первому величавому и пугающему впечатлению. Ему не пришло на ум, что в описываемых страданиях старик распознал мучающий его недуг.

— Ты, кажется, родом из Астрахани? — спросил вдруг ректор. — Расскажи-ка нам о тамошних латинских школах, мне доводилось о них слышать.

Ректор и тут проявил дотошность, вызнавал, что и когда учили, по каким книгам, выведывал об армянах и индусах, ее посещающих. Про русских же пытал особо и, когда Василий слишком почтительно помянул Марка Антония, вкрадчиво спросил: «А ты не обливанец ли слушаем?»

ТрEDIAKовский широко перекрестился и поспешил привести слова из апостольского Послания — хотел защититься и заодно блеснуть знанием Писания:

— Сказано же у Павла: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь: судия же мне Господь».

— Что ж, память у тебя хорошая, но не спеши оправдываться словами Писания, ибо оно, как говорил блаженной памяти Стефан Яворский, есть яко меч обоюдоостр. Ты еще юн, а посему тороплив, — добавил он и погрузился в молчание.

Перепуганный Васька бросился рассказывать про отца, а после даже сослался на своего духовника, сказал, что они не возбраняли, а, наоборот, поощряли его учение у капуцина. И даже сам генерал-губернатор Артемий Петрович Волынский — ведь это он открыл в Астрахани школу. Тут, неизвестно зачем, для пущей важности он приплел, будто Артемий Петрович не раз выделял его на смотрах, поощрял дальнейшие занятия, и в довершение поведал ректору и префекту о высочайшем визите, не забыв, конечно, упомянуть о наказе, данном ему Великим Петром!

Но упоминание грозного имени никакого эффекта не произвело. Наоборот, Гедеон Вишневский, кажется, только больше посуровел.

— Страшно, страшно попасться в тенета лжеучителей, — непонят-

но, но гневно поучал ректор. — Слова, что проповедуют скрытые еретики, мечтающие онемечить нашу русскую землю, пагубны, ибо столь сладки для молодых ушей. Волынский, как нам известно, притесняя православную церковь, много сотворил зла истинным христианам, и, кабы не заступничество Прокоповича, дружественного ему архипастыря, воздано было бы астраханскому управителю за содеянное им. Не юным умом судить о сих сложных делах и пустословия ради ссылатся на волю царя и его губернатора. Что ж Волынский, часто ли ты имел с ним беседы?

— Никогда, ему ли опускаться до бесед с простым школяром, — честно признался Василий.

— Ну-ну, — кивнул головой ректор. — Слава Творцу, вовремя приведшему тебя к нам, направившему твои стопы по стезе праведной.

Третьяковский уловил открытую неприязнь, прозвучавшую при упоминании имен Волынского и Прокоповича.

— Учиться должно, кариссимус, — продолжал уже спокойнее ректор, — но опасно и пагубно злу учиться, дьявольской вере еретической. Католические школы в начальной стадии я никоим образом не порицаю — сам в годы оны пребывал в иезуитском коллегииуме и даже почтен был докторской степенью, кою не многие из наших церковников имеют, но тверд остался в вере отцов наших. Взять у латинских богословов полезное и не оскоромиться — вовремя, вовремя зерно отделить от плевел. Хорошо, что познал ты италийский и начатки древних языков, они помогут в твоих штудиях, но знай — учиться следует прилежно, все силы отдавая. Помни это, кариссимус. — И наставительно добавил: — «Корень учения горек, но плоды его сладки!»

— Конечно, доминус, — в тон ему ответил обнадеженный Васька.

— Доминусом не зови, — строго приказал ректор, но видно было — доволен. — Придется нам дурь, в голове твоей угнездившуюся, выбивать смирением, больно ты остер на язык, как я погляжу.

Гедеон Вишневский поднялся с кресла: «Снеси письма к Головкиным, да возвращайся: станешь учиться в риторике», — провозгласил он торжественно и вышел из-за стола. Васька подошел к его руке. Ректор перекрестил, благословляя, и Третьяковский, смиренно склонив голову, поцеловал холодный серебряный крест.

Радостный, до конца еще не осознавший удачу, Васька отправился в Белый город к головкинскому подворью.

Управитель большим головкинским хозяйством, к которому Ильинский послал Василия с депешей о смерти князя Кантемира, оказался человеком совсем не строгим и не страшным, как выглядел с первого взгляда издали от калитки. Уяснив, что юноша уже зачислен на академический кошт, сказал: «Студиозус, значит. А жаль, тебе бы и у нас дело нашлось. Ну да ладно, приходи, однако, как постные щи приедятся, дам тебе переписывать работу — секретарь Кантемиров твой почерк хвалил».

Но просто не отпустил, велел накормить и выведывал — про Ивана и особенно про старого князя. Видно, в Москве были все охотники до новостей. Когда же Васька поел, управляющий сам проводил его до двери и еще раз вздохнул напоследок о смерти князя Дмитрия, словно знал его лично.

Потом только отпустил с миром.

Речь состоит из слов. Они цепляются друг за друга, складываются в предложения. Голос играет тут не последнюю роль — он, как правило, ведет речь, выделяет слова, ударяет звуки, некоторые считая должным

потянуть, некоторые и вовсе скрыть, проглотить. Так бывает при чтении.

Речь большого оратора — учил отец Илиодор — искусство, она не проста, подвержена скрытым законам. Без их применения она скучна, повседневна, не доставляет труда уму и радости сердцу.

Слово — дар Божий. Сила слова столь велика, что все может эта сила, но в дурных, дьявольских руках опасна она: ведь шепчут ворожеи потаенные заклинанья и исцеляют силой сатанинской. Но то слова черные, пагубные. Чистые же и отменно великолепные многосложные сравнения не даются легко. Вдумчиво и умело, красиво и образно, просто и метко говорить доступно лишь избранным, подготовленным и наученным. Но и для них рождение слова — таинство, ибо таинственно и непостижимо рождение слова и речи. Речь — услада, речь — подмога, речь — надежда, речь — жизни счастье. Речь возвеличивает человека. Речь сделала его властелином над тварью бессловесной.

Так вразумлял отец Илиодор.

Василий учился с увлечением. Вечерами сидел в монастырской библиотеке, вместе с немногими, кому позволялось в ней бывать так поздно, ибо право это доставалось только лучшим, отмеченным префектом. Он читал стихи: латинские, русские, греческие. Учил стихи. Учил, читал, пел.

Он пробовал подражать — ведь подражание есть основа основ. Он подражал не по принуждению, а в охотку, и отец Илиодор, подметив его интерес, специально помимо ежедневных классных упражнений заставлял следовать выбранным отрывкам. Наутро Василий нес наставнику лист или два своих упражнений.

Жирное перо префекта проходило по написанному, марало, подчеркивало, негодовало знаками и значками или попросту смеялось толстой линией. Сам же отец Илиодор никогда не допускал высмеивания. Он был строг и добр, добр и строг. Но коричневые чернила терзали хуже наказания, и порой Василий был глух к объяснениям и, потупившись и краснея, бубнил: «Да, отец мой, согласен, отец мой».

— Аз есмь червь, аз есмь червь, ничтожнейшая из ничтожнейших Божьих тварей, — повторял он про себя, исступленно лаская слух чередованием жужжащей и мягких согласных.

Затем, после уроков, найдя угол или примостившись на чурбаке на черном дворе, подальше от глаз приятелей, он расправлял исчерканный лист и упрямо вперялся в свои, такие родные слова. Он не обращал внимания на изменения, внесенные наставником, не думал о его правоте; в эти минуты он был обижен и обида застилала разум — казалось, что лучше, чем примыслил он сам, сказать невозможно.

Он снова читал, и постепенно, постепенно линии и значки префекта начинали казаться верными. С большинством он уже соглашался, а спорить отваживался лишь с пустяками — так велик был авторитет учителя.

Иногда, правда, случалось, он чувствовал безразличие к бумаге: обида сидела где-то слишком глубоко. Тогда он шел в спальню или спешил вместе с друзьями за ворота и в отведенные отдыху часы слонялся по площадям и закоулкам Москвы, порой до самых сумерек.

Он был охоч до всяких выдумок, за что его ценили товарищи и прощали рифмоплетство. Возвращаясь, они старались обходить улицы, где хаживала ночная стража, крались вдоль изгородей или по кромке кремлевского рва, никем не замечаемые, тихие, как тени. Бывало, они пугали случайных ночных прохожих, играя в лихих людей, и дневная молва сразу откликалась рассказами об опять появившихся разбойниках и бродягах.

У них были излюбленные перелазы через монастырскую стену, опасные, особенно во мраке, когда едва выступающие гвозди кровли — опора для рук и ног — и выкрошенные ямки кирпичной кладки становились

почти невидимы. Тут они полагались на умение, сноровку и тренированную память рук.

В спальном зале они пробирались к топчанам и, если замечали подглядывающего фискала, молча показывали ему кулак, надеясь, что такой аргумент оградит их от утреннего разбирательства и строгого наказания. Но случалось, натыкались на наставника, и тогда на другой день долго и больно горела кожа в тех местах, где впивывались в нее моченые тонкие розги.

Так бы, казалось, всему и продолжаться, но случилось по-иному.

Настал апрель, ночные вылазки участились — и не потому, что больше не привлекала учеба, а потому, что отец Илиодор захворал, уроки его стали редки, замещающие находились не всегда, да и в подметки ему не годились.

В мае отец Илиодор пришел только раз. Улыбался, как всегда, слушал, читал сам из Цицерона, обещался в другой раз подробно разобрать речь, но не успел. В мае, скакавшем галопом навстречу концу учебного года, он умер, не успев не только разобрать Цицерона, но и дописать свои обширные комментарии к Дионисию Галикарнасскому, к его трактату «О соединении слов».

Он умер, а отпевание и погребение как-то смазались в памяти навалившимися приготовлениями к предвакационным торжествам. Мастерили декорации, помост для мистерии, которую готовили старшие школяры. А потом, потом гремели хоры, «славы» и «виваты», и в этом многоголосии, звоне литавр, свисте флейт и грохоте барабанов потонуло все: и диспуты, и мистерия, и величание государя императора с супругой — обязательное и ежедневное, как «Отче наш». В той мощи праздника была своя гармония и нервный, дробный, быстрый ритм — он-то и возносил души, так как слов почти не было слышно.

А затем наступили летние вакации.

5

Проخور Матвеевич Коробов узнал его сразу и, доброжелательно усмехнувшись, спросил: «Что, на вакации разогнали, пришел христардничать? Ладно, студиозус (прошлогоднее слово, видно, ему нравится), будет тебе над чем глаза поломать».

Он любил перекачивать во рту гласные, проговаривал по-московски «о» как «а»: «Харашо, харашо, пиши далее». Васька по утрам заносил на бумагу его приказы или переписывал заготовленные с вечера секретарем управляющего Филиппом Сибилевым записи в толстые деловые тетради. Тетрадей имелось несколько — хозяйство было огромное.

Но работа отнимала только утренние часы, хотя и отличалась от кантемировской бездумным однообразием: взято столько-то такого-то, ввезено столько-то такими-то — вот и вся недолга. Тем не менее Васька был рад — кормили сытно, а к концу лета Коробов даже обещался немного заплатить.

С людьми на усадьбе он сошелся легко, а с Филиппом Сибилевым даже сдружился. Был Филипп на несколько лет его старше, но уже обременен семьей и детьми, а потому рано бросил учебу в Академии. Приятель его, Ильинский, прискал ему хлебное место у Коробова. С Иваном Сибилев связей не терял, но редкие, по случаю, письма не заменяли живого общения — любовь с отсутствующего друга Филипп перенес на его подопечного, тем более что Тредиаковский, как и он сам, оказался страстным любителем книг.

Поработав утром, со второй половины дня, после сытного обеда, Васька волен был делать что ему заблагорассудится. Часто он рылся в графской библиотеке — тут им руководил Сибилев, не забывавший за своей работой латыни. Собрание осталось от старых московских вла-

дельцев и состояло в основном из рукописных фолиантов, чтением которых не брезговал и сам Прохор Матвеевич. К новым печатным книгам, лично приобретенным графом Головкиным за границей, Коробов и близко не подходил. Все ляхское — как управляющий, оправдывая незнание чужих языков, называл латынь — порождало у Прохора Матвеевича смешанное чувство восхищения и опасения. Воспитанный в почитании властей, все нелегкие нововведения, выпавшие на его век, Прохор Матвеевич принимал беспрекословно, но, исправно выполняя царские указы, так до конца и не привык к немецкому платью, надевал его каждое утро с явным неудовольствием. Тем не менее все в усадьбе императора боялись и боготворили.

— Ладно нам, дал свои дни доживем и без того умом не оскудеем, а вам, видно, Бог дал во всех премудростях ляхских разбираться, — говаривал он, подтрунивая над чтением Сибилева и Тредиаковского, но, свято убежденный в их «особой учености», занятиям не мешал, а, скорее, даже поощрял.

После обеда наступало затишье. Часто Василий оставался в одиночестве — Филипп не каждый день задерживался в библиотеке. Тогда он отправлялся в город, бродил по площадям, глазел на заезжих акробатов, толкался на Спасском мосту, разглядывая рисунки на дешевых печатных листах, приценивался к бумажным иконкам и литым образкам с соловецкими чудотворцами, но покупать было не на что, и торговцы его не жаловали. Тогда, отойдя от лотков, он сливался с этим нескончаемым людским помпидом, лишь постепенно, медленно оседавшим к вечеру в кабаках, трактирах, на постоянных дворах и в собственных домах и домишках.

Так проходила неделя, и наступало воскресенье. Это был день длинный-предлинный — он любил его. Рано, с солнцем, он убежал в город, обманывая набожного Коробова, уверял, что спешит к заутрене в Спасскую церковь, на деле же спешил на улицу, живую, шумную улицу Москвы — торгующей, праздничной.

Натолкавшись всласть, Васька к полудню спешил домой: воскресный обед был делом важным, кормили в красный день особо — воскресенье, говорили москвичи, главнее Успения.

И нескоро, только когда все бывало выкушано и выпито, Прохор Матвеевич, отваливаясь от стола, кивал Ваське: «Читай!» Васька брал большую праздничную Библию, вставал к аналою и читал — распевно, возвышенно, от души — главы, помеченные хозяином шелковой закладкой.

Когда он кончал, трапезничающие переходили в залу перекинуться в карты, поспать в креслах или продолжить хлопоты по хозяйству, что, впрочем, больше касалось коробовских женщин. Семья управляющего была большая, да еще няньки, да мамки, да старая графова шутиха-горбунья, да заезжие гости, не переведившиеся в доме, — меньше тридцати человек из-за стола не вставало.

Недельные дела на этом кончались, но в воскресенье дома не сиделось, и он спешил за калитку. Василий сжился с Москвой, но до конца к ней еще привыкнуть не мог, не мог наглядеться и поражался размерам, богатству, бедности, размаху и уставал от суеты и шума. Изогнутые линии бастионов Зарядья, хоть и были они мокрые, заваленные мусором, ему нравились: он шел вокруг них, бросал камешками в воронье, гнездящееся в кровлях Китай-города, месил грязь на улицах, пускался в беседы, рассказывал отдыхающим мастеровым о своих краях, о далеких Шемахе и Самарканде, об Индии и индусах и всегда пожинал успех. Слушающие восхищенно вздыхали: «Горазд языком чесать» — и норовили всучить ему еду, напоить молоком, принимая за бездомного служку. Отбиться от хлебосольных москвичей было непросто, и это доставляло ему какое-то особенное удовольствие.

Но он любил не только говорить, любил и слушать. Впитывал зна-
комое многоголосие, стоя на паперти Донского монастыря, куда доби-
рался уже под вечер. Он приходил в гости к единственному закадычно-
му приятелю из Академии Алешке Хижняку, малороссу, прозванному
за сильно косящий глаз «Монокулюсом», сиречь «одноглазым».

Но сиденье в Москве, как бы занимательно ни было, утомляло,
оглушало его, привыкшего к астраханскому раздолью. Как-то, подслу-
шав, что Прохор Матвеевич посылает косцов на кунцевские луга, он
попросился с ними. Неожиданно Коробов согласился — сам он на две
недели собирался отъехать в можайские вотчины графа с ревизией.
Васька получил вакации в вакациях и был счастлив.

Вечерами после работы сидел он у жаркого полыхающего костра.
Тихо спускалась ночь, туманы несли прохладу, разливался покой, и ды-
шалось легко. Потрескивал тонкий сухой хворост в огне, стрелял искор-
ками.

Филипп Сибилев не выдержал и, приехав якобы с проверкой, остал-
ся на ночь, а на другой день привез жену Евдокию и девочек и жил с
косцами два дня. Старшенькая, симпатичная Аннушка, тоненьким го-
лоском подпевала родителям, когда, опорожнив котел с ухой, падали
косари вокруг огня. Женский и девичий голоса начинали песню. Васи-
лию вспоминались мать и Мария за вечерним рукоделием, и станови-
лось тоскливо и сладостно на душе.

Ой да вы туманы мои, да туманушки,
Ой да вот и непроглядные, да туманы вы мои,
Туманы мои!

Косари подхватывали и пели протяжно, глядя в огонь:

Ой да, как печаль-тоска, вот мои да туманушки,
Ой да, вот и ненавистные, вы туманы да мои,
Туманы мои! Туманы мои!
Ой да, не подняться ли вам, вот мои да туманушки,
Ой да, вот не подняться с синя моря долой,
Сы синя моря долой!

6

УСТАВ

Что надлежит знать и делать ученикам по дням и часам.

§ 1. В простые дни поутру вставать в шестом часу; в седьмом
убираться честно, одежда чтобы чиста была, голова чтоб расчесана, и
потом молиться; восьмой и девятый первее изученное вчера греческое
подтвердить, а потом латинского и русскаго языка обучаться; десятый
гулять; одиннадцатый рисовать, двенадцатый обедать. . .

§ 4. При трапезе никому ни с кем ничего не говорить и никоим
образом не соглашаться и не раздражаться, но внимать чтению. . .

§ 10. Играний употреблять безбедных и не злообразных, например:
в городки палками не играть, на крагли метать пули не выше двух
аршин, по сторонам игры той близко не стоять, победителям на побеж-
денных не садиться и ничего непристойного не делать не велеть, в свай-
ку никому отнюдь не играть.

§ 11. Когда которому нужна будет идти из дому куда ни есть
(близко или далеко), тогда докладывать нам, а в небытность нашу
первому, кто будет из служебной фамилии, и требовать позволения, и
во всей той отлучке, даже до возвращения в дом был бы при нем один
из слуг наших. . . А того соприсутствующего не поить и по возвращении
нам или в неприсутствии нашем кому пристойно представить для осви-
детельствования, что он не пьян.

§ 12. А если кто против вышеположенному единадцатому артикулу дерзнет учинить, то всяк из детей наших да и прочих, кто о том знать может, должен нам объявить под жестоким за умолчания наказанием.

7

— Так! Хорошо!

Или: «Очень плохо!»

— Сидеть! Стоять! Слушать меня!

Любил повелительное наклонение. Был сух и строг. Наказание розгами почитал благом. Бил линейкой по пальцам. Завел фискалов.

Спрашивал холодно. Требовал повиновения беспрекословного. Смирение поощрял, но заставлял ходить подтянутыми, стройными. «В здоровом теле — здоровый дух», — цитировал латиняна.

Новый префект был роста невысокого, худощав, лицом бледен. Глаза маленькие, черные, немигающие. Губы словно вытянутые в одну, поперечную полосочку. Когда сильно волновался, губы синели, а лицо совсем уж белело, будто вся кровь от него отливала. Руки длинные, жилистые прятал за спину, прохаживаясь по классу, или нервно сцеплял на поясе, отчитывая провинившегося. Стихотворный ритм отбивал ладонью, узкой и острой, как нож мясника. Ступал на носок мягко и бесшумно. Входил в класс, поправлял фиолетовую шапочку, с ходу обрушивался на учеников.

Всегда чистый, с тщательно промытыми и уложенными волосами, в холеной русой бородке клинышком, обтекающей острые скулы, в рясе без единого пятнышка, подчеркивающей стройную фигуру, был похож на свою излюбленную оценку — единицу.

Многословие отменил. Требовал только необходимых слов. Как удар бича — вопрос: «Сколько родов латинских стихов ты знаешь? Пример диметра — ты, триметра — ты, монометра — ты!» — указывал перстом. «Правильно, сядь!», «Неправильно, очень плохо, сядь!» Упражнения черкал пером, мелко исписывал замечаниями. Споров с собой не признавал. «Учитель для вас — истина, слова учителя — единственная правда!»

Любил отцов-иезуитов, считал их систему обучения наиболее приемлемой. Лютеран и прочих протестантов иначе как еретиками не называл, по мельчайшему поводу старался высмеять, заклеить. Во всей Академии был близок только с отцом Гедеоном — ставил его в пример, восхвалял ученость, докторскую степень, часто намекал на неустанную благую борьбу, ведомую Вишневским с богомерзкими вероотступниками. Как и ректор, добром поминал недавно скончавшегося Стефана Яворского, цитировал его разящие слова: «Аще зло твориши — бойся властелина правильного, ибо не без ума меч носит: Божий бо слуга есть, отмстителъ во гнѣе злое творящему».

Таков был новый наставник риторики, новый префект Академии, отец Платон Малиновский.

Почитал дидактику. Среди поэтов признавал псалмопевца Давида, Вергилия и Симеона Полоцкого — последнего постоянно цитировал. Стихи любил потому же, что и проповеди: любовался словесной игрой, сам переводил с латыни, написал несколько духовных кантов и мнил себя поэтом. Стихи читал резко. Останавливал голос на цезуре-пресечении, вторую половину стиха продолжал в том же тоне, что начал. Словно отбивал ритм башмаком. Всех мерил одинаково, всех подавил, чесал под одну гребенку. Лодырей наказывал жестоко, а поспевающих учеников хвалил редко. Распекал при всех, чтоб было стыдно.

— Названия латинских стихов происходят, во-первых, от их материи или содержания оных, как-то: героические, драматические, буколи-

ческие; во-вторых, от авторов, их изобретших: горацянские, сафические; далее — завязят от числа слогов: пятисложный, семисложный; от полноты или неполноты стиха — стихи, имеющие последнюю стопу целую, называются акаталектическими, от латинского «acatalecta»; те же, которым недостает до полноты стопы одного слога, — каталектические, соответственно от «catalecta». Ясно? Примеры...

Как конспект, как голая схема, как дерево без листьев — мертво, пусто, уныло.

Слова «таинственный», «пышный», «обильный», «прекрасный» словно исчезли с уроков, а если и попадались в его речи — расплывались по ней, терялись, несмотря на то, что звучали ясно, внятно, мерно, ровно, строго, строго, строго...

Васька наказаниям подвергался редко. Он имел достаточно воображения, чтобы представить себе диктуемое образно, и запоминал мгновенно. Четкость префекта была ему на руку — он стал просчитывать стихи и удивлялся их математической выверенности. Играл, меняя слова, — ритм тут же рассыпался, и он вспоминал закон отца Илиодора о соединении слов. Теперь в другом свете все представало. Стихи стоило считать, проверять голос. Вот где таились ошибки. Значит, строгость необходима? Не была бы только так суха.

Отец Платон сильно ограничил их выходы в город. Совсем запретить в стенах он не мог, но пользовался своим правом давать разрешение. Те, кто плохо учился, по сути, оказались взаперти. Ни о каких ночных вылазках и думать не приходилось. Пойманный с поличным Алешка Монокулюс, сбегавший постоянно по делам сердечным в город, был наказан дневным стоянием на коленях, после чего посажен на хлеб и квас и еще был сечен розгами так нещадно, что почти неделю спал на животе, кряхтя и проклиная «Василиска», как прозвали в Академии нового префекта.

Василию пришлось отказаться от переписки у Коробова, от выходов в город. Задавал Василиск непомерно много.

Корень учения был горек, ох как горек!

8

Как так получилось, что, питая нелюбовь, почти ненависть к Малиновскому, Васька попал в зависимость от него? Чувствовал, что сближение не доведет до добра, чувствовал, но не мог противостоять его воле.

У многих, даже черствых людей имеется тайная страсть или, на худой конец, привязанность: была таковая и у префекта — он любил театр. Эта любовь и послужила главной причиной сближения.

По прошествии трех месяцев, добившись слепого подчинения, уверенный, что может лепить учеников, как воск, Малиновский начал позволять себе хвалить их успехи и не так зло ругать за оплошности: стало очевидно, что предмет риторики ему не безразличен. Когда же подошли к драмам и трагедиям, наставник совсем преобразился: голос его порой стал звучать взволнованно, необычно. Особенно любил трагедии. Префект говорил о негодовании или сострадании, которые вызывают лучшие трагедии у слушающих, описывал бедствия великих героев: они проистекали от грехов или проклятий — грехов их родителей или родителей их родителей. Раскрытие тайн мастерства и было самым интересным в его уроках.

— Герой трагедии не может быть безукоризненно чист, откуда бы тогда рождались страсти? — пояснял он. — Идет извечная борьба добра и зла. Вина героя зиждется не на его испорченности или злой натуре; под влиянием другого лица или в силу страсти, чрезмерного влече-

ния совершает он роковую ошибку. Например, может он заблуждаться в том, что считает благом, поэтому вина его кажется мнимой. Но она есть и влечет за собой несчастье.

Как-то ноябрьским утром префект торжественно объявил, что перед зимними каникулами они будут играть драму, и драму эту надлежит написать самим ученикам. Вот тут Василий отважился на сочинительство, начал писать своего Язона. Он держал все в тайне и очень спешил. Конечно, за образец была взята «Медея». Вначале у него шел длинный монолог учителей детей Язона, в коем излагалась вся история аргонавтов — это он сделал для младшеклассников, не знакомых еще с Еврипидом. Изложив события, он вдруг почувствовал, что запутался. Становилось жаль Медею, обманувшую отца, умертвившую брата, загубившую душу из-за великой любви к Язону, по прошествии лет бросившему ее ради другой. Отчаянье и ненависть толкнули Медею на самое ужасное — убийство собственных детей, лишь бы только они не достались предателю-мужу. И было жалко ее, и была она омерзительно противна.

.. Префект подошел сзади. Васька его не видел — он мучился, не знал, что же дальше делать. . . Префект подошел вовремя, как нельзя более вовремя. Через плечо увидав, он мгновенно понял, чем занят ученик, отметил томик Еврипида на столе и вдруг сказал: «Подвинься».

Испуганный, ошарашенный Василий вскочил и уставился на наставника.

— Сядь, — по обыкновению строго сказал тот, сел рядом и стал читать написанное. — Хорошо. Ты сочинишь пьесу к Рождеству?

— Да, я бы хотел. . .

— Хорошо. Но следует больше говорить о победах героя. Намекни сперва на прошлый грех, проклятие всего рода. Введи Рок как действующее лицо. Введи Смерть для устрашения. Пускай собирает она свою жатву и предрекает погибель героя. Введи Славу — она и расскажет о его подвигах. Выбери для начала действия момент, скажем, убийство невинных детей — так страшнее, а потому привлекательней для зрителя. Примысливай, но и подражай. Вина Язона в том, что не по любви, а по страсти взял он Медею, что доверился женщине не чистой, ибо от женщины вообще первый грех на земле. Упомяни это. Она — сестра Смерти, все гибнут от нее, прикоснувшись к ней, ибо женщина — сосуд дьявольский и создана на погибель. В конце, когда падет Язон под обломками своего корабля и прежде чем погребут его, герою надлежит обратиться в зал с предсмертным словом, в котором признает он свою судьбу и проклянет злой Рок, представший перед ним. Это возвысит героя и покажет, как он заблуждался. Ты понял?

Не дожидаясь ответа, встал, пошел по проходу и вышел за порог библиотеки, не обернувшись.

— От Василиска добра не жди, — уверенно сказал Монокулюс. — Он хитер как дьявол, ты от него лучше подальше.

Ночью Василий спал плохо. Относительно пьесы сомнений не оставалось, она виделась ему вся, следовало только написать стихи на бумаге. Но почему помог ему Малиновский?

На уроке префект по-прежнему был сух. Даже наказал Третьяковского за плохо подготовленное упражнение.

«Это он специально. Это тайна. Хочет, чтобы никто не прознал», — решил Васька.

На следующий день прямо в классах спросил: «Ну, как твой Язон, Третьяковский?»

Васька был сражен: значит, никакой тайны не существует!

Товарищи потребовали объяснений, но, вопреки его страхам, заинтересовались и не посчитали его предателем, наоборот, на него стали смотреть с уважением, а известный лодырь Родька Шило проорал:

«Валяй, валяй, глядишь, Еврипидом станешь!» Ложное пренебрежение означало почет.

Вечером отец Платон уже поджидал Василия в библиотеке. Правил стихи, объяснял. Перо его было доброжелательно!

— Помнишь ли ты Тацита, — вдруг спросил, обжигая своим буравящим взором, — то место, где он описывает начало войны Веспасиана с Вителлием? Почему проиграл последний? Да потому, что закрывал глаза на своеволие командиров, потакал солдатам, был распущен и безнравственен, тогда как Веспасиан, добившийся власти, был строг с ветеранами, не сулил им золотых гор и победил! Ты, кажется, понял меня, не так ли?

И удалился.

...В начале декабря ректор одобрил пьесу и приступили к репетициям. Третьяковский по праву играл Язона и был очень горд. В академии стали говорить о нем, провожали взглядом. Сыскался среди школяров и особо ревностный почитатель — Васята Адодуров, учившийся в пиитике. Он напросился участвовать в представлении и показал себя настолько даровитым чтецом, что Малиновский поручил ему сыграть Рок. Конечно же, руководил театром префект сам и вымуштровал их так, что во время показа не было допущено не единой ошибки.

Пьеса имела бурный успех. Ученики подходили к Ваське, толкали в плечо, жали руки. Васята Адодуров не покидал своего кумира ни на мгновение, словно охранял его. Даже ректор похвалил Третьяковского, публично назвав талантливым юношей.

Был ли Васька счастлив? Странно, но он чувствовал себя скорее неуютно. Похвалы были приятны, а вместе с тем хотелось спрятаться и реветь белугой. Ведь по праву большая часть успеха принадлежала Малиновскому, но он остался в тени. Ваське было неудобно и страшно, словно он обокрал дом, а хозяин знает, но почему-то молчит до поры до времени.

Префект больше к Третьяковскому не подходил — прокричал «слава» вместе со всеми и с тех пор даже здоровался, как всегда, сквозь зубы.

Наступила Рождественская неделя, и многие разбежались по домам. Уроки отменялись. Академия опустела. Васька мог бы пожить у Коробова или у Сибилева, но упрямо засел в библиотеке — новая пьеса о победах генерала Тита уже вертелась в голове. Он обсуждал ее с Адодуровым, и тот одобрил замысел. Однажды, когда Василий сидел в библиотеке, появился префект и чуть заметно поманил его пальцем. Васька последовал за ним.

Он шел по переходу вслед за префектом и чувствовал, что сейчас должно свершиться нечто важное.

9

— Мне говорили, что отец Илиодор особо отмечал тебя, так ли это? — голос префекта был пугающе вкрадчив.

— Да, но он любил всех учеников и приближал не только меня одного.

— Неправда, ты солгал, желая как бы защитить, приравнять к себе однокашников. А от чего и зачем их защищать? Я позвал тебя, чтобы говорить о тебе, а не о других. Пойми меня верно, твое будущее заботит меня. Видит Бог, я желаю только добра, но вот сможешь ли ты довериться мне без боязни? Строгость страшит тебя, но я уже объяснил ее причины — понимаешь ли меня правильно, сын мой?

— Да, мне кажется, я понимаю.

— Знай же, еще в прошлом году отец Илиодор заметил твои способности и, доложив о них, как подобает, ректору, всячески старался

развивать твой дар. Илиодор Грембицкий много души вложил в своих учеников, тебя же он любил особо. Ведь не станешь отрицать, что сам чувствуешь свои способности — бóльшие, чем у остальных.

— Отец Илиодор любил всех, и меня тоже, но со мной занимался особо, зная, как мне это нужно.

— Вот видишь, ты уже согласился, что был выделяем. Ты и ныне заслуживаешь этого. Слово дается тебе, а слово — большая сила в руках праведных. Не думай, что хвалю с тайной целью, — когда мы вдвоем, я могу говорить откровенно. Твой удел особый, отныне сам ректор будет следить за твоими успехами и позаботится о твоём будущем, если ты сумеешь оправдать его надежды.

Ректор намеревается присмотреть способных учеников для отсылки в Париж, как и в прошлые годы, когда под крыло нашего посланника, барона Шлейница, трое достойнейших из Академии были направлены на учебу в тамошних университетах, чтобы, постигнув латинскую науку, приложить свои знания во славу церкви Российской. Я считаю, что особо одаренным полезно поучиться на чужбине, перенять лучшее из доктрины католической. Это, возможно, ожидает и тебя. Бойся только подпасть под влияние душеуладительной проповеди новых еретиков — протестантов, желающих тайно уничтожить саму церковь, упростить ее Богом заведенные обряды, обмирщить священнослужителей. Есть, есть у нас сторонники пагубной Лютеровой ереси, и некоторые из них занимают важные посты в церкви Российской, засоряя язык родной дьявольскими своими словесами, стараясь сетью крепкой оплести уши великого нашего государя. Сказывали мне, что ты знаком был с Иваном Ильинским, прошлым нашим выпускником? Сей человек достоин был похвалы, пока не попал под дурное влияние. Не успел ли и ты заразиться сей опасной болезнью от него?

— Нет, нет, — слишком поспешно, с нескрываемым трепетом промямлил ТрEDIAKОВСКИЙ.

— Что ж, я поверю тебе.

Глаза Малиновского, казалось, все видели, все подмечали, но почему-то голос префекта оставался доверительно мягким, даже ласковым.

— А Волинский? Неужели обошел он тебя своим вниманием?

Василий побожился, что солгал тогда перед ректором, солгал, желая заслужить одобрение, по глупости своей, по невежеству.

— Ложь — грех тяжелый, — согласно поддержал его префект. — Но теперь ты покайся, а значит, очистил душу. Пока ты в этих стенах, ничто тебе не грозит, но ведь недалек тот час, когда ты покинешь нашу обитель. Коль доведется тебе попасть на чужбину, не забывай о своей вере, и если не отступишься от нее, подтвердишь, что можешь перенести дальние края, не поддавшись искусу иных вероисповеданий, то многого достигнешь у себя в отчизне. Чем не пример тут наш отец Гедеон? А знаешь ли, сколько пришлось претерпеть ему гонений за учебу у католических богословов? Еще в Киевской академии бывший там тогда ректором Феофан Прокопович много досаждал и стыдил ученого мужа его докторской степенью. Но нашлись, нашлись истинные пастыри духовные и возвеличили Гедеона Вишневского — и вот он здесь, руководит и наставляет нас в вере.

Он говорил медленно, и слова обтекали, подчиняли его воле. За-вораживала уже сама неестественная раньше близость префекта, но слушал Василий, ожидая впереди главного, из-за чего и позвал его к себе отец Платон.

— Не зря начал я с отца Илиодора. Славный муж был мягок. Пойми меня правильно, я вовсе не хочу говорить о нем плохо, но он был слишком мягок, и вверенные ему чада, ибо до той поры вы еще дети, чада церковные, пока поучаемы ею, так вот, дети, как им свой-

ственно, расшалились, забыли о горнем. Пусть не все способны, как ты. Пусть многие могут мало. Задача наставника не только вложить в их умы знание, но и направить на исполнение своего долга. Тут хорош любой путь, и надобно торопиться, ведь скоро предстоит им покинуть эти стены. Что понесут они миру? Вот о чем плачет моя душа, вот почему я строг — на мне лежат ваши грехи, пока вы мои овцы, а я пастырь. Мне показалось, ты достоин понять меня, не так ли?

— Да, да, я понимаю.

— Ты лишь соглашаешься, а отвечаешь уклончиво. Ты вспомнишь наказанных и сопереживаешь их боли?

— Да, — еле слышно произнес Василий.

— Значит, еще не тверд. Когда пастух загоняет стадо в хлев, не достается ли крайним, от жадности или по неведению желающим порезвиться на сочном лугу? Ведь большинство понимает, что охраняют их от ночного зверя и, спасая жизнь, наказуют лишь нерадивых, тогда как все стадо, сбившись, наконец, в кучу, идет под спасительный кров. Коли уж случилось привести такой пример, то не грех вспомнить, что всегда бывает в стаде вожак — помощник пасущего, он ведет отару, присматривает за всеми, помогает овчару. Я хочу, чтобы стал ты моим вожаком. Говоря так, вовсе не имею в виду ничтожных, из боязни или желания угодить доносящих на собратьев. Нет. Никким образом не сравню тебя с ними. Обязанность помогающего — незримо оберегать со товарищей от опрометчивых шагов и, если увидишь, что им грозит беда, прийти в эти стены и сказать об этом. Мы вместе решим, как лучше спасти тонущего, поддержать нуждающегося в поддержке. Ты понял? Согласен ли, сможешь ли справиться с тяжелым, но благим делом, ведь цель у нас одна, и кто знает, может, когда-нибудь ты займешь мое место и так же будешь оберегать, наставлять и просвещать заблудшие юные души.

Вот что я хотел сказать, а теперь ступай к себе и подумай; я вижу, что ты изумлен и, кажется, чем-то напуган, в то время как тебя я пугать не хочу, да и не хотел никогда.

«Баран — вожак, — размышлял Василий, — но случается, идущий впереди — предатель, заводящий стадо в ворота бойни». Ах, почему же боится он до конца отдаться в руки Малиновского? Отчего кажутся ему такими опасными эти доверительные речи?

А обещанья? Обещанья! Он даже боялся думать о них — учиться за границей, о! это была недостижимая мечта!

Ведь не фискалом же ставит его префект, ничего ведь не требует взамен тайной дружбы, кроме понимания учительского пути. Что до разногласий с Ильинским. . . Он вспоминал яростные отповеди Малиновского еретикам-протестантам и никак не мог уразуметь, в чем же виновен Иван или Феофан Прокопович, поставленный во главе православной церкви Российской самим императором? Нет, видимо, пока он не в силах разглядеть этот главный секрет Академии.

10

Из надписей на траурных пирамидах, выставленных в печальной зале, где с 13 февраля по 8 марта 1725 года находился на обозрении гроб с набальзамированными останками императора Петра Первого:

Изнемог телом, но не духом.

Уснул от трудов, Сампсон российский.

Трудолюбием подал силы воинству.

Бедствием же своим безопасие отечеству.

Но, о применения жалостного!

Почившему же ему временно, вечно же торжествующу.

Стонем мы и сетуем.

* * *

Новаго в мире, перваго в России Иафета,
Власть, страх и славу на море простершаго,
И нам в сообщении вселенную приведшаго,
Плавающего уже не узрим.
Ныне нам воды — слезы наши,
Ветры — воздыхания наши.

11

СЛОВО

на погребение

Всепресветлейшаго державнейшаго ПЕТРА Великого, Императора и Самодержца всероссийскаго, отца отечества, проповеданное Феофаном Прокоповичем в царствующем Санктпетербурге, в церькви святых первоверховных Апостол Петра и Павла, марта 1 дня 1725 года.

«Что се есть? До чего мы дожили, о Россиане? Что видим? Что делаем? Петра Великаго погребаем! Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? О, как истинная печаль! О, как известное наше злоключение! Виножник безчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки от мертвых Россию, и воздвигший в толикую силу и славу, или паче, рождший и воспитавший прямой сын отечествия своего отец, которому по его достоинству добрии Российстии сынове безсмертну быти желали; по летам же и состава крепости, многолетно еще жити имущаго вси надеялися, — противно и желанию и чаянию скончал жизнь и — о лютой нам язвы! — тогда жизнь скончал, когда по трудах, безпокойствах, печалех, бедствиях, по многих и многообразных смертех жити нечто начинал... Сей воистину толь печальной траты разве бы летаргом некиим, некиим смертообразным сном забыти нам возможно. Кого бо мы, и каковаго, и коликаго лишилися?..

.. Не весьма же, Россиане, изнемогаем от печали и жалости, не весьма бо и оставил нас сей великий Монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и славы его, которое вышеименованными его делами означилося, при нас есть. Какову он Россию свою зделал, такова и будет: зделал добрым любимую, любима и будет; зделал врагом страшную, страшная и будет; зделал на весь мир славную, славная и быти не престанет. Оставил нам духовная, гражданская и воинская исправления. Убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам...»

12

Ждать Тредиаковскому пришлось долго: неожиданно грозный император встал между ним и префектом. Не сам, а тень его, и был в том перст судьбы.

Двадцать восьмого января одна тысяча семьсот двадцать пятого года скончался император Петр Первый. Великая и печальная новость с колокольным гулом облетела всю Россию, словно неслась на крылатых колесницах. И пошли гулять отголоски: запричитали кликуши на папертях, застонала толпа, трепетавшая от одного его имени при жизни и вмиг осиротевшая, с полубезумными, стеклянными глазами слушающая траурные молебны. И сразу покатались слухи — кто взойдет на престол: императрица ли, ее цесарево величество, или внук? Гадалки собирали обильную прибыль. Восстали огнепальные раскольники: под-

говаривали крестного целования бабе не принимать. Прикатил из Петербурга генерал Дмитриев-Момонов, а за ним вслед стылым февральским утром промчались по улицам три с половиной сотни конных драгун, а пеших — тысяча, та должна была отойти под Нарву; призадержались до поры до времени в первопрестольной: генерал опасался выступлений.

Академия стояла в московском предсердии, в двух шагах от Кремля, а значит, ее не миновал налетевший с балтийских берегов шквал печали. Отец Гедеон собрал их на монастырском дворе, говорил заупокойную речь, но слова не успокаивали, а пугали неизвестностью. Следом за объявлением потянулася вереница бессонных печальных дней: творили нескончаемые поминальные молитвы, задыхаясь от чада кадиланиц, и хотелось бежать на свежий воздух, бежать от бормотания дьяконов в животрепещущий город, на улицы, и жадно ловить слухи: как? что? кто?

Наконец свершилось: целовали крест самодержавной императрице Екатерине Алексеевне, и постепенно, постепенно прошла нервная горячка.

Малиновский после присяги ходил мрачнее тучи: на престол взошла коварная немка, и не сбылись давно лелеемые надежды, опять выходило немцам царствовать на Руси, и снова, а точнее по-прежнему, волкохитрый Феофан Прокопович, ненавидевший Москву и ее священнослужителей, заправлял в Синоде — продавший дьяволу лютеранин, богомерзкий поэт и неистовый проповедник, и его «Слово на погребение» волей-неволей пришлось зачесть перед юношами, и оно запало им в души — префект видел, как тяжело дышали школяры, как блстели их глаза, когда неслись над замерзшими шеренгами громкозвучные слова новгородского архиепископа. Как в песок вода, утекала надежда на восстановление былых, исконных, российских церковных устоев. «Слово» грозило карой ревнителям древнего благочестия, утверждало заведенные порядки, страстным своим призывом обольщало все новые и новые заблудшие души. О! Что ни говори, оратор Прокопович был могучий — тем опаснее звучали его страшные наговоры Петру и зазвучат теперь новой государыне, тем и страшен был поэт, влияющий своей в корне еретической, губительной проповедью на судьбы страны.

«Неисповедимы пути Господни, но за что, за что караешь так сурово? — вопрошал небеса префект. — Что хочешь сделать Ты с Русью, пронесшей сквозь века истинную веру и теперь все более и более поддающейся ереси лютеран?»

Велик был государь, создавший небывалую дотоле империю, но страшное совершил он зло, лишив церковь исконного главы-патриарха, углядев в нем не помощника, а соперника. Тут он поддался наговорам, с детства окружившим его немцам, и теперь, когда нет больше его грозной власти, держащей все в своем кулаке, страна обречена на гибель, на растерзание, ибо изменила заветам, лишена духовного своего руководителя.

Отец Платон готов был на любую жертву, даже на союз с иезуитами, лишь бы оградить души православных от немецкой ереси. И мнилась ему церковь воинствующая, грозная, необоримая, огнем и мечом карающая отступников; но то были мечты, мечты — наступала весна, и она не несла обновления. Казалось, с крыш церквей и соборов падали ледяные слезы бессилия. Префект стал неукротимо строг — лишь дисциплина и подчинение могли оградить стены Академии от всепроникающего, язвящего времени.

Отец Платон почуял правильно: в числе прочих, внимающих загробному величанию Феофана Прокоповича, был и Третьяковский, и, как всех, пронзила юношу его сила — вселила уверенность, приободрила, обнадежила.

«Что се есть? до чего мы дожили, о Россиане! Что видим? Что делаем? Петра Великого погреебаем!» — слова эти, как стрелы, попадали в цель.

Что-то важное свершилось в душе Василия, и так не хватало теперь рядом Ивана Ильинского — лишь он один смог бы окончательно поставить все на места. Академическая муштра стала еще больше тяготить, сковывать.

От окружающего мира спасали библиотека и Тит — за столом обреталась неведомая ранее свобода, и он писал, писал, писал, но драма не клеилась, потому что Василий спешил, мечтая справиться в одиночку, боялся снова попасть в кабалу к Малиновскому.

А тот долгий февраль не обращал на Третьяковского никакого внимания, казалось, позабыл о его существовании. Лишь в самом конце марта появился он в библиотеке и, подсев к Василию, принялся разбирать новую пьесу. И снова опытный глаз сразу же узрел главную ошибку. Ритор приказал возвысить мудрого правителя, отгнул листы излишних пояснений, показал, как добиться схожести римлянина с великим, почившим в Бозе императором. Правление умеренного Тита, собравшего погрязший в суевериях и раздорах Рим в один кулак, — это надо было выпатить, а не громогласные победы. Ведь и Петр лепил страну не ради войны, но ради мира, хотя войны и прославили его имя, возвеличили и укрепили Россию.

Васька урок усвоил. И снова трудился над драмой, но теперь великая и ужасная тень стояла за спиной — везде таились оплошности, действительные и мнимые, каждое слово надлежало проверять, дабы не приобрело двойной смысл.

Скончался март, побежал апрель. Холода отступили. По-прежнему отец Платон наказывал розгами, а Родьку, видно, решив сломить вконец, отдавал экзекуторам чаще других. Шило долго крепился, но, когда ушла прочь морозная зима, решился на побег. Он подбивал целую группу недовольных, замученных придирами и побоями Василиска: хотел напоследок досадить начальству, увести побольше товарищей за собой. В их число входил и Алешка Монокулюс. Во-первых, плохо учился; во-вторых, легко поддавался уговорам; в-третьих, был непоседлив и склонен к переменам.

— Двух лет я не вынесу, это точно, сдохну, — жаловался он Ваське, а тот, как ни была ему и самому противна Академия, старался отговорить: страшал, убеждал подумать о будущем. Ведь беглецы понятия не имели, что с ними станет, они хотели свободы, но, как был уверен Васька, обрекали себя на погибель.

— Перетерпи, перетерпи, — молил Третьяковский друга.

И момент настал. Видно, пронюхали о побеге фискалы, хотя не узнали точно ни сроков, ни количества заговорщиков. Они донесли префекту, и Малиновский, подловив Ваську, сказал, что скорбит о несчастных, собравшихся покинуть кров.

Почему Василий рассказал ему? Потому ли, что отец Платон наказал Родьку как зачинщика и все равно не сбежать ему было? Хотел ли он его защитить? Если б хотел, промолчал. Или пожалел Алешку? Он и сам не знал почему. Рассказал все как есть, предал, иными словами, как бы ни убеждал себя в правильности поступка, как бы ни просил не казнить заблудших жестоко, как бы ни надеялся вымолить им прощение, как бы ни обещал отец Платон быть снисходительным.

Все едино — предал.

И, что самое страшное, никто тогда не узнал о предательстве.

Последствия были ужасны. Беглецов схватили, посадили в темный чулан. Допрашивали поодиночке префект и сам ректор. Высекли всех, а затем унесли в спальную палату, и лишь одного, Родьку, зачинщика

и бунтаря, выгнали. Исключили. Прокляли. И всей Академией молились ввечеру, испрашивая прощение за его грехи.

— Ну, гад, знал бы, кто донес, убил бы, ей-Богу, убил, — скулил ночью Монокулюс, а Василий молча менял ему примочки и страдал, наверное, больше преданного им друга.

Он направился было в покои к префекту, собираясь требовать ответа. Он сгорал от стыда и ненависти. Но остановился на полпути: он был жалок и сам себе отвратителен.

И тогда Василий решился не замечать Василиска, отводил глаза в сторону при встрече, забросил библиотеку, стал играть в свайку и, как ни уговаривал его Васята Адодуров принять участие в разучивании им же написанной драмы, отстранился от всего, чем заправлял ненавистный префект.

Малиновский заметил его строптивное поведение, попытался было увещевать, но ТрEDIAKовский — неслыханная наглость! — все выслушал и не сказал ни слова.

Такое поведение должно быть наказано, и Васька ждал, но учитель, вопреки ожиданиям, не казнил, а драму о Тите начал разучивать со школярами, как бы подчеркивая даруемое прощение. И Василий испугался, что выдаст себя, и пришел, но роли были розданы, он получил самую маленькую, бессловесную. Тита играл Адодуров.

И получилось так, что он вроде снова продался.

13

Слух распространился мгновенно. Василий заметил, как его стали обходить, перестали здороваться. А когда вечером в спальне за ним захлопнули дверь, наложив запор изнутри, понял, что пришла настоящая расплата.

«Неужели сам префект?» — подумал он, отступая в угол, куда теснили напирающие суровые лица однокашников.

— Ребята, я не верю, — раздался голос Монокулюса, но никто Алешку не слушал.

Васька молчал, затем начал оправдываться: мелочно, гаденько — вина давила, и мучители-мстители еще больше убеждались в своей правоте.

Не было ответа на их вопрос: «Зачем?»

— Мы знаем, знаем, сам Василиск оговорился случайно, — кричали они, выталкивая вперед сжавшегося в комочек фискала Ромку Яковлева...

— Не реви, я все равно не верю, — шепнул ему ночью Алешка.

Васька только отвернулся к стенке и сжал зубами подушку. Вот так же было обидно в детстве, когда отец наказал за краденый виноград. Но только тогда он не чувствовал своей вины, а сегодня...

Утром отец Платон заметил синяк под глазом и приказал сечь его за драку до тех пор, пока не выдаст участников, — драки в Академии запрещались. «С кем дрался?» — вопрошал экзекутор, но Василий молчал, искупая свой грех.

Розги принесли облегчение. Розги убедили ребят в его невинности. Розги многому научили. Он стал спокоен, тих, неприметен и продолжал отлично учиться. Разговаривал теперь только с Васятой и Алешкой — эти были проверенные друзья. Остальных он избегал.

Он ждал лета. Он понял, что осенью в Академию не вернется, проклял себя, что не сбежал сразу, но потом успокоился, убедился, что не трусость, а гордость заставила его кончить год и поспешить к Коробову. Только Прохор Матвеевич один во всей Москве мог дать работу где-нибудь подальше, мог пристроить так, чтобы никогда не видеть этих ненавистных стен.

Он работал у Коробова, но к решающему разговору не приступал. Оттягивал, поджидал подходящий день, тем более что торопиться было некуда. Сибилев, по Васькиной просьбе, пристроил Адодурова и Монокулюса в переписчики к купцу из Замоскворечья, и, мало занятые, работавшие лишь полдня за харчи и ночлег, в послеобеденные часы они неизменно появлялись на головкинском подворье. Трех друзей объединило новое общее увлечение — Васька читал им вслух «Аргениду», героическую повесть, сочиненную знаменитым шотландским поэтом и мыслителем Иоганном Барклаем. Книгу эту он еще в прошлом году подметил в графской библиотеке, и нынешний интерес к ней был не случаен. Неоднократно на уроках Василиск ругал Барклаев «Сатирикон» как творение, поносящее не только отцов-иезуитов, но и церковь вообще. Запретность крамольного автора и ненависть к Малиновскому лишь острее разожгли любопытство Василия к творениям скончавшегося в прошлом столетии шотландского сочинителя. Но, вопреки ожиданию, «Аргенида» оказалась не ехидной сатирой, а могучей эпической поэмой, начертанной мерной и отточенной латинской прозой.

Глаз, привыкший к ритмическому струению виршей, к четкой симметрии тактов канта, впервые оценил достоинство неспешного рассказа, и с первых же аккордов тысячестраничного фолианта Третьяков-ский очутился в его сладком плену и, поспешив поделиться своим открытием с друзьями, решил ежедневно читать повесть вслух. Так родились их совместные вечерние бдения.

Книга казалась бесконечной, Полиарх и Аргенида и в середине увесистого тома все еще только рвались друг к другу, словно стояли по разные стороны разбушевавшейся реки и тянули с мольбой руки, а бурный поток событий, направляемый хладнокровным замыслом автора, всякий раз пресекал их мечтания, ледяными брызгами испытаний остужал их пылкие души, поворачивал колесо Фортуны, увлекая верного царевича на путь новых, еще более опасных и увлекательных скитаний. Одна история наслаивалась на другую, за ней следовали вторая и третья. Здесь было все: таинственные похищения, переодевания, путешествия, битвы, схватки, поединки, победы над тиранами и узурпаторами, служение идеалу — прекрасной царице; и посему, когда подошли к концу, все радостно и облегченно вздохнули, довольные и убаженные торжеством добра, свершившимся браком героев, но расставаться с ними было жалко. . .

Проход Матвеевич в непонятных ему «ляшских чтениях» участия не принимал, но в библиотеку заглядывал часто, словно проверял, не прискучило ли друзьям-единомышленникам их занятие, и, послушав с минуту-другую и поглядев пытливо на главенствующего тут Третьяковского, успокоенный, уходил — вечерние собрания не грозили нарушить заведенный в доме порядок, скорее, наоборот: превратились в подобие некоего ритуала. Не одобряя предмет, управляющий смирился, ибо благословлял привычное и торжественное чтение вслух. К чтению Третьяковскому даже стал относиться почтительнее Василий уловил перемену и совсем было решил открыться и просить у Коробова помощи, как вдруг приехал из Петербурга Иван Ильинский

Иван умел бывать всяким: и покладистым, и мягким, и деликатным, но тут налетел как ветер — жизнерадостный, свежий, петербургский, сразу задал настрой, взорвал, как праздничная петарда — притихшее ночное небо, расшевелил, воспламенил.

Уже год, как служил Ильинский переводчиком в Академии наук, и только прямое поручение президента Блюментроста заставило его оторваться от новой и, как он считал, полезной для России работы. Но

Иван был рад поездке: ему давно хотелось лицезреть стародавних московских друзей и родную первопрестольную.

Вечерами стало не до чтения — еще по привычке пообсуждали с вновь приехавшим «Аргениду», но так как на ее счет мнения у всех были одинаковы, то больше шутили и пели, сдвигая кубки, протяжную «Всегда есть в свете Фортуна переменна». Другьям стало весело и хорошо: они беспрерывно смеялись, на разные лады величая воцарившегося за столом Ильинского. Обычно под конец вечера Василий принимался потешать их коротенькими сценками — вставал посредине комнаты и исполнял школярскую песенку «За что, Купида, стрелами стреляешь?». Он пел с такой искренней веселостью, с таким задорным лукавством и ловкостью подчеркивая комизм мелодии, что заставлял хохотать всю компанию, и припев не пели, а выкрикивали с надсадным стоном и слезами.

Коробов с нескрываемым удовольствием посещал их «богохульственные куртаги» и тянул во все горло старую московскую:

Пейте, братцы, попейте,
А на землю не лейте!
Друг друга возлюбите,
Лукаво же не творите!

С приездом Ивана слетели с него остатки чинности.

И шатались свечные тени по стенам, и Ильинский рассказывал петербургские сплетни без опаски — все здесь были свои, все любили друг друга, лукавства же не творили.

Благосклонно приветствовал Иван поэтические успехи Тредиаковского и, прочитав обе драмы, остался ими доволен. А когда Василий заикнулся насчет странности отношений с Малиновским, сказал убежденно:

— Отец Платон политик, ты его сторонись. Он и ему подобные цепляются за способных учеников, пытаются перетянуть их на свою сторону. После смерти великого монарха они вновь воспряли духом и плетут нити нового заговора. В Москве по старинке они еще имеют вес, но российские судьбы решаются теперь на берегах Невы.

И Иван рисовал перед ними светлое царство знаний, которое начнет насаждать в России Академия наук под эгидой просвещенных профессоров, лучших знатоков своего дела, выписанных из европейских университетов.

Нет, не архимандриту Вишневному и Платону Малиновскому, помешавшимся на восстановлении патриаршества, Аристотеле и Симеоне Полоцком, суждено вести страну вперед. Спросите у них; что такое страус, и ничтоже сумняшеся они процитируют вам то место у Плиния, где римский историк высказывает чудовищное на сегодняшний взгляд утверждение, что редкая птица — плод любви жирафа и африканского комара. Знания они черпают из освященных древними устоями книг, но никогда не понять им, что время не замерло на месте.

Рассказывая, какие интриги плетут московские церковники против Прокоповича, стремясь погубить осененные его разумом добрые начинания, Иван весь дрожал от гнева.

Раз приехал Иван, то вмиг все и решилось. Не зря, оказалось, приглядывался Коробов к Васье — граф Головкин наказал в письме подыскать ему в Гаагу на секретарскую должность молодого, способного к языкам человека. Сватом выступил Ильинский, и Прохор Матвеевич тут же согласился. Иван бросился убеждать Тредиаковского, не замечая, что Василий готов был ехать хоть к черту в пекло, лишь бы удрать из Москвы. Но не таков был Ильинский — его сложно было остановить, он говорил и говорил: о Голландии — стране, почитаемой покойным Петром Великим; о Париже — столице знаний, манер, по-

этом — и откровенно завидовал своему подопечному (самому не довелось побывать дальше Франкфурта, где он недолго учился в университете).

— Жизнь у тебя наступит райская! Выучишь языки, поглядишь Европу, а там вернешься в Академию переводчиком. Только книги откроют глаза России, прекрасные, новые книги! — говорил он воодушевленно.

И снова жизнь, как вот-вот готовая лопнуть почка, была молода, свежа, и чувствовал Василий себя счастливым, и в его мечтах вставала таинственная Голландия — Голландия знакомая и неведомая. Что было ему теперь до заманчивых посулов Малиновского!

Но секретарь был нужен только с весны следующего, двадцать шестого года, а посему решили графу отписать, а Васье пока учиться дальше, затаиться и не подавать виду.

15

Отец Платон знал, что живет правильно. Не оттого ли, веря в свои силы, часто терзался сомнениями? Ведь сила постоянно нуждается в самоутверждении.

Нет, никогда немощность не вызывала уважения и преклонения, убеждал он себя. Сильный духом и крепкий разумом правит — остальные повинуются ему, как господину.

Малиновский часто вспоминал историю неудавшегося побега. Как педагог он поступил верно, но все же где-то закралась ошибка. В будущем году класс обретет нового учителя в лице самого ректора, судьбы учеников его волновали мало — он сделал все, что мог, и был доволен содеянным. Но один из них больно ранил самолюбие префекта, отвернулся, не оценил доверия, и его, самого способного, жалко было терять — слишком большие надежды возлагал на него Платон Малиновский. Не перегнул ли он палку, наказав юношу перед классом? Да, казнил он намеренно, рассчитывая сломить упрямство, подчинить окончательно, запугать, но ученик выказал упорство, почти бесстрашие. Теперь как никогда важно было Малиновскому покорить строптивого. Неужели упустил, потерял навсегда? Нет, не хотелось мириться с подобными мыслями. Со временем все встанет на свои места, он еще завоеует почтение одаренного юноши, бросившего вызов ему, педагогу.

Малиновский искал повода к примирению, и случай не заставил себя ждать. В июле из Петербурга в Академию поступило прошение от Дарьи Головкиной. Жена дипломата просила выделить достойного священника, способного отправлять необходимые требы в устраиваемой ее мужем церкви при русском посольстве в Гааге. Необходимо было выслать еще миро и антиминс, достать которые за границей, конечно же, не представлялось возможным.

Подобный шанс нельзя было упускать, дело заключалось совсем не в одном Тредиаковском, которого замыслил отослать в Голландию для дальнейшего учения, пристроив поначалу при новой миссии. Дело было куда как важнее.

Восемь лет назад Петр Великий посетил Сорбонну и имел там продолжительную беседу с тамошними иезуитами: католические богословы ратовали за объединение церковей под эгидой римского папы. Идея эта показалась тогда заманчивой некоторым придворным, но в России тех лет не могла найти поддержку. Конечно, древняя православная церковь ни за что не подчинится римскому первосвященнику, но мог бы быть достигнут альянс против разъедающей мир Реформации. И вечно мятущаяся Польша, случись такой альянс, конечно, приняла бы сторону России. Это пользы внешние. Внутренние же выгоды также очевидны — иезуитская дисциплина сплотит саму Россию, шатающую-

ся, впадшую в ереси; а что до культуры западной, так пусть же лучшие ее образцы приходят к нам не через протестантские ворота. Так, заручившись поддержкой, можно добиться небывалой силы... Но переговоры почти заглохли, осталась лишь тайная переписка с Сорбонной, вести из которой изредка просачивались через русские миссии. Тогда сорвалось, но сейчас... Случай может и не повториться. Отец Платон знал, что многие из высшего московского духовенства благосклонно поговаривали об идее вынужденного союза и среди них не последним был сам Гедеон Вишнеvский. Миссия в Гааге могла бы стать отправным пунктом. Кандидат в Гаагу должен быть недалекого ума, такой, чтоб и заподозрить ничего не сумел.

Выбор пал на отца Иеронима Колпецкого; иеромонах, отличаясь смиренным нравом, преподавал в Академии церковное пение и, что особенно на руку, был дружен с Третьяковским. Василий нашел в спасском регенте большого почитателя поэзии.

— Я не зря настаиваю на отце Иерониме, — объяснял ректору отец Платон. — Он успешно справится с задачей, тут нет сомнения, но я гляжу дальше. Давно, как мне известно, подыскиваете вы способного ученика для отправки за границу. У меня есть нужный вам юноша. Иеромонах смог бы доставить его в Голландию, позаботиться на первых порах, а там мы бы прискакали ему достойное заведение, например, Сорбонну, богословы которой питают особую приязнь к России. Отношения с Сорбонной можно развить, завязать с ними переписку, которую вести через исполнительного человека, служащего в Голландии.

— Кому ты покровительствуешь?

— Василию Третьяковскому — он самый способный из будущего вашего богословского класса. Кроме того, он близок к Колпецким — вдвоем легче переносить чужбину, да и переписка между приятелями никого не удивит.

— По своему обыкновению, ты уже продумал все наперед, — отец Гедеон бросил тяжелый взгляд на префекта. — Хорошо, если из нашего заведения выйдет еще один доктор богословия, но на сегодня и этого достаточно. Как всегда, ты спешишь, Платон, но не торопи события — всему свое время. С твоим подопечным я все решу сам — у меня будет возможность оценить дарования юноши повнимательней.

Ректор намеренно отвечал уклончиво, но Малиновский знал, что, если Вишнеvский не отказал сразу, значит, принял к сведению услышанное и почти наверняка разрешит.

16

Странно знать, что в конце года он убежит, сладко иметь тайну, подогреваемую спасительной надеждой, но как томительно ожидание! Только Васята Адодуров и верный Алешка были посвящены в его планы. Но с Монокюлюсом теперь их роли поменялись — Алешка решил, что, коль уж он дополз до богословия, бросать начатое грех, — даже стал прилежней учиться, уповая, что ректор отметит его старания, поможет пристроиться по окончании. Адодуров никогда не учился плохо. Строгий, хотя по-детски восторженный, его ум всегда стремился к четко обрисованной цели, и теперь, подстегнутый беседами с Ильинским, Васята возмечтал о Петербургской Академии. Постигая премудрость риторики, он не вылезал из библиотеки и, кажется, тайно пробовал что-то сочинять, стал скрытен, но на их дружбу перемена в Адодурове не повлияла.

Нелепыми казались теперь Василию прежние академические тайны, другими глазами смотрел он на окружающий его мертвящий по-

кой, на ханжество учителей. Месяцы утекали с осенними дождями, день следовал за ночью, ночь за днем, час за часом. Время, казалось, замерло. Ничего, кроме скуки и однообразия, не приносили богословские классы — квинтэссенция разума, последняя ступень академических знаний. Отцы церкви, Блаженный Августин, многомудрый Аристотель — из глубины веков их речения доходили пустословным гласом архимандрита, страдающего одышкой и показной важностью. Он уже не казался вершителем судеб, как в день приема, и страшные в прошлом черные глаза на уроках тускнели, затягивались старческой пленкой и тупо сверлили тяжелую книгу из-под нависших морщинистых век. Гедeon Вишневский преобразился в грузного старика, и все вокруг выглядело тухлявым, назойливо скрипучим, обшарпанным, как те тридцать восемь ступенек церковной лестницы, ежедневно подтачиваемых Васькиными башмаками, — тридцать восемь вверх и столько же ровно — вниз.

Спасение пришло от «Аргениды» — он давно, еще у Коробова, в самом начале чтения, замыслил перевести ее, дабы книга стала доступна всем желающим пережить им пережитое, и теперь, когда к ученью стал нем и слеп, вновь погрузился в, казалось, знакомый мир слов и звуков, в приключения, в бесконечные путешествия Полиарха, и открывались глазу новые, не замеченные сразу красоты, и жить стало легче.

Эпическая поэма — а он только так воспринимал творение Барклая — привычной звучала для русского уха, изложенная мерными, нетеропливыми виршами. Это одобрил и отец Иероним, с нетерпением ожидавший свершения дерзкого замысла. Переводил Василий запоем, за эпизодом эпизод, испещрял все новые листы толстой бумаги своим округлым, четким почерком. Он трудился так неустанно, что подняться и разогнуть спину было больно, а пальцы окостеневали; но только такая работа, что сродни иноческому подвигу, освобождала его от окружающей пустоты. Иеромонах перечитывал листы и иногда поправлял Василия, и они спорили, и было приятно отстоять свою правоту, доказать ее, убедиться еще раз в верности глаза и точности слуха. Колпечкий, в отличие от самоуверенного префекта, ощущая превосходство Третьяковского, никогда не настаивал, не давил авторитетом и потому стал несказанно дорог и полезен Василию. Уважение отца Иеронима наполняло сердце гордостью, заставляло спешить, спешить, спешить, и дело заметно продвигалось. Первыми слушателями, конечно же, были Адодуров и Монокулюс.

Василий обрел в труде счастье; грех перед Алешкой как-то забылся и не давил на душу.

Гедeon Вишневский на уроках ничем не выделял его, и, если б не присутствие в Академии Малиновского, Василий, наверное, вообще бы забыл свои прошлогодние переживания. Отец Платон остановился перед порогом последнего «курса биенниума», двухгодичного цикла богословия, принял новых риторов (в их числе Адодуров, ставшего теперь первым учеником), и Василий больше от него не зависел. Но Третьяковский ощущал, ощущал постоянно, что префект не забыл и по-прежнему неотступно следит за ним издали, чувствовал и знал: Малиновский неоднократно интересовался у Васяты, чем занят «наш поэт».

А Василий действительно начал ощущать себя поэтом: с изумлением ловил себя на том, что мыслит пышными, не простыми словами, не обиходными, речевыми, а почерпнутыми из «Аргениды», из псалмопений, отовсюду, где подглядел их ставший невероятно цепким и жадным глаз. Он копил их целый день, и перед сном слова укладывались в голове, ворочались в ней тяжелым, постепенно лишь размываемым звуковым кошмаром.

После «Тита» он не переставал размышлять о Петре. Иван рассказами о грозном и жестоком, а порой слезливо-ласковом великом само-

держце, которого Ильинскому доводилось видеть многожды, при разных жизненных обстоятельствах, разжег Васькино воображение. Третьяковский наконец осознал, что умер его кумир, его Бог. Воистину был он отцом Отечеству. И одна его фраза определила судьбу астраханского мальчишки, перед которым теперь замаячила на горизонте Голландия. . . В этом была Его воля. Василию вспоминалась драма, которую представляли студенты хирургического госпиталя, руководимые почтенным герром Бидлоо, приехавшим из Лейдена в Московию и здесь обрусевшим, слывшим знаменитым целителем, ученым и любителем сценического искусства.

Печально расползся занавес, обнажив символический гроб с мохнатыми черными кистями. Из глубины выступила Россия и обратилась к предстоящим, за ней и Паллада, и Марс, и Нептун, потрясавший крашеным деревянным трезубцем, в один голос зарыдали о постигшем их безутешном горе. Теперь и он задумал написать элегию.

Внутри себя услышал он плач по Петру и так и решил назвать зарождавшиеся вирши: услышал стенающие фразы и позже, перенося в тиши библиотеки их на бумаги, вспомнил советы спасского регента. Отец Иероним учил сообразовывать силу голоса с характером содержания, заставляя торжественные псалмы петь напористо и сильно, а умилительно-плачевные исполнять темпом медленным, голосом покаянным, тихоструйной мелодией подчеркивая скорбь, как пелись все песнопения Страстной седмицы. Но плач о Петре, который замыслил Василий, звучал громкоголосым речитативом канта, как в радостную Пасху, быстро и возвышенно, и он, помня покорившую мощь разящего Феофанова «Слова», невольно подражал речи оратора, постепенно наращивая смятение, усиливал порывы чувств: ободрял, возвеличивал, взывал к новой России, не утратившей духа своего покойного императора.

Что за печать повсюду слышится ужасно?
 Ах! знать Россия плачет в многолюдстве гласно!
 Где ж повседневных торжеств, радостей громады?
 Слышь, не токмо едина; плачут уж и чады!
 Се она то мечется, потом недвижима,
 Вопиет, слезит, стенет, в печали всем зрима.
 «Что то за причина?» (лишь рекла то Вселенна)
 Летит, ах горесть! Слава весьма огорченна.
 Вопиет тако всюду, но вопиет право,
 Ах! позабыла ль она сказывать не здраво?
 О когда хоть бы и в сем была та неверна!
 Но вопиет, вопиет в печали безмерна:
 «Петр, ах! Алексиевич, вящий человека,
 Петр, глаголю, российский отбыл с сего века» . . .

Плач вышел длинным. Он вспоминал действие драмы, и в стихах, как и на сцене, возникали и обращались с речами Паллада и Нептун, Минерва и Плачущая Вселенная, Марс и Наука Политика. Они обмирали от ужаса, рыдали, голосили, падали, возводя взоры к небесам, заламывали руки, терзали на себе одежды, возглашая горько о невосполнимой утрате.

Рваному, нервному галопу виршей задавали темп вопросы и восклицания, поставленные, дабы полнее описать Его деянья: Он победил врагов неисчислимых, возвеличил Россию на диво потомкам и окружающим странам, завел науки, построил флот и многое, многое другое . . .

Для пушего звучания, кроме наук и античных богов, в этот вопиющий о смерти хор Василий вписал и моря, покоренные государем-корабелем, моря, сетующие по случаю вселенской скорби. Возгласы эти, как толпа актеров на сцене, как многоголосие хора, одну имели цель:

вознести главу достойнейшего из достойнейших российских мужей, отдать ему последнюю честь, поклониться перед гробом его в вечной благодарной памяти и беспрекословном следовании пути, им проторенному.

Случилось так, что перевод «Аргениды» и «Плач» он окончил почти одновременно и понес на суд ректора. Старик, прочитав вирши, просиял и, встав из-за стола, торжественно обнял смущенного стихотворца; перевод же «Аргениды» отложил в сторону, и больше Василий его не видел — последующий разговор навсегда отбил желание напоминать отцу Гедeonу о рукописи. Вишневский, правда, пообещал вскоре вернуть, но не вернул — забыл ли нарочно или затерял? Затерял, впрочем, навряд ли. . .

— Прав был отец Платон, нахваливая мне тебя, — начал ректор. (Вмиг утратил Василий радостное настроение — упоминание Малиновского ничего хорошего не предвещало.) — Ты отлично учишься, я горжусь твоими успехами. Вирши удались, ими не стыдно будет похвастаться перед моими московскими друзьями. Ты стяжаешь славу, и это случится скоро. Но что потом, что думаешь делать по окончании учебы?

Ректор был настроен исключительно доброжелательно, но Василий слушал настороженно.

— Я не знаю, — он постарался скрыть волнение.

— Отец Платон говорил, что ты мечтаешь продолжить образование за границей. Как бы ты отнесся к поездке в Голландию с отцом Иеронимом?

В первые мгновения Трeдиakovский онемел, но тут же понял, что архимандрит не знает о его побеге, иначе не упомянул бы Колпецкого. Следовало срочно отвести подозрения, если таковые имелись, и он принялся врать, глядя прямо в испытующие глаза ректора. Теперь они снова казались жгучими черным угольями и пугали его.

Он говорил, что мечтает только об одном: кончив учение, вернуться в родную Астрахань и зажить там спокойной семейной жизнью. Он понял, что жизнь в столице, не говоря уж о заграниче, не для него.

Беседовали долго. Отец Гедeon сперва изумился столь неожиданным отказу, затем принялся увещевать, а после стал глядеть подозрительно и выведывал, пытаясь докопаться до правды, но так ничего и не добился — отпустил с явным неодобрением, даже не благословил по обыкновению.

Ничего теперь не нужно было Трeдиakovскому: ни любви ректора, ни славы, ни почестей, ни забот не забывавшего о нем префекта — ничего, только бы поскорей, поскорей вырваться, бежать, обрести наконец желанную свободу.

17

Но Малиновский не отступил от него, отважился еще раз вызвать бывшего ученика на откровенность. Подловил на монастырском дворе вечером, когда Василий выходил из библиотеки, подозвал. . . Старался быть в разговоре подкупающе ласковым, рисовал великолепное будущее по окончании заграничного учения, но против воли сбивался на строгость — Васькино упрямое противодействие выводило его из себя.

Малиновский к концу разговора как-то сник и погрустнел — Васька почувствовал, что это искренне.

— Ты оказался боязлив, не вынес ничтожных испытаний, отступил в самом начале. Если действительно ты решил погрести себя в далекой Астрахани, это еще полбеды, но отчего-то кажется мне, что ты лжешь. Ты честолюбив, ты и сейчас мечтаешь о славе, иначе не принес бы перевод на показ ректору. Мнится мне худшее, и если ты и вправду

замыслил что-то нехорошее, покайся, пока не поздно, покайся, и увидишь, и поймешь, что тебе желают добра.

Но Василий остался глух к его словам.

— Что ж, вижу, ты упорствуешь. Не стану удерживать тебя, но помни: отныне наши пути различны, мне остается лишь скорбеть о еще одной загубленной душе.

Тредиаковскому на миг стало даже как-то жалко префекта, но он вздохнул с облегчением, провожая взглядом унылую, одинокую фигуру, непохожую больше на жестокую, карающую единицу.

18

Уроки текли своей чередой, Малиновский больше не приставал ни с любовью, ни с угрозами, архимандрит Вишневский и вовсе отвернулся от него, и настораживающая тишина пугала, хотя и была на руку Василию.

Отец Иероним уехал в Голландию, не преминув горячо распроститься с ухмыльнувшимся про себя Тредиаковским: ведь он знал, знал наверняка, что им предстоит вскоре свидеться снова, но тогда, там он уже не будет заточенным в тюремные стены подневольным школяром. Василий подарил Колпецкому черновик своей «Аргениды» — регент был тронут до слез драгоценным подарком, не подозревая, что Васька таким образом просто спасает дорогой ему последний экземпляр поэмы.

Все желанья подавило в душе одно — главное: скорее, скорее бы. Коробов принялся готовить обозы, назначены уже были люди, с которыми Тредиаковский доедет до Ревеля, где пересядет на корабль, на его «Арго», и он понесется в волшебную, чудесную Голландию.

Он придумал веселую песенку и насвистывал ее, таинственно перемигиваясь с Васятой и Алешкой:

Ах! широки
И глубоки
Воды морской, разбьют боки.
Вось заставят,
Не оставят
Добры ветры и приставят.

И наступил день, наступил! Ранним утром он ушел на головинское подворье навсегда, навсегда распростился со спасскими стенами, с классами, с топчаном, с тридцатью восьмью ступенями лестницы, со всем, со всеми: с дорогим Васятой Адодуровым и с любимым, верным Алешкой Монокулюсом.

Он почувствовал вдруг, что завершился круг жизни, важный сначала и опостылевший под конец.

Наконец-то сбросил он серую, надоевшую спасскую одежду! Облачился в подаренный Коробовым камзол, кафтан, в башмаки с серебряными пряжками и железными, цокающими при ходьбе подковками; натянул малиновые, в цвет верхнего белья и штанов, чулки, повязал белый, бесконечный, длинный, пышный шейный галстук, надел парик — пудренный парик! — и не узнал себя в зеркале. Он схватил в руки треугольную шляпу, больше нужную по форме, чем для дела, ибо в парике было непривычно, и двинулся, проклиная медлительность подвод, по разбитому старинному тракту из Москвы — к Ревелю, к Ревелю, к своему кораблю, к страшному темному морю.

Бескрайняя и убогая, стлалась вдоль дороги Россия, и он провожал ее глазами, запоминал и радовался, что уезжает — уезжает, чтоб обязательно вернуться и тогда служить, служить, служить, претворяя в жизнь

предначертанное великим императором. Он наслаждался юной весной, солнцем и воздухом, упоительным, чистым, и свободой, свободой и звенящим в ушах, враз сбывшимся счастьем. Ему было двадцать два года, только двадцать два, пока еще двадцать два, и он пел свою песню, не смущаясь попутчиков:

Канат рвется,
Якорь бьется,
Знать, кораблик понесется.

И хохотал возница, когда он рассказывал, как его обобрали Москва в первый день, вспоминал петушиный бой и отважного малыша, принесшего ему в конце концов победу.

Победу, свободу, удачу! Он был весел и юн и не раздумывал, как, быть может, трудно придется ему в чужеземных странах, на чужих хлебах.

(Продолжение следует)



Сергей Петров

КАНОН

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

*На земле мир и в человецех:
благоволение.*

Пространство — словно дальняя вода,
а время — ветка из бессмертной пряжи.
Ползут невидимые невода
и рвутся о зазубренные кряжи.
И в петли забежавшая беда
бессильно бьется — будто рыба об лед.
Застыла ночь, и тень ее тверда,
и мир покоем, как глазурью, облит.
А я воюю. Нынче Рождество
справляют, как поминки, христиане,
и здравствует Христово естество.
А я воюю, только и всего.
Воюю на своем меридиане,
Воюю с естеством, с погодой и судьбой,
и человека я мешу, что глину.
Какой мне мир! Ой, караул! Разбой!
Собрался я всей крохотной гурьбой
да и заехал в морду исполину.
Милиция! Спасите! Караул!!!
Раздуй кадило! Голоси моленья!!
Скулу я набок сам себе свернул,
и вот устал я, как под задом стул,
и ни черта во мне благоволенья.
Сквозь косяки каких-то рыбьих скул
с тоской победной я взглянул
на собственное поколение.
А я воюю. Вою свой псалом.
Я хан в орде и хам. Нишкните, христиане!
И за вселенной, словно за селом,
валю навзрыд, рыдаю напролом
на собственном своем меридиане.
Я буду бить в набат, я буду дубом бить,
шпынять штыком, пырять кинжалом,
сердцами буду я беду бомбить,
сердцами стопудовыми любить
и смехом жаловать — как жалом.
Милиция! Конгрессы! Красный Крест!
О солнце правды! Как оно чернеет!
А я воюю. Я одет в асбест,
и совесть вот настолько не сквернеет.
Вкушая, мало меду аз вкусих,
в сетях мои враги — как в нетях.
И я воюю нынче против сих,
и я люблю немилосердно этих.
Какой уж там покой! Он даже и не снится.
И силы нету мирно вековать.

Одна война во мне слепой толпой теснится,
и тела не упаковать.
Топчу себя чугунным сапогом,
мешу, как слякотную глину.
Ко всем богам, столпившимся кругом,
несу бегом, кричу бегом
по роже им мою военную былину.
Скольких себя убил осколками, отравой?
А «скорой помощи» ни разу не пришло.
И красного креста на мне, о Боже правый,
Ты не поставил, как назло.
И я воюю. Да еще горжусь.
А если говорю с собою врозь,
то из смердящей жути я рожусь,
в предсмертный взрыв преобразусь
и снова стану всем я на авось.

1971 г.

ЧЕТВЕРТАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФУГА

Благоволение? Желание добра?
Когда любой из глаз — зловонная дыра?
Бездонная! Ну нет, на дне одной из впадин
я вижу, Вечный Жид до жизни смертно жаден.
Таскает Дед Мороз подарочный мешок,
а елочка в руке как пышный посошок.
Глаза наведены, как пушки для салюта,
снег кучами валит дешевле серебра,
и звезды сыплются — стеклянная валюта,
и фейерверк из глаз взлетает люто.
Благоволение? Желание добра?
Мир по пояс стоит в миру и в мире,
как ель в сугробе. Душно в декабре,
не думается что-то о добре.
И пестрый клич размазан на трактире:
Ура! Свобода, равенство и братство...
Святая Троица! Ну а внутри
кричат не раз, не два, не три
под самым носом у больной зари:
уродство, шкода, казнокрадство,
ядоточение, ехидство и злорадство —
и громче всех: «А, черт тебя дер!»
Горит вино, со зла синеет нос,
и всех багровый Дед Мороз
дерет как сидорову козу.
И тут уж, Господи, указу нет морозу.
И рубит стужа крепче топора.
Благоволение? Желание добра?
Молчит в лесу насытый хор зверей,
и свечки обгорают по привычке.
Синеет мальчик у больших дверей,
а девочка все зажигает спички.
Засоня, Господи, еси, а не хозяин,
не видишь на своем дворе окраин
и мажешь миром по губам,

закатывая в море доннер-веттер.
 А сам поешь: «О, Tannenbaum,
 Wie grün sind deine Blätter!»
 Скажи-ка, что это? Нужда? Юдоль? Игра?
 Venevolentio? Желание добра?
 Я сторож твой и дворник, Дед Мороз,
 и вырос из сугроба — как вопрос.
 Передо мной лежит природа, что колода.
 И где тут, прости Господи, свобода,
 когда и жид, и русский, и немчин
 ступить не могут шагу без причин?
 А равенство? Не явно ли давно,
 что может быть одно говно
 и то лишь самому себе равно?
 А братство? Или ты забыл, хозяин,
 как братца укокошил Каин?
 Как громынула среди райска дня
 завистливая братня головня?
 Нет, братство — каинство и окаянство,
 а я тебе нимало не Боян,
 не вещь и мороком великим обуян,
 я вижу зиму как большое пьянство,
 и сам ты, Боже, расписной буян.
 А я? Я Дед Мороз. Но к стуже я привыкну.
 А ты покуда жив, — ступай отсель.
 Не то тебя, лихую сатану,
 я по сусалам садану,
 не то тебя я так, пропойцу, чекалдыкну,
 что сляжешь в гроб, как в чертову постель.

Стоит одна, как перст, рождественская ель.

Ночь с 24 на 25 декабря 1973 г.

ОЖИДАНИЕ

Фуга

«...А вы, вы не пришли!»

(Старинный романс)

Ты не пришла. Как не приходит срок
 пропущенный. Я ждал Тебя недолго.
 Свалился камень, и нутро заволгло.
 Тебя сбить с рук мне было вроде долга
 (как Ты сбыла меня, оставя между строк).
 Но строки — как в родимом доме рать
 собравшаяся (по чьему приказу?),
 и каждый знак не хочет умирать,
 прияв Тебя, бессмертную заразу.

Ты не пришла. Как не приходит труп.
 А гроб лежит, Твоим былым повален.
 Прости, что снова грустен я и груб,

что в пустоту живую точкой вкраплен!
 Я княжескому игу угождать
 могу, как будто сам себе дружина,
 и все еще могу упруго ждать,
 как будто я самой судьбы пружина.

Не прибежала и не приплелась,
 как телка на убой или на рынок тетка.
 Зачем же ты оправлена в мой глаз,
 как малая бессмертная пустотка?
 Я от тебя не ласк, не лавра жду,
 ты мне сама — последней жизни жила.
 Зачем же ты, как полную вражду,
 бездушную между меж нами проложила?

Ты не пришла. А восемь лет — увы! —
 прошли. Как куклы отмаршировали —
 и две отрубленные головы
 валяются в слепом провале.

Ты не пришла. Ты ждешь чего-то.
 (Не может быть, что ничего не ждешь!)
 Тебе я — правда, тошная, как рвота.
 А ты себе — снотворнейшая ложь.

25—26 марта 1974 г.

Я ИЛЬ НЕ Я?

Фуга

1

Я иль не Я? Вот мой вопрос, и Гамлет
 идет, как лысый ворон, в уголок,
 а разумом по-человечьи храмлет,
 себя с ноги спуская, как чулок;
 из жизни, теребя, кровавый клок
 жует и, не прожевывая, мямлит
 гнусавые, как смерть, слова, слова, слова!
 — Ах, государыня, дурная голова!
 Ты, словно гузно, на внебрачном ложе
 вкушаешь страсти по евангелистам
 все судорожнее и все моложе.
 А я валяюсь томом многолистным,
 привязанным, как пес, к родимому заглавью.
 Я иль не Я? И вот вожу пером,
 как сломанной ногой, умом и наг и хром,
 и оборачиваюсь я по-волчьи — явью
 (к себе), как задом. Или же нутром?
 Хромая разумом, как человек Паскалев,
 шагаю в бой, как однолицый полк,
 и зубы шаткие над падалью поскалив,
 сижусь да вою, будто куцый волк,
 а мой вопрос хрипит, как горло в стужу,
 а мой вопрос торчит, что кость из глотки,

и сам изглодан я. И из себя наружу
не вылезть мне, как из колодки,
куда заключена моя
хромая, сгорбленная, как Яга,
с коленом лысым голая нога,
такая умная, такая костяная,
что усмехаюсь я, исподтишка стенаю,
и отвечаю: это, знамо, я.

2

Ох ты! Всечеловеческое знамо!
Ты знамя беспросветного ума...

Как пауза, орет разинутая яма.
И Гамлет движется, как сам себе тюрьма,
как распадающаяся темница,
и тела черствые и нищие куски,
и косточки обглоданной тоски
в суме — в сумятице! — друг другу так близки,
что все живое, как в пролете, мнится,
в готическом просвете на дворе,—
а смерть уже светлеет на дворе,
по краешку зари крадется, словно память.
А двор — как мир ночной в зияющей дыре,
и призраками в черном серебре
его успела жизнь моя захлáмить.

И Гамлет руку жмет безжалостно и жалко.
По воздуху пускается в бега
увенчанная черепом нога.
А нежность, как прозрачная русалка,
из омота цветочного плывет.
Луна растаяла. Офелия живет.
И на годах мне ворожит гадалка.
И травы сохлыми глазами ворошит,
и волчьи зубы беспощадно щерит.
И пережит я, словно перешит,
и налит ум змеиным ядом в череп.
В короне балаганится король.
А мой вопрос торчит гвоздем наружу.
И через силу я играю роль,
но слов заученных ничем я не нарушу.

3

И Гамлет движется, как Тени тень
(за пазухой какой-то тенькнул птенчик),
и прыгает шутком измученный Монтень,
а философия повисла, как бубенчик
на конусе бумажном колпака,
и старческого трепака
отплясывает батюшка Полоний.
Я иль не Я? И все всегда пока.
И тает полночь. И любовь — в полоне.
Хохочет замок, взявшись за бока,
прошелся месяц по железной каске...
А тьма прядет неласковые сказки,

и скачет на ноге Яга без посошка.
 А время — колесом, столетия — вприпрыжку,
 и вечность — точно череп на колу.
 Я чувствую вопрос, как адову отпрыжку.
 А горло — пекло. К черту в кабалу
 пошли пешком, как Божье стадо, чувства,
 не стало им ни жизни, ни жилья.
 А бытие стоит, как Богово искусство,
 с вопросом поперек: не Я иль Я?

3 марта 1974 г.

Я СЕТУЮ

Трехголосная fuga

Я сетую, что ни над чем не плачу
 и что с души себя же ворочу,
 что раскурочу или раскулачу
 нутробу, как положено врачу,
 но не завою и не зарычу
 (до рыка ли мне, старому хрычу!).

Не для того ли вспорота нутроба,
 чтобы останки выломать из гроба
 и снова (в гроб иной) их уложить,
 дабы хоть как-то можно было жить?

И, как на тыне, виснут на притине
 и преспокойно сохнут черева.

По мне, как в белом грунте на картине,
 натыканы вразбивку дерева.
 Как черные плоды, висят на них потери.
 В сон, как в мешок, насованы тетери.
 Обуглены тетерева.

Что делать с этим липким зимним грунтом,
 не знает сумрак, медленный, как ум.
 И не желают стать осинки фрунтом.
 И вот какой из зим — с походным фрунтом —
 бараний сыплется изюм!

Но я еще, ей-ей, как звери, молод
 (изюм еще, глядишь, пойдет на орот),
 пусть измолочен я и перемолот
 и даже плюнут и растерт!

Я сетую: попал я в тонки сети,
 навешали мне давленных собак.
 И я в себе порой — как в том кисете,
 откуда вытрясли табак,
 как бы остатки дела на сигарку.
 Судьбу-цыганку что же мне журить?
 Что наклоняться к грешному огарку,
 когда и сам даю я прикурить?

А мой отстой — какая желчь и горечь!
И смех, и грех, и соль — все вместе тут.
И день идет, как Слава Миловзориц,
учиться в холодильный институт.

Да ведают великие потомки
о том, что первородные права
лежат, как в богоданной анатомке
разглаженные глазом черева.

Творец подслеповатый был горшечник,
из жизни не сумел устроить блат,
и ляпка тянется вдоль рек и блат,
как путешествие — длиной с кишечник.

Нет, стен не хватит для моей башки
во храме Богородицы-Природы,
где гирьками стоят богиньки и божки,
а рядом бузиной рыгают огороды,
и в Киеве рыдает дядька спьяну,
а явь подобна вечному изъяну,
и остается мне вокруг жизни на вершки
наматывать загаженные годы,
как вываленные кишки.

Я пожил на смотрах и на смотрах,
умножил зрение — и окосел! —
на торге Божиим я во все око сел
с нутрой, легкой рядом во весь потрох.

Я издали завидую монаху
и даже славлю иноческий чин,
ну а вплотную посылаю на х...
и дурочку валяю без причин,
как девочку, не ставшую девахой,
и все во мне растыкано, я тын,
последний тын с разбитыми горшками.
— О глиняные черепа! —
и с вымотанными кишками...

К нему не зарастет народная тропа.

1—8 июня 1974 г.

КРУГ

Фуга

Все уже круг. Живу я посредине.
Утроба, как урочище, урчит.
Уже хожу я в жиденской редине,
а шуба дыбом все еще торчит.
И в пасти доля чертова горчит.

Все уже круг. Блюю на славу желчью,
мотаю на кулак себе кишки.

Я чувствую годов облаву волчью,
и дразнятся багровые флажки.
Все уже круг. Он тесен, как силок,
и все равно меня осилит.
(Последний зуб точу об оселок,
за горло схвачен и пробит навывлет.)

На «вы» ли тут пойдешь? Или на «ты»?
Ее встречая — Боже мой! — все ту же.
И от бесстыжей человечесьей стужи
в глазах такая уйма темноты!

А круг все туже, туже, туже!
Все уже круг. Он тесен, как закон,
и ни о ком знакомом не радеет.
Звериным пустяком я взят в загон.
Надежда, как одежда, все рдеет.

Все уже круг (мой ненасытный друг),
и к ужасу, пожалуй, он приучит,
пока на сотнях престарелых рук
веревку сучка-парка сучит.

Сучи иль не сучи, хоть вейся, хоть не вейся,
а быть концу. Гляди во все очки!
Живи, живи (и по ветру развейся!).
А красные флажки все кажут язычки!
Пошли боры, бурьяны и яруги
навыворот. (Не вырваться лисе!)
Но как велик бирюк, когда в огромном круге
вращаюсь я, как белка в колесе!
И для чего, зачем-то что-то для
и ласково меня мантуля,
воркует время, как слепая гуля,
когда само — лишь тлен и мировая тля?

Все уже круг, как верная петля,
и в сердце входит медленная пуля.

1971 г.



Алексей Бердников

НЕКТО ПЕТРОВ

Кто же он? Сергей Владимирович Петров родился в 1911 году в Казани, в семье врача, и еще ребенком обратил на себя внимание редкими лингвистическими способностями. Не пройдет и двух десятков лет, как он начнет удивлять рифмованными экспромтами на целом ряде европейских — древних и новых — и азиатских языков. Сначала профессор Ленинградского университета, — куда поступит на романо-германское отделение, — и соучеников, а затем следователей Особого отдела и сокамерников (кто-то из слушавших экспромты «капнул»; сегодня даже известно, кто: вполне солидный человек, писатель). В 1933 году — два года тюрьмы, а затем ссылка в г. Ачинск, откуда экспромтист-филолог вернется на «большую землю» только в 1966, чтобы в 1977 окончательно уже осесть в Ленинграде. Весь отчетный период густо насыщен скитаниями по чужим квартирам и распрями с издателями и «старшими товарищами» по перу. Дело в том, что блестящее знание языков очень мало «помогает жить» блестящим стихотворцам (очень «нехорошо», если «изрядный» филолог пишет «изрядные» стихи). Не имея при этом никаких смягчающих вину привычек и свойств: не напивается ни в компании, ни в одиночку, не завидует никому ни бешено, ни «по-белому», не высокомерен, то есть лишен даже элементарной заносчивости... За пайки писательские и площадь жилую и печатную горло перегрызть никому не готов, наивен донельзя, полагая, что работа — бескорыстная и самоотверженная, в стол, — «скажется». Словом, со всеми равно благожелателен, ни перед кем из сильных не заискивает... Чего же боле? Вот Свет и решил, что он... «блаженнейший», «графоман какой-то», «графоманишка»... «пишет на мове». Между тем с конца 60-х по литературному неофициальному Ленинграду (и дальше, дальше — в Москве, в Таллинне) получают широкое — узкое хождение необычайные стиховые творения в виде «фуг», «концертов» и даже «симфоний». «Чудачит старичок», — пожимали плечами начальники писательских учреждений — журнальных и иных, кое-кто высказывал опасение: «Не попробовал бы передать за границу...» — «Не передаст: свежий «ачинец»...» Действительно, со стихами Петрова у людей с улицы Петра Лаврова никаких проблем при жизни поэта не возникало. И переводы его все-таки — от случая до другого случая — издавали, и даже почти единоголосно приняли в Союз, но печатали как бы нехотя, из-под палки, считая, видимо, что не украсят работы Петрова престижных изданий — «худлитовских», «литпамятниковых». Слишком не от мира сего был Петров и в стихах-переводах. Считалось, что он переводимых им авторов «русифицирует». Понимаю, что, беря и здесь сторону Петрова, принимая его принцип «российской экспрессии», я, скорее всего, незаслуженно обижу сторонников принципа «перевода как перевода» — что делать! Переводы Петрова (лучшие из них) — несут печать его личности. Хорошо ли это? Разумеется — плохо. Плохо, когда все вокруг плоско, а ты — талантлив, и это видно сразу и без очков, плохо это, для тебя же самого и плохо... При этом учеников у Сергея Владимировича было множество. Правда, в основном по германо-скандинавской филологии. А по поэзии в 70-е годы — кажется, только один я. Петров с первой же встречи произвел на меня впечатление неизгладимое — именно стихами, их языком, и с этого дня я стал ему бессознательно подражать, стал, что называется, птенцом гнезда Петрова.

Любопытная психологическая глухота к феноменологии Петрова у коллег (даже тех, кто с ним «дружил»), наверное, будет еще долго занимать меня. А когда «отзанимает» нас, его современников, будет, уверен, «задачить» профессиональных литературоведов. Я же в этом решительно ничего не понимаю. Не понимаю, почему юноша весьма средних поэтических способностей и с нулевым образованием в силу общественной «тектоники» становится чуть ли не мировой величиной, а живущий, точнее проживающий, гений обречен на не востребованность. . .

Петров умер 30 октября 1988 года. Гроб его сопровождало много если человек десять: вдова да друзья. Заезжали на полчаса на улицу Воинова: кто-то выступил от коллег-писателей, не помню кто — исполнил долг дежурной скорби о «безвременно почившем прекрасном человеке и товарище, замечательном переводчике и совсем, совсем неплохом поэте».



Кирилл Тынтарев

ШАРМУТТА АМЕРИКАИТ*

Рассказ

Кирилл Тынтарев, ленинградец по рождению, стал писателем в Израиле.

Легко воспевать Израиль красивый, где кибуцники гуляют под пальмами, а белозубые солдаты Армии Обороны совершают небывалые подвиги. Так и поступает большинство пишущих об Израиле. Другие видят лишь уродства Израиля и хулят его. Кирилл Тынтарев не таков: он создал свою Йокнапатофу — населенный в основном марокканскими евреями заштатный городишко Эмек-а-Хессед (Долина Милосердия).

Я очень люблю плотную прозу Кирилла Тынтарева и считаю ее одним из лучших плодов странного гибрида: прививки русского черенка к палестинскому стволу. Ведь Тынтарев должен был приучить свой урожденный русский к несвойственной ему функции — описанию совсем нерусских ландшафтов и людей. По-моему, Бунин был первым русским писателем, бравшимся за это. У него Тынтарев взял и человеческое отношение к неевропейцам. Надеюсь, русскому читателю будет интересно познакомиться с этим порождением русской культуры, развившимся в необычных условиях.

Израэль Шамир

*«Mr и Mrs Леви,
1025 Кантри Аве.,
Аркей 45954,
Федеративная Барвазия.*

12.15.1982
Эмек-а-Хессед
Израиль

Дорогие папа и мама!

Четыре года я не писала вам, потому что не хотела. Я думаю, что вы получали от меня известия через Аккенбауэров, но Аккенбауэры уехали в Японию год назад, и я собралась написать вам сама, чтобы вы не думали, что я умерла или что-то в этом роде. Я очень изменилась за это время и избавилась от комплексов по отношению к вам, поэтому мы можем общаться как равные и даже посылать открытки ко дню рождения. Дорогой папочка! Тебе исполняется шестьдесят два года, и я желаю, чтобы ты был всегда здоровым и веселым, каким я тебя знала, и не принимай замечания мистера Ксавьера близко к сердцу, если мистер еще, конечно, твой босс. У тебя есть внук, то есть мой сын. Его зовут Менахем, как дедушку, и ты можешь перенести на него все свои родительские инстинкты, и мама тоже. Прилож. фотография...»

В дверь постучали. Лаура встала. Стараясь бесшумно, чтобы не разбудить сына, открыть ржавую железную дверь, она прищемила палец и взвизгнула. На пороге стояла Ифат, коренастая девица лет четырнадцати с распущенными по плечам волосами. Фонари на улице Усышкина почему-то не горели в эту зимнюю ночь — только звезды (веретенообразное созвездие Ориона и голубой Сириус на две пяди ниже); у Ифат были влажные волосы и бледные поджатые губы,

* Американская шлюха (араб.-иврит, жаргон).

точь-в-точь как у ее матери Мадлен, когда третьего дня она окатила с балкона помоями маленького Менахема.

— Нам нужен телефон! — без предисловий выпалила Ифат.

— Он свободен, — мягким шепотом произнесла Лаура и повернулась закрыть за собой дверь.

— Папа велел проверить, может, ты лжешь. — Ифат смотрела в землю.

— Пусть проверит через «16», — сказала Лаура, не оборачиваясь. Она подбежала к аптечке взять пластырь, но вдруг остановилась и вполоборота нагнулась к телефону, стоявшему на полу. Телефон чуть слышно пищал. Лаура поправила трубку и, зябко поежившись, стала срывать обертку пластыря, разглядывая в зеркале аптечки свое удлиненное лицо, едва освещенное настольной лампой, покрытое глубокими тенями. Лаура поднесла к своему отражению скрюченные пальцы и прошептала по-английски: «Война! Война! Война против всех!»

Она села к столу, но перед тем, как писать, повернула боком стул и вытянула ноги к керосиновой печке с рефлектором. Зябко было в эту субботнюю ночь и темно, сверху гремела музыка: соседи смотрели видеозаписи. Верхний свет Лаура не включала, потому что темнота помогала от музыки сверху.

«Прилож. фотография, и на ней я, Менахем и Дани, соседский мальчик, на детской площадке. Менахем — крайний справа, я его пометила стрелочкой. У меня тут вид как у настоящей мамы, правда? Передавайте привет Джилли, если она еще не околела. Были ли у нее щенки? После той ужасной истории я сомневаюсь, чтоб были. Город, где я живу. . .»

Лаура закурила сигарету и снова развернулась к печке, вытянув ноги. Зачерпнув крема из баночки, стоявшей на столе, и почти согнувшись пополам, она втирала его в ступни, икры, голени длинных ног, опираясь второй рукой об стул, пока длинный столбик пепла рос на сигарете. Затем сделала длинную судорожную затяжку и освободившейся правой рукой прочертила в воздухе магическую фигуру. Затем откинула волосы за спину и вернулась к письму.

«Город, где я живу, называется Эмек-а-Хессед. Помнишь Барбару Флейссман, которая потом переехала в Штаты? Она подарила городу свою скульптуру, и она стоит у нас на центральной площади, то есть скульптура, а не Барбара. Бедная Барбара! Это единственное место на земном шаре, где она смогла выставиться! Ой, она такая славная, Барбара, не скульптура, конечно. Я ей написала, но она мне не ответила. Теперь я вам, наверно, должна рассказать, как я попала в этот город. Вы, конечно, ненавидите Джо за то, что с ним уехала. Да, чтоб не забыть, я здесь сдала на аттестат зрелости, так что вам нечего его винить. А вообще-то я не собираюсь оправдываться, иначе бы я вам и писать не стала. . .»

За ее спиной раздался скрип оконной рамы и мальчишеский восторженный голос прокричал:

— Шармутта америкаит!

Лаура высунула голову по плечи в морозный воздух и никого не увидела. Набрала воздуха, пьяного и летучего, точно шампанское, и во все дыхание закричала:

— Кусс оммак, мамзер!*

Улыбка, появившаяся у нее на лице, делала его теперь ясным и отчетливым, несмотря на тени. Она прошла в соседнюю комнату — посмотреть, как спит Менахем. Мальчик спал лицом в подушку, с головой завернувшись в одеяло.

* Мать твою, ублюдок (араб-иврит., жаргон).

Лаура вернулась к письму, поставив на колченогий стол — не ко времени — две субботние свечи. Тени в комнате стали еще причудливее. Она зажгла от свечки новую сигарету.

«...и писать не стала. Это было вначале странно, очень странно, вся эта страна, может, я бы что-то понимала, если бы ты, папа, меня отдал в еврейскую школу, а не в католическую. Джо нам много наврал. Ты, папа, тоже слушал его рассказы, как он служил в десанте, а он вообще не служил в армии, только три месяца, а потом его освободили, как дурного, и вообще он кололся. Он сначала от меня скрывал, а потом я нашла ампулы и сама стала ему делать, чтобы не было заразы, но себе — ни разу. У него был вправдашний дом по наследству, и в нем-то я сейчас и живу, мы с самого начала поехали к адвокату в Тель-Авив, и он вручил нам ключ. Я, наверно, слишком подробно рассказываю. У вас сейчас лето. Я долго не могла привыкнуть к северному полусферею? Полушарию? Полу-что-то-там, в общем, луна вверх рогами и так далее. А мы сначала пели в Иерусалиме. Джо то есть играл на гитаре, а я пела, и он тоже. На автовокзале, на торговых улицах. У Джо была такая расшитая золотом ермолка, а деньги мы собирали неплохие, а ночевали у его друзей из Австралии и из Барвазии тоже, но там было все время грязно, и я боялась, что он сделает себе заражение крови. Он стал какой-то гуттаперчевый, механический какой-то, играл и дергался целыми днями, а спросишь его, чего, мол, а он только задает ритм, и все, поэтому я уехала в Эмек-а-Хессед. Он жил где-то в разных местах, иногда наезжал и рассказывал всякие истории — то про армию, то про кибуц, и при этом все врал. Я ему давала ужин и отправляла спать. Потом он исчез. Я уверена, что он себе грязный шприц сделал. Он вообще пренебрегал гигиеной. Как-то раз я ему сказала, что я с ним, таким грязным, не лягу, так он отправился к Олбрайту, это один из Диаспора Ешиве, его потом выгнали, и он уехал в Барвазию, потому что гомо...»

Зазвонил телефон. Лаура рванулась к нему невесомым вихрем и цепко, по-птичьему, ухватила за трубку.

— Алло! — голос ее был сдавлен от волнения. В трубке кто-то сопел.

— Это семья Наркисс? — разрешилась, наконец, трубка.

— Нет, — глаза Лауры потускнели.

— Куда же девались все нарциссы? — поинтересовался голос.

— Увяли! — отрезала Лаура и положила трубку.

За окнами появился свет автомобильных фар. Кто-то нажал на гудок и держал его, не отпуская. Лаура приоткрыла дверь. Из машины вылез Йоав, старший сын соседей сверху, и закричал:

— Папа! Дай денег!

— Чего тебе? — На балкон появился Эли собственной персоной.

— Брось мне денег, а?

— Одну минуту. — Эли скрылся в доме. Йоав стоял, задрал голову, и не сводил глаз с балкона. За его машиной, перегородившей улицу, стояли еще две и истошно гудели. На улице Усышкина стало светло от фар.

— Почему увяли нарциссы? — поинтересовалась Лаура у парня.

— Уйди. Отстань, — ответил он мечтательно, не сводя глаз с балкона. Наконец балконная дверь приоткрылась, и волосатая рука Эли швырнула сверток к ногам сына. Йоав моментально бросился к нему, как будто Лаура собиралась отнять деньги, поскользнулся и толкнул Лауру. Расширив глаза, она прошипела:

— Блядский сын.

— Ты у меня поберегись, — пробормотал Йоав и скрылся в машине.

Вернувшись в дом, Лаура зажгла верхний свет и — без звука —

включила телевизор в углу. В кухне засвистел чайник. Лаура выключила его, сняла с плиты и тут же поставила обратно. Затем подошла к шкафу и стала торопливо примерять платья, одно за другим. В доме заметно потеплело. Она остановилась на стареньком вышитом арабском, до полу, с широкими рукавами, и села вышивать на салфетке розу, но не просидела и трех минут, отбросила шитье и закружилась, расставив руки, по комнате. Потом она завела все часы — ручные, будильник и старые настенные, которые, по рассказу Джо, принадлежали губернатору города Адена. Она даже достала маленькие испорченные золотые часики, которые ей подарил на пятнадцатилетие дядя Брюс, и поднесла их к уху: вдруг пойдут. Затем она нарисовала самого дядю Брюса в виде груши и скомкала листок. Наконец с видом послушной умницы склонилась на колени и зажгла сигарету.

«В Барвазию, потому что гомо, а здесь у гомо нет никаких прав и их — чуть что — прижимают. Кстати, я хочу знать адрес Марты. Ей уже, наверно, двадцать один, как и мне. Если вам не трудно, пожалуйста. Мы с Менахемом живем в доме Джо, как я уже писала, в старом районе городка, среди всяких восточных евреев. Это очень интересно. Папа! Ты знаешь, если бы я еще жила в Барвазии, я бы поселилась в резервации урубу. Они настоящие, понимаешь? Они, конечно, не знают, кто такой Монтегю Легран или Фабиан Круа, но мне не надо с ними помнить, из какой знатной семьи я вышла и к чему это обязывает. Я стараюсь во всем быть на них похожей. Дорожке папа и мама! Я работаю, говоря принятым в Барвазии языком, клерком в маленькой фирме, и мне хватает на жизнь, а прошлой весной я даже съездила на Тивериадское озеро, где Иисус накормил пятью рыбами и семью хлебами двенадцать апостолов. Да, я забыла спросить, все ли вы еще живете в Аркее или переехали на новое место. Что стало со старым домом? Если вы переехали, расскажите мне о новом жилище. Я бы попросила тот эскиз Пикассо, что висел в гостиной, но боюсь, что он пропадет при пересылке. Здесь почта не очень скрупулезная, я хочу сказать, пунктуальная. Я сдала экзамены на аттестат зрелости и даже иврит, но читаю по-французски и по-английски.

Разговаривать мне особенно не с кем, а общественной жизни в Эмек-а-Хессед почти нет. На работе у меня мало друзей, но есть очень милая соседка Малка. У нее сумасшедший муж и сын, сверстник Менахема. . .»

Лаура задумалась и закурила. Было уже поздно, оплыли свечи. По телевизору беззвучноплыли полосы: сосед Эли на днях разобрал ее антенну. Лаура устроила Мадлен некрасивую сцену, а та объяснила, что у них большая семья и надо расширяться, а ей, Лауре, здесь вообще ничего не принадлежит. Пусть лучше уезжает назад в Америку или откуда она такая взялась. Лаура в долгу не осталась, но антенну ей не вернули.

Лаура потерла слипающиеся глаза, забыв и размазав по щекам тушь, и вымарала последний абзац. Письмо продолжалось так:

«. . . и по-английски. Англоязычных в городке нет, но в трех милях отсюда, на поселении, живут Фред и Диана Аккенбауэры. Я с ними познакомилась в супермаркете. Они очень интересные люди, религиозные, приехали осваивать новые территории к востоку от Эмек-а-Хессед, почти как в вестернах, только вместо индейцев — арабы. Фред все время мечтал подстрелить араба, когда в его машину кидали камнями, но пока что он подстрелил бедного ослика, и суд приговорил его к возмещению убытков. Я просила их вкратце писать вам, что я жива и здорова. . .»

Субботняя ночь нависает каплями измороси над улицей Усышкина в Шхунат-Кедари. Фонарей нет, но из тьмы выпадают сверкающие капли, отражая огни в окнах — люстры, свечи, телеэкраны. Шхунат-Кедари

лежит во тьме, топорщась антеннами, изморосью окутало квартал, как спальным мешком.

На безлюдной, как кладбище, площади Пальмаха горят нелюдским светом вывески банков и магазинов. Иногда, по лужам шурша, брызги золотистые поднимая, проезжает мимо машина, но пассажиров внутри не видно.

Редкие огни Эмек-а-Хессед видны из тумана, окутавшего долину. Но только облако, осевшее в ущелье, видят из горной обители Дейр-эль-Шамс, полосу тумана, застилающую горизонт и безвидное Средиземное море. А над полосой — черное ледяное небо, похожее на ад из книг огнепоклонников.

Сириус, ледяной, как игла, сверлит пространство синим лучом. Как глаз мертвеца. Беззвучные молнии вспыхивают на западе, безвидные горы стоят на востоке.

Ни лестницы, ни тропы не видно между гигантским черным куполом и тем, что под ним. Но все это пространство есть мост. Всякий шаг и всякий взлет, всякий взгляд, направленный вверх, достигают бесконечности быстрее, чем синий луч звезды — облака над градом сим. Милосердием живет мир, ибо по суду — ни мгновения бы не устоял.

«Я очень одинока. У меня славные соседи (кроме Эли и Мадлен), но они, как мой Менахем, — шумные и бестолковые. Летом, когда в шортах выхожу повесить стирку, некоторые ужасно смущаются, особенно подростки. А я ни от шортов не откажусь, ни от чего вообще. Вы же меня знаете. Может даже, если бы вы мне купили того опоссума, помните, я бы осталась. А сейчас — я суверенная владычица, обладательница сокровищ, которыми мне не с кем поделиться...»

Лаура подперла рукой голову и уставилась на письмо. Затем бояливо протянула руку и раз-два — скомкала его и быстро-быстро, чтобы не передумать, сунула в огонь. Высокий коптящий язык поднялся из печки, и черные хлопья залетали по комнате.

«...но с моего царского трона я ни за что не сойду, потому что здесь мое место...»

Легкие морщинки пролегли у нее от глаз к вискам. Она потеряла глаза, от сна и от дыма, и встала погреть над печкой руки. В дверь постучали. Лаура ринулась к дверям, перемазанная и в чернила, и в тушь для ресниц, в стареньком и любимом арабском платье, влюбленная, ждущая.

— Эрез, милый, сейчас открою, — бормотала она, не справляясь замерзшими пальцами с замком, — так далеко твой Ливан, такая долгая дорога...

Она наконец открыла дверь. Холодный луч Сириуса упал на нее, и она вздрогнула. Ночь ворвалась в Эмек-а-Хессед, нарушив правила игры. Час был поздний, огни погасли, одни только молнии мелькали сквозь ключья облаков. Лаура попыталась сосчитать фигуры, стоявшие за порогом. Их было семь или восемь, а может быть, двенадцать.

— Сначала сядь, — прошелестел в ушах голос офицера из подразделения Эреза Фархи...

Анатолий Кобенков

«ВСЕ ПОВТОРИТСЯ, ИБО — ВОЗВРАТИТСЯ»

* * *

По мальчикам, которые сидели
в моих краях, протопали метели,
и горько вспоминать, что мы не смели
сказать им то, что надо бы сказать...

К тем девочкам, которые их ждали,
мы приставали на автовокзале...
И больно знать, что мы не понимали,
что надо бы их взять и приютить...

При этом мы болели за державу,
глушили спирт, орали Окуджаву
да младших братьев в холе содержали:
я — с хомячком, Василий — со щеглом...

Всё — только младшим. Старшим — ничего...

* * *

Днём и ночью чайник плачет —
жалится во тьму.
Жизнь моя на нём батрачит —
тяжело ему.

Повторю его печали
перышком своим —
перед тем, как мы подале
жизни

улетим.

Повторю его руладу:
«фьють», да «фьють», да «фьить» —
перед тем, как мне по аду
выпадет кружить;

занесу в свою тетрадку:
«фьють», да «фьить», да «фью» —
до того, как он с устатку
отдохнёт в раю...

* * *

У птицы есть гнездо,
и есть нора у твари...
Я птица,
я и тварь —
есть у меня гнездо
и тёплая нора:

я годы государю
на кухоньке своей
с утра и до утра.

Я чаще здесь пишу,
чем ем,
но реже плачу,
чем хохочу,
и здесь,
как жадный иудей,
я главное добро —
свои писанья — прячу
в корзинке для белья
из ивовых ветвей.

Я думаю, что в ней
(но бесконечно прежде,
чем я её нашёл
и привязался к ней)
по голубой воде,
звездой и рыбой — между,
грызя свой ноготок,
плыл мальчик Моисей...

Смешно, но раз в году
меня светло тревожит
ветхозаветный сон:
на кухне, у стола,
сидит моя жена
и слёз сдержать не может:
— Корзинка уплыла,
корзинка уплыла...

* * *

А между прочим,
началась весна.
И хрупок воздух, как обертка сна,
а там, где жизнь о время укололась,
на песенке сошлись —
мой хриплый голос
и твой, простуженный,
и тишина.

А день подрос —
явились облака.
Еще, как новобранцы, неуклюжи,
они себя рассматривают в лужах,
а те блистают в рамочках ледка;
а ветер ищет ноты.
Нотный ключ
по ручейкам гуляет —
в том и этом;
а у провинциального поэта
четырнадцатая за апрель любовь,
и потому к планетам и предметам

он громко обращается:
 — Любовь
 Ивановна!

А Люба Иванова
 купила шляпу.
 При своей обнове
 она плывет, как шляпа по воде...

На веточках, на форточках —
 везде,
 где невозможно спрятаться от грусти,
 расплакались сосульки;
 каждый кустик
 наполнен влагой.

Всякая душа
 летит туда, где сыновья народов
 являют миру мужества пример.

Там Фёдоров живет, грустит Жюль Верн,
 пенсне теряет добрый Циолковский...

(Мне грустно оттого, что, будучи подростком,
 и я там был.

Я взрослый потому,
 что ТАМ неинтересен никому.)

Однако я увлекся небесами,
 в то время как живу под небесами.

А на земле
 меж тем, пока я пел,
 свершился круг цветенья:
 увядают
 мои сады,
 и птицы покидают
 мое окно;
 сегодня мой балкон —
 крупнейший коллекционер печали:
 и бабочки с увядшими крылами
 его интересуют;
 телефон
 как будто отключили —
 немые рощи;
 как будто накрутили патефон —
 шуршание и шепот:
 флаг полощет
 над райсоветом;
 и редет круг
 моих друзей и, кажется, подруг...

Лишь мысль моя по-прежнему тепла:
 земля кружится, значит — жизнь кругла,

и что под небесами ни случится,
 все повторится,
 ибо — возвратится.

Земля кругла.

То, что она кругла,
не школа мне сказала —
как ни странно,

об этом мне поведала Татьяна
четвертого апреля,

в три часа,
после уроков,
множество столетий
тому назад...

И птичьего голоса
защелкали:

— Это правда, дети:
земля кругла.

Как поцелуй, кругла
прямая времени,
кругла любви прямая, —
почетный круг над миром совершая,
она обходит тысячи планет...

Потом она — звезда,
никто не знает,
когда она погаснет:

ни поэт,
ни звездочет, ни Люба Иванова...

А между тем и Люба Иванова
уже давно не Люба Иванова,
и наш поэт несчастный — не поэт:

молчит в земле старуха Иванова,
лежит старик под памятником новым.
Поэта нет. И Любы тоже нет.

Сомкнулся круг печали без обмана,
плывет над миром веточка тумана,
а над землею радуга повисла...
Я не ищу особенного смысла
в том, что она сегодня поднялась
из маленькой могилы Ивановой,
и в том, что, полоснув по голубому,
над памятником сорвалась.

Пришла весна, она уже у нас.



Марина Тарковская

ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА*

ЕЛИСАВЕТГРАДСКИЙ ДЕДУШКА

Папин отец, Александр Карлович Тарковский, умер 24 декабря 1924 года в возрасте шестидесяти двух лет. Умер от инсульта, за восемь лет до появления на свет Андрея.

Знали мы о нем совсем немного, а фотографии его попали к нам году в сорок восьмом, через несколько лет после смерти папиной матери, нашей бабушки Марии Даниловны.

Вот тогда-то Андрей впервые увидел своего деда. Он подолгу рассматривал портреты молодого Александра Карловича. Дедушка был красив — светлые волосы, серые глаза, чуть сдвинутые на переносице брови вразлет. Было что-то загадочное и романтическое в его облике, что пленило Андрея. Он даже стал чаще сдвигать брови и все посматривал на себя в зеркало — не появилась ли у него вертикальная, как у деда, морщинка между ними.

Когда узнаешь ближе Александра Карловича, по его письмам, по его стихам и рассказам, становится очевидным, что Андрей унаследовал многие его черты. Какие-то родовые свойства делали и деда и внука с ранних пор неспособными вписаться в предлагаемые им условия жизни, будь то эпоха конца семидесятых — начала восьмидесятых годов прошлого века или года «социалистического строительства». Они были с ранней юности не такими, как все, — беспокойными, чего-то ищущими. Им было неинтересно то, что навязывалось, то, что было обязательным: реальное училище — дедушке, советская школа — Андрею.

Родился наш дед 3 октября старого стиля 1862 года в селе Николаевка (Кардашевка) Бобринецкого уезда Херсонской губернии, что в двадцати пяти верстах от Елисаветграда, в доме своих родителей — отставного ротмистра дворянина Карла Матвеевича Тарковского и Эмилии Каэтановны, урожденной Кардасевич. Ко времени рождения Александра в семье уже было четыре дочери, две из которых умерли совсем молодыми. Сестра Надежда Карловна была много старше Веры и Александра. Она была замужем за секретарем елисаветградской полицейской управы Иваном Карповичем Тобилевичем, ставшим впоследствии актером и драматургом Карпенко-Карым, одним из основателей украинского национального театра.

В 1872 году дети осиротели — в эпидемию холеры умерли их родители. Отец в Елисаветграде, куда уехал от страшной болезни, а мать — в деревне, откуда не захотела уезжать, бравирюя несколько своей храбростью.

Опекуном малолетних детей и отягощенного долгами имения Тарковских стал Иван Карпович Тобилевич. Ему удалось сохранить имение, которое насчитывало 652 десятины черноземной земли. Оно не было продано за долги. Иван Карпович взял ссуду в банке, погасил мелкие задолженности, а крупных кредиторов уговорил подождать.

Чтобы выручить денег, он сдал в аренду всю землю, оставив в пользование для семьи лишь небольшой участок возле дома в Николаевке.

* Окончание. Начало см. «Согласие», № 1, 1992 и № 1, 1993.

Детей, Веру и Александра, Надежда Карловна и Иван Карпович взяли к себе в дом на Быковой улице в Елисаветграде и отдали учиться. Веру — в женскую гимназию, а Александра — в елисаветградское реальное училище.

Достигнув совершеннолетия, Александр Карлович стал основным наследником земли. Согласно закону, он должен был выделить сестрам по 1/14 доле от имения. Но он разделил землю родителей на три равные части, обеспечив таким образом своих двух сестер.

Иван Карпович говорил о таком поступке шурина как о проявлении его «бескорыстия и шляхетства».

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Осенью 1872 года опекун, Иван Карпович Тобилевич, определил Сашу в приготовительный класс елисаветградского реального училища. Отчего Иван Карпович отдал предпочтение реальному, а не классическому образованию, сейчас можно только предполагать.

Училище было открыто совсем недавно, в 1870 году, в прекрасном здании с оборудованными по последнему слову науки кабинетами. Там преподавали лучшие в городе учителя. Опекун Саши, видимо, надеялся, что тот станет технически образованным человеком и как инженер будет полезен обществу. Но годы ученья показали, что реальное училище мало отвечало наклонностям Александра, скорее гуманитарным, чем техническим.

Училище было учреждено земством, и в нем учились мальчики из самых разных семей. Здесь были дети служащих, купцов, врачей, крестьян. Там создалась именно та атмосфера, которой опасался тогдашний министр просвещения Российской империи граф Толстой, считавший, что реальные училища могут стать рассадниками вольнодумия.

В то время, когда Саша Тарковский проходил курс обучения, директором реального училища был М. Р. Завадский, преподававший русскую словесность. Это был умнейший человек и талантливый педагог, которого уважали преподаватели и любили реалисты. Завадский умел вовлечь в занятия всех учеников. Он прививал им любовь к литературе, а главное — воспитывал их души.

Завадский был наставником в классе, где учился Александр. Так было заведено, что во время большой перемены наставник обязательно приходил в свой класс. Ученики тотчас окружали его, и начиналась общая беседа.

Одноклассник Александра Тарковского Евгений Чикаленко рассказывает в своих воспоминаниях: «После убийства революционером Степняком-Кравчинским жандармского генерала Мезенцева Завадский поставил перед учениками вопрос о нравственной стороне террора. Большинство высказывалось против террора, а меньшинство, в том числе и я, говорило, что его надо признать как способ обороны против силы. Мы говорили, что если сильный повалит слабого и станет его душить, то можно целиком оправдать, что слабый укусит сильного. Директор отвечал, что это ни к чему не приведет, потому что сильный еще больше озлится и просто убьет слабого. Он ссылаясь на тогда мне неизвестного профессора Драгоманова, ученого и политического эмигранта, который решительно выступил против террора и говорил, что «чистое дело требует чистых рук» и что всю энергию молодежи должна направить на приобретение знаний, чтобы бороться со злом не кинжалами и пистолетами, а разумом и наукой.

В государственных гимназиях тех ребят, которые возражали директору, в двадцать четыре часа выкинули бы из гимназии и передали в

распоряжение жандармерии, а наш директор никому ничего не рассказал и терпеливо пытался оторвать нас от террора, который насаждался тогда политическими партиями, борющимися с порядком».

Какими-то неисповедимыми путями попадала к реалистам запрещенная литература. Читали газету партии «Земля и воля», а после раскола — органы двух вновь образовавшихся партий: газету «Народная воля» и журнал «Черный передел».

Ученики старших классов разделились — одни шли за «Народной волей», призывающей путем террора добиться свободы, к ним принадлежал и Тарковский, другие — за «Черным переделом», продолжавшим линию «Земли и воли»: через отрицание политической борьбы и террора, путем пропаганды — к социальной революции.

Помимо нелегальной литературы реалисты зачитывались Добролюбовым, Писаревым и — особенно — Чернышевским. Рахметов был для многих из них идеалом, и они закаляли свою волю, пытались, как их герой, спать на гвоздях.

В Елисаветграде было сильно и украинофильское движение, которое особенно усилилось после Императорского указа 1876 года, запретившего обучение и публичные выступления на украинском языке.

Иван Карпович Тобилевич и доктор Афанасий Иванович Михалевич организовали кружок, где читали запрещенную «Громаду», выходившую в Женеве, «Отечественные записки», публицистические статьи — в том числе Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Члены кружка переводили на украинский язык статьи московских народников, а Афанасий Иванович — с английского на украинский — труды Адама Смита. Писали письма и прошения в Петербург в защиту украинского языка. О государственной независимости Украины еще не говорилось, задачами кружка было возрождение языка и культуры, а через них впоследствии и возрождение украинской нации.

Вот в такой обстановке рос Александр Тарковский. В уютном степном городке Новороссии с одноэтажными белеными домами, где жили украинцы, русские, поляки, евреи, сербы, где Европа была совсем рядом, где интеллигенция боготворила театр и литературу. В реальном училище он знакомится с революционной литературой, а дома тесно общается с украинцами-«громадянами». Бунтарские идеи упали на благодатную почву его характера — честного, гордого и жаждущего справедливости.

Учился Александр без особого прилежания. Ведомости успеваемости у него не блещут отличными отметками — там мелькают все больше тройки.

Особенно неважно обстоят дела с математикой — в третьем классе у него переэкзаменовка по алгебре, в пятом ему с трудом выводят тройку по геометрии. И ведет он себя дурно. В общем, Саша доставляет педагогам немало огорчений.

Пребывание Александра в елисаветградском реальном училище закончилось печальным происшествием, по поводу которого 22 февраля 1880 года был собран педагогический совет.

Как доложил членам совета директор М. Р. Завадский, дело было в следующем: «Преподаватель рисования Петр Александрович Крестоносцев, видя, что Тарковский не занимается во время урока, обратил его внимание и просил заниматься делом, но Тарковский продолжал читать постороннюю книгу и в то же время разговаривать со своим товарищем Чикаленко, который при этом разговоре смеялся. После этого Петр Александрович предложил Тарковскому выйти из класса. Тарковский этого не исполнил. Петр Александрович потребовал настойчивее, на что Тарковский отвечал: «Вы не имеете права кричать!» После этого ответа Петр Александрович сам вышел из класса.

Дальнейшее присутствие Тарковского в училище после такого поступка было неудобным, поэтому я просил его не посещать класса впредь до разрешения педагогического совета».

На педагогическом совете началось обсуждение «дела» Тарковского. Директор дает ученику такую характеристику: «Он неправильно посещает уроки, плохо занимается, получил в одну четверть плохую отметку в поведении. В хорошую сторону его можно сказать, что он мягкого характера, тем более нервный. Нельзя сказать, чтобы он был глуп, с честными побуждениями, хотя увлекающийся».

Некоторые из учителей говорили в пользу провинившегося: «Он стал лучше заниматься и внимательнее слушать на уроках». Один говорил о Тарковском как о «правдивом и откровенном человеке», другой — что он «слабоволен и ленив».

Наиболее непреклонные требовали сурового наказания, «исходя из самого поступка, а не из личности ученика».

После длительного совещания педсовет постановил: «Ученика 6 класса Тарковского подвергнуть длительному аресту (на сутки), причем выражено было мнение, что Тарковскому вообще было бы полезно переменить училище, в каком смысле просить директора училища переговорить с опекуном Тарковского И. К. Тобилевичем».

Александр перестает посещать училище. Мы не знаем, подвергся ли он наказанию — аресту в карцере на двадцать четыре часа. Если да, то это было серьезным испытанием для его еще не окрепшей, но гордой души. Думал ли он тогда, что через четыре года снова лишится свободы, но только не на часы, а на долгие годы?

ВРАЧ ИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА

«...Судьбы скрещенья».

Б. Пастернак

Бабушка, мамина мама, была замужем дважды. Первый ее брак быстро распался, а со своим вторым мужем, Николаем Матвеевичем Петровым, она счастливо прожила двадцать лет...

Когда я читала «Охранную грамоту» Пастернака, то сразу же, на второй странице, наткнулась на такой рассказ: «Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движенья в гипсе, горели за рекой... знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувырком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма».

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего... над лесною дорогой».

Тут уже можно остановиться, перевести дух, отдышаться после этой усложненной — конец двадцатых годов! — превосходной прозы. И оглянуться назад, в далекий-далекий 1903 год, известна и точная дата, 8 августа, когда по проселочной дороге ехал на лошадях (в экипаже, на дрожках?) вместе с Леонидом Осиповичем Пастернаком Николай Матвеевич Петров.

Ибо это именно он и был тем «врачом из Малоярославца».

Тогда он еще не был знаком с нашей бабушкой Верой Николаевной Дубасовой (Вишняковой по первому мужу). Он женится на ней через четырнадцать лет, станет маминым отчимом и расскажет ей, как приезжал с врачебным визитом к сломавшему бедро сыну художника Пастернака, жившего на даче в Оболенском.

Известно, что нога у Бориса Леонидовича срослась неправильно и стала немного короче. И хоть я и знала, что Николай Матвеевич был замечательным врачом, в душе у меня копошилось сомнение: не было ли в том его вины?

Можно было, конечно, все повернуть наоборот — не благодаря ли Николаю Матвеевичу Борис Пастернак «выбыл из двух войн», продолжал жить и написал для нас то, что ему суждено было написать?

Однако позже я узнала, что упавшего с лошади Борюшу сначала посетил знаменитый московский хирург Гольдингер и что гипс ему наложил другой хирург, ассистент профессора Боброва.

На следующий день у мальчика начался жар, и отец его поехал в ближайший город, Малоярославец, за врачом и сиделкой.

Значит, Николай Матвеевич не был повинен в легкой хромоте Пастернака.

Вечером восьмого августа он лишь как терапевт пытался помочь испуганному, измученному болью и вынужденной неподвижностью больному. А тот капризничал и вел себя совсем не по-мужски, что не понравилось молодому врачу, прошедшему с детства суровую жизненную школу.

Итак, найден повод, чтобы рассказать о Николае Матвеевиче, хотя он и без повода вполне достоин этого. Как жизнь любого человека, его жизнь была неповторимой, тем более что, случайно или вовсе не случайно, она соприкоснулась с такими поэтами, как Константин Бальмонт, Борис Пастернак, Арсений Тарковский.

Родился Николай Матвеевич в 1866 году в городе Шуя Владимирской губернии. Его отец, незаконный сын богатого польского помещика, был подброшен в приют, где ему дали фамилию по крестному отцу. Матвей Петров выучился на провизора и фельдшера и получил место в одном из сел Тверской губернии. Жили там карелы, переселившиеся в Россию еще при царе Василии Шуйском. Петров влюбился в девушку из семьи карелов-староверов, занимавшихся хлебопашеством и пчеловодством. Родители не захотели выдать дочь за «табачника». Тогда она бежала с ним и была за то проклята своей семьей.

Кстати, карелы живут в тех краях до сих пор. Судьбе было угодно, чтобы я прожила две недели под Лихославлем в высоком деревенском доме северной постройки. Там я видела потомков давних переселенцев, слышала их необычный язык и поняла, откуда у Николая Матвеевича были широкие скулы и узковатые глаза. Он пошел в свою мать — карелку Прасковью Макаровну.

Николай Матвеевич отлично учился в шуйской гимназии. Он рано начал бегать по урокам и уже со второго класса делал микстуры и порошки в аптеке своего отца. Тот был беззаботным человеком, увлекался бильярдом и охотой и по несколько дней пропадал из дома.

В старших классах гимназии Николай Матвеевич жил в семье Бальмонтов* — был репетитором у Константина и его брата Аркадия. Они часто ездили в имение Бальмонтов Гумнище, где вместе охотились и обучали грамоте хорошеньких горничных.

Николай и Константин поступили в Императорский Московский университет: один — на медицинский факультет, другой — на юридический. В университете тогда были революционные брожения, сходки, ждали приезда инкогнито какого-то студента-марксиста из Казани. Им оказался Владимир Ульянов.

На студенческом собрании Константин, прикрыв лицо башлыком, чтобы его не узнали «педеля»**, развернул на хорах красный флаг.

* К. Д. Бальмонт считал, что его фамилия должна произноситься с ударением на втором слоге.

** Надзиратели (*студенческий жаргон*).

Потом пути друзей разошлись. После окончания университета Николай Матвеевич не захотел остаться на кафедре, куда его приглашали, как способнейшего выпускника, и уехал работать в провинцию. Он предпочитал жить ближе к природе, чтобы иметь возможность охотиться. Он и отпуск всегда брал в августе, в охотничий сезон.

Николай Матвеевич после университета получил место в Малоярославце. Его семейная жизнь не была счастливой — первая его жена оказалась неумной и эгоистичной.

Как-то, приехав в Москву по делам, Петров увидел афишу, сообщавшую, что в Политехническом музее будет выступать поэт Бальмонт, к тому времени завоевавший громкую славу. Николай Матвеевич пришел на его вечер. Он вошел в зал во время перерыва. На эстраде, окруженный поклонниками, стоял Бальмонт. Увидев Петрова, он закричал: «Разойдитесь, пропустите! Это мой друг юности! . . .»

Году в 1909 в Малоярославец из Козельска переводят судью Ивана Ивановича Вишнякова, нашего деда, с женой и дочкой. Городок был маленький, и вскоре нашей бабушке стало известно, как несчастлив в браке врач Петров. А врач Петров узнал, что у судьи Вишнякова трудный характер и что Вера Николаевна, его жена, очень страдает. Бабушка и Николай Матвеевич часто встречались на людях, но сдерживали взаимное влечение, чтобы не давать пищу кривотолкам.

Им помогла соединиться так называемая империалистическая война. Первое время после мобилизации в июле 1914 года Петров работал в госпитале в Калуге. Жил он в номерах. И так случилось, что бабушка поехала в имение родителей, но ее экипаж сломался, и она осталась на ночь в той же гостинице.

Гостиница была небольшая, двухэтажная, с кафельными печами. На изразцах были нарисованы вазы с фруктами, и под ними по-французски написано «Утешение женщин».

Внизу, в вестибюле, висела доска, на которой постояльцы записывали свои имена. Бабушка увидела фамилию Николая Матвеевича, а он прочел ее имя. И нанес ей визит, и они, наконец, объяснились.

Николай Матвеевич был зачислен в 499-ю пешую Калужскую дружину в качестве старшего врача, потом служил в разных полках Десятой армии, которая в 1916 году обороняла Рижское побережье. За отличия в делах против неприятеля он был награжден Орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и с бантом. И все три года войны Петров проработал в госпиталях и походных лазаретах — вот уж была богатая практика, особенно хирургическая!

Бабушка, уехав от Ивана Ивановича в Москву, бисерным почерком писала длинные письма Николаю Матвеевичу и несколько раз ездила к нему на фронт.

После революции Петров демобилизовался и вместе с бабушкой уехал в город Лух к своему отцу. А потом они перебрались в Иваново-Вознесенскую губернию. Николай Матвеевич был бессребреник. Свой дом в Малоярославце он оставил первой жене и жил с бабушкой на казенных квартирах. Он получал государственную зарплату и очень сердился на деревенских пациенток, которые приходили к нему на прием с гостинцами. Правда, хитрые бабы стали оставлять узелки с яйцами, салом и творогом на кухонном крыльце его квартиры, откуда их забирала Аннушка, вскоре разоблаченная.

Скольким людям помог на своем веку Николай Матвеевич — не счесть. Врачом он был от Бога. У него была замечательная интуиция, основанная на опыте и знаниях, мягкие и точные руки хирурга. Эти руки помогли Андрею появиться на свет.

Город Юрьевец на Волге стал последним пристанищем Николая Матвеевича. Практиковать он уже не мог из-за прогрессирующей стенокардии и занимал необременительную должность судебно-медицинского

эксперта. В последний месяц жизни он не мог лежать и умер, сидя в своем кресле. Прожил Петров семьдесят лет. После него остались книги по медицине, врачебные инструменты, охотничье ружье и старенький велосипед, на котором он ездил по вызовам.

Какое счастье, что в начале жизни нам дано ощущение нашей единственности, нашего бессмертия!

Только с годами мы начинаем понимать, что уйдем так же, как ушли жившие до нас, и невозможно ни задержаться, ни зацепиться.

Можно только постараться пройти свой путь достойно, как прошли его — каждый по-своему — подросток из семьи знаменитого московского художника, лежавший в гипсе на даче в Оболенском, и молодой врач из Малоярославца, спешивший к нему тревожным августовским вечером далекого 1903 года.

ПАМЯТИ БЕЗВЕСТНОГО ПОЭТА

Каждый раз, приходя к нам на Щипок и здороваясь со мной, дядя Володя Любин откидывал назад голову с остатками седоватых волос и, по-поэтически вибрируя голосом, произносил: «О Марина, соименница моря!»

Мне, «соименнице», было лет двенадцать, и я воспринимала слова Володи как необходимую, ритуальную часть его прихода. И так как я в очень большой степени соответствовала определению Пушкина, то есть была «ленива и нелюбопытна», то не интересовалась, чью же это строку с таким пафосом повторяет Любин.

Володя — почему-то никто не называл его по отчеству — был из компании московской поэтической молодежи и в начале тридцатых годов подружился сначала с папой, потом — с мамой, стал приходить к ним на Гороховский, затем — на Щипок. После развода родителей он продолжал чаще бывать у мамы. Володя жил на редкие гонорары за переводы, которые ему помогали добывать литературные знакомые, а последняя жена папы не очень-то привечала таких «бесполезных» и плохо одетых людей.

С ранней юности Володя писал стихи. Поэзия была его единственной страстью, его призванием, смыслом жизни.

Он трепетал, читая любимое, замирал, слушая чужое, декламировал свое, закрыв сильно косившие глаза, самозабвенно завывая и подчеркивая стихотворный ритм торжественными паузами.

В послевоенные годы существовал еще обычай заходить к кому-либо не «в гости», а просто. Время было полуголодное, поэтому приходящие не претендовали на угощение, а хозяева не бросались их потчевать. Хорошо, если было что-нибудь к чаю. Важна была сама встреча с близкими по духу людьми, необходимы долгие беседы.

Иногда случалось так, что одновременно на Щипке сходились и Володя Любин, и папа. Сидели у бабушкиного овального стола, накрытого клеенкой, на венских стульях с коварными выщербленными сиденьями, на сундуке. Мама устраивалась у печки, чтобы дым от ее папирсы уходил в вытяжку.

Говорили о друзьях, о переводах, о литературе. Мама каким-то особым тихим голосом просила: «Почитай, Арсений!» — и папа читал свои новые стихи. Слушали внимательно, оценивали с голоса. Просили почитать еще.

Любин высоко отзывался о папиной поэзии, в его словах не было ни зависти, ни подхалимства. Он судил о стихах как поэт, хотя и сказал однажды маме: «Вы с Арсением умнее и тоньше меня...»

Володя родился в богатой еврейской семье. Он был единственным сыном, и можно себе представить, какой любовью окружали его родители. Но классическую гимназию Володя не смог окончить из-за революции, никакой профессии не приобрел. В советское время он оказался живущим вместе со своей мамой в одной комнатке коммунальной квартиры, когда-то принадлежавшей их семье.

Когда мама умерла, Володя растерялся и затосковал. На мои дни рождения он приносил подарки: длинные четки из четырехгранных деревянных бусин и крохотные, ссохшиеся от времени шелковые черные перчатки — вещи, оставшиеся от его покойной мамы.

Владимир Любин не умел жить — не писал бездарных гимнов в прославление власти, и ему не нашлось места ни в советской поэзии, ни в советской действительности.

Правда, ему везло. Живым вернулся с фронта — он не был годен к строевой и всю войну прослужил интендантом. В годы, когда железная метла в числе прочих выметала и «гнилых интеллигентов», его не посадили. Странно, ведь Любин не был ни ловкачом, ни угодником и даже, как мог, пытался сохранить свою честь.

Однажды, когда он получил в милиции паспорт, его попросили назвать свою национальность. «Иудей», — с достоинством произнес он. Паспортистка красивым почерком вписала в соответствующую графу слово «Индий». Вот с таким паспортом и жил дядя Володя.

Время шло. Он старел, дичал, стал реже выходить из своего захламленного, пыльного угла. Единственное место, которое он еще посещал, была диетическая столовая на Басманной.

А потом Володя Любин умер. Его смерть прошла совсем незамеченной — не было ни некрологов в газетах, ни речей в крематории...

Давайте же хоть теперь помянем нищего поэта, скромного служащего Евтерпы и Эрато, прожившего нескладную, безрадостную жизнь — не мог же он всерьез радоваться диетическим обедам — ради того, чтобы оставить после себя тонкую книжечку переписанных от руки, никому не известных стихов.

А я все-таки узнала, кому принадлежит торжественная строка-обращение «О Марина, соименница моря!», которой некогда приветствовал меня дядя Володя Любин. Это из стихов Софии Парнок, посвященных Марине Цветаевой, 1915 год.

ШУБА

Всё еще близко, всё еще больно... Каждый вечер, прежде чем заснуть, я с маниакальным упорством занимаюсь одним и тем же бесплодным и утомительным делом — прокручиваю назад, как старую, истертую киноплёнку, все, что произошло с Андреем, с мамой, с папой. Как сумашедший Доменико из «Ностальгии», ищу ту точку, с которой все началось. Но, найдя ее, я понимаю, что бессильна что-либо изменить.

«Мама, ты сводишь счеты!» — сказал мой сын, прочтя этот рассказ. Да, наверное. Но может быть, написав о том, что меня мучит, мне будет легче забыть и простить? Так не лишайте меня этого права...

Шло счастливое лето 1976 года. Все потери были еще впереди, у меня росла чудесная маленькая дочка, и я наслаждалась материнством.

К тому же это было лето на папиной даче в Голицыне, папа с женой Татьяной Алексеевной приезжал довольно часто, и встречи с ним, продолжительные и такие домашние, добавляли мне счастья.

Я почему-то совсем не вспоминаю трудностей, связанных с маленьким ребенком,— бессонных ночей, кормлений, стирок. А помню, например, что к осени в саду созрело несметное количество яблок. Огромные, обманчиво восковые с виду и сладко-сочные на вкус яблоки «белый налив» падали на землю и глухо трескались от удара.

Я изо всех сил старалась справиться с их изобилием — варила каждый день компот и часами мешала повидло, которое пыхтело на плитке и время от времени плевалось горячими брызгами.

Татьяна Алексеевна, тщателью осматривая каждое яблоко, укладывала их в сумки, а приходивших гостей радушно угощала падалицей. Наши с ней отношения были вполне добрыми.

Но меня давно интересовали кое-какие подробности одного события. И вот однажды вечером, когда дочка моя уже спала, очередная порция повидла была разлита по банкам, а ползунки и колготки развешаны по веревкам, за вечерним чаем в саду я собралась с духом и спросила Татьяну Алексеевну: «А помните ли вы вашу замечательную шубу? Из какого она была меха?» Она не насторожилась, как обычно, от моего вопроса, а с воодушевлением стала рассказывать давнюю историю о покупке своей знаменитой шубы из нещипаной выдры.

Шуба из мягкого коричневого меха была сшита с заграничным шиком — с глубокими карманами, с поясом и даже с хлястиками на рукавах. Такой шубы не было ни у одной писательской дамы, и Татьяна Алексеевна по праву гордилась ей.

— Да, я помню, очень красивая была шуба. А скажите, в каком году вы ее купили?

И в этом вопросе она не почувствовала ничего подозрительного и ответила, что шуба была куплена летом 1947 года.

Вот это-то мне и надо было выяснить. Значит, действительно, покупка совершилась именно вторым послевоенным летом, когда мама, не зная, куда нас деть на каникулы, отправила Андрея и меня сначала в Малоярославец, к своему отцу, а потом в дом своего двоюродного брата на станцию Петушки.

Я очень хорошо помнила то лето.

Дом дедушки в Малоярославце был большим и просторным. Но во время войны из окон вылетали все стекла, и они были заколочены досками. В доме было почти темно и пахло лежачим больным: дедушка Иван Иванович из-за болезни ног не вставал с постели.

Вообще-то он слег не от болезни, а от пережитого во время войны. Оба его сына были в Красной Армии, и, когда немцы подходили к Малоярославцу, дедушка с женой и дочерью убежали в лес, опасаясь расправы. Когда после долгих скитаний они вернулись, дом их был занят немецкими солдатами, а вещи растащены соседями. Вот тогда-то дедушка и перестал вставать, а ухаживала за ним его последняя жена Ермиловна, настоящая мачеха из страшной сказки. Но о ней нужен отдельный рассказ...

С собой в Малоярославец мама дала нам две буханки черного хлеба и несколько селедочек. Ермиловна готовила из селедочных внутренностей, лука и сыоротки окрошку, которую ни Андрей, ни я не могла есть. Мачеха сердилась, но обижать нас не могла, все-таки мы были гостями.

Тем не менее мы старались уходить из темного дома, где хозяйничала Ермиловна и молча лежал обросший седой щетиной дедушка, которого мы совсем не знали и боялись.

Мы спускались по крутым склонам к реке Луже и долго шли по берегу, ощущая босыми ногами упругую влажность болотистой тропки. Андрей нес привезенный из Москвы этюдник с красками. Наконец он выбирал место, и мы останавливались. Меня Андрей сажал для

оживления пейзажа. Я любила эти часы, проведенные среди летнего блеска и зеленых трав. Андрей рисовал, изредка вскидывая голову, чтобы взглянуть прищуренными глазами на натуру. Взгляд его был цепким и отрешенным одновременно. От всей фигуры Андрея исходило ощущение силы и надежности, а одержимость его захватывала и меня. Я ждала момента, когда из непонятных пятен на картонке возникнет, наконец, картина. Андрей писал берег речки с корявой ветлой, поворот дороги, темную ель на опушке леса. . .

Остаток этого лета мы провели под Москвой в деревне около Петушков, жили одни в заброшенной, полуразвалившейся избе. Там не было ни Ермиловны, ни лежачего дедушки, но нам было совсем плохо. Как это у Некрасова? «В мире есть царь, этот царь беспощаден. . .» Да, нас мучил голод. Мама работала, и по субботам мы шли на станцию ее встречать. По дороге мы мечтали о том, что она привезет, и играли в странную игру: Андрей рисовал на дорожной пыли, чего бы он хотел поесть, а я должна была угадывать, что именно он нарисовал.

Привезенные мамой скудные продукты исчезали очень быстро, и конец недели был самым мучительным. Мы рвали красную рябину, но, даже испеченная на костре, она не утоляла голод. Грибы в тех местах росли какие-то странные, похожие на белые, но горькие и несъедобные. Другого «подножного корма» не было.

Андрей совсем забросил живопись, и мы без дела шатались по окрестностям. Однажды в лесу мы набрали на небольшую делянку с картошкой. Был конец августа, и картошка уже была крупной. Она была какого-то замечательного сорта — удлиненной формы, розоватая, необыкновенно вкусная.

В первый раз Андрей нарыл немного — сколько уместилось за пазухой. На следующий день он уже взял с собой сумку. Я сидела «на шухере» и шепотом торопила его: «Хватит, Андрей, пойдем!» Но он только нетерпеливо дергал в мою сторону ногой — отстань, мол. Если бы вдруг пришли хозяева, они нас, возможно, убили бы. Избили бы наверняка. Но все обошлось. А скоро то лето кончилось, и мы уехали домой, в Москву.

Начались школьные занятия, а Андрей записался еще и в художественную школу. Ему хотелось поскорее начать работать маслом, но пришлось рисовать карандашом пирамиды, кубы и аканты. А в ноябре Андрей простудился и заболел туберкулезом. Врачи сказали, что из-за сильного истощения защитные функции его организма ослаблены и не могут оказывать сопротивления палочкам Коха. . .

Тогда на даче в Голицыне Татьяна Алексеевна не поняла, почему меня интересовали подробности покупки ее шубы из нещипаной выдры, случившейся почти тридцать лет назад. И слава Богу, а то начала бы что-то объяснять, оправдываться.

А в чем она, собственно, была виновата?

ВОСПОМИНАНИЯ О СТАРОМ ШКАФЕ

Это был высокий шкаф из мореного дуба, украшенный поверху резьбой — деревянные листья и розы, — штучная работа уважающего себя мастера-краснодеревщика прошлого века. Шкаф назывался «шифоньер», в нем было три широких полки и один выдвижной ящик. А еще его называли «зеркальный», потому что в его дверцу во всю ее ширину и длину было вставлено большое зеркало.

Когда-то шкаф этот принадлежал бабушкиной матери Марии Владимировне и стоял в собственном доме Дубасовых на Пименовской улице. Когда Мария Владимировна умерла, он по разделу имущества перешел к бабушке, самой младшей из ее дочерей.

Можно сказать, что с этого момента и начались злоключения зеркального шкафа.

Сначала его перевезли из Москвы в Козельск, где первый муж бабушки Иван Иванович Вишняков получил место судьи. Из Козельска шкаф вместе с бабушкой и дедушкой переехал в Малоярославец.

Дедушка Иван Иванович на своих молодых фотографиях выглядит добрым сероглазым блондином, и только стоящие густым ежиком волосы наводят на мысль о его жестком и неуживчивом характере.

Бабушка рассталась с ним во время первой мировой войны и приехала в Москву со своими вещами, в числе которых был и зеркальный шкаф. Правда, хранить в шифоньере ей стало почти нечего.

Иван Иванович, узнав об измене бабушки, хотел застрелить ее из револьвера, а когда она выскочила в окно и убежала, заперся в комнате и всю ночь резал на узкие ленточки ее красивые дорогие платья, сшитые в Варшаве у лучших портних.

В Москве бабушкина мебель стояла какое-то время в квартире ее сестры, генеральши Людмилы Николаевны Ивановой, в Спасских казармах. Сам генерал был на фронте, и бабушка, не стесняясь, могла петь в огромном двухсветном зале, где голос ее звучал замечательно.

После революции она уехала на Волгу со своим вторым мужем, Николаем Матвеевичем Петровым. Шкафу тоже пришлось последовать за ней в багажном вагоне. Тогда-то и обломилась с одного края веточка на его резном кокошнике — грузчики уже не церемонились с чужими вещами.

После кончины Николая Матвеевича, примерно года за полтора до войны сорок первого года, бабушка, получив у юрьевецкого начальства бронь на свою комнату, переехала в Москву. Она уже знала, что папа оставил семью, и решила помочь маме нас воспитывать. Мама не нашла в себе мужества запретить ей приехать. И в двух маленьких комнатках на Щипке в один прекрасный день, кроме мамы, Андрея и меня, оказались: бабушка, ее бывшая домработница Аннушка и мебель — огромный письменный стол Николая Матвеевича, плюшевый диван и зеркальный шкаф, он же шифоньер.

Вещи похожи на людей, им тоже нужен уход и хорошие условия. Их нужно любить и лелеять, их нельзя запихивать в тесные сырые углы. Исторические катаклизмы также не идут им на пользу.

Когда началась война, в красивую дубовую поверхность шкафа пришлось ввинтить кольца для висячего замка. Мы уезжали в эвакуацию, всего взяв с собой не могли, и кое-что пришлось оставить в шкафу. Например, кусок черного бархата — папин подарок. Когда-то папа мечтал увидеть маму в бархатном платье.

Соседям, которые заняли в войну нашу первую комнатку, пришлось очень постараться, чтобы выдрать кольцо и открыть шкаф. На гладком дереве появились безобразные рубцы, а мамин бархат был продан соседским сыном на Зацепской толкучке.

По мере того, как мы подрастали, вещи в доме утрачивали красоту и былое величие. Мама была к ним равнодушна, и бедная бабушка в одиночку боролась с нашими разрушительными инстинктами.

Как-то Андрей узнал, что бывают спички, которые могут загораться от любой поверхности. Он стал чиркать спичками по зеркалу. Они, конечно, не загорались, потому что были совсем другого сорта, но Андрей все чиркал и чиркал. Бабушка возмущалась, но поделать ничего не могла, и на зеркале появлялись все новые и новые полосы...

Годы шли, от шкафа отпадали и утрачивались навсегда какие-то декоративные кружочки и уголки. Его хозяйке, бабушке, теперь уже было совсем безразлично, что с ним происходит.

Я вынула широкие полки и устроила из шифоньера гардероб, и бабушка никак не реагировала на это событие. Через некоторое время она умерла.

А шкаф пришлось перевезти в Бирюлево — дом № 26 по 1 Щиповскому переулку освобождали под общежитие для рабочих. Мама в Бирюлеве не жила, она приехала к нам на Юго-Запад, и шкаф несколько лет простоял в пустой комнате.

Потом произошло то, о чем я не люблю вспоминать.

Если бы я оказалась на космической станции, летающей вокруг планеты Солярис, Океан материализовал бы этот зеркальный шкаф. Дело в том, что пришлось освобождать мамину комнату в Бирюлеве, а в нашу тесную квартиру он не входил. И пришлось его уничтожить. Да-да... Мы сняли зеркальную дверцу с петель и стали разбивать шкаф — было невозможно выбросить его целиком.

Мы его убивали, а он не хотел умирать. Он мог прожить еще лет триста: ведь он был на редкость прочно сделан уважающим себя столяром-краснодеревщиком...

Мы бросили стенки от шкафа на бирюлевской помойке, а дверцу перевезли к себе.

Как хорошо, что Андрей когда-то не слушался бабушку и оставил на зеркальной поверхности следы от своих спичек, драгоценные линии-напоминания.

Этому зеркалу суждено было стать первым и главным Зеркалом в судьбе Андрея, прообразом всех зеркал в его жизни и в его фильмах. Оно было покрыто в старину настоящей серебряной амальгамой, поэтому отражение в нем смягчено и чуть загадочно.

Таинственная суть зеркала впервые обнаружилась, когда друг наших родителей, Левушка Горнунг, принес отпечатки сделанных возле него снимков — папа в кожаном пальто и папа с маленьким Андреем на коленях. Позже Лев снял у зеркала уже повзрослевшего, шестнадцатилетнего Андрея.

Покрытое амальгамой стекло повторяло облик позирующих, но это повторение не было их точной копией. В нем угадывалось что-то иное, как будто зеркало проявляло то, что в реальности было скрыто под привычными чертами...

Я гляжу в его тусклую поверхность и вижу свое отражение. Андрей всегда был старше меня. Теперь — старше я. Пройдет еще немного времени, и мы с ним встретимся.

По ту сторону зеркального стекла.

АБРАМЦЕВО

Почему я люблю Абрамцево? Нет, не сегодняшнюю туристическую усадьбу-музей, а то послевоенное Абрамцево, когда ближайшая станция называлась «Пятьдесят седьмой километр», когда не было деревянной лестницы и мостика через овраг. Когда, просыпаясь утром, знаешь, что тебя ждет чудесный летний день.

Надо было пройти сумрачным еловым леском, спуститься по тропке в глубокий овраг, подняться на его противоположный склон. И наверху передохнуть, потому что ехали мы из Москвы всегда нагруженные узлами и сумками.

Мы — это мама, Андрей и я. Мы снимали «дачу» в деревне Мотовки, в пяти километрах — час ходьбы — от станции.

Какой это был год? Наверное, сорок шестой.

Деревенский дом, ориентир — скотный двор. Правда, скотины в нем не было, колхоз в Мutowках был никудышный. Но зато были коровы у местных, а значит, мы пили молоко. Молоко и черный хлеб. Детство, счастье...

В Мutowках было два особенно привлекательных места — река Воря и абрамцевская усадьба. Я не ошиблась в порядке — узкая извилистая речка была у нас на первом месте. Купались мы в «бочаге», нестрашном и веселом днем, при ярком солнце, темном и таинственном в сумерках, когда стелился туман по болотцам у реки и начинало сильно пахнуть дикой смородиной и крапивой.

Правда, для меня радость от купанья кончилась быстро. Андрей захотел научить меня плавать и, следуя известному методу, швырнул меня в речку. Сделать это ему не составило труда — была я маленькая и такая худая, что в то лето меня звали «вымирающий индус». Плавать, правда, я тогда не научилась, но зато еще долго боялась воды.

Возле этого злосчастного бочага был песчаный пляжик, на котором, вытянув стройные ноги, загорала красавица Валя В., приезжавшая на лето к своей деревенской бабушке.

Андрей, конечно же, влюбился в Валю, он всегда влюблялся в самых красивых девушек. «В купальнике черном, на желтом песке» — первая строчка посвященного ей стихотворения, которое Андрей так и не закончил...

Через абрамцевскую усадьбу мы ходили от станции в наши Мutowки. Никаких заборов и сторожей не было, и ее аллеи, церковь, мостик были для нас будничными дорожными приметам, конечно, не лишенными очарования.

«Абрамцево — это русская идея», — сказал отец Павел Флоренский. Вряд ли Андрей осознавал тогда всю полноту этой идеи — славнофилы с Аксаковым, Троице-Сергиевская лавра, мамонтовский круг.

А разбитые кресты у часовни и изрядно загаженная прохожими васнецовская «избушка на курьих ножках» с надписями, выражающими непривлекательное подсознание их авторов, мало способствовали ее развитию.

Но он мог ощущать прелесть старинного дома с широкой верандой, заросшего пруда, расшатанного бревенчатого мостика, красоту резного шкафа, сделанного погибшим на войне хозяином избы в Мutowках.

Не случайно, что именно в Абрамцеве Андрея впервые обуяла магия живописи. Наша хозяйка подарила ему этюдник, забытый каким-то прежним дачником, а муж маминой подруги, художник дядя Коля Терпсихоров, дал остальное — палитру, куски загрунтованного холста, не до конца истраченные тюбики с масляными красками.

Какие завораживающие названия — «парижская синяя», «марс коричневый», «сиена натуральная», «киноварь», «земля зеленая»! Тюбики были свинцовые, наполовину выжатые, помятые. Из них Андрей по чуть-чуть выжимал драгоценную краску. И раскладывал он краски на палитре не кое-как, а со смыслом — от теплых к холодным.

Мне дозволялось присутствовать при этом действе, и казалось, что нет ничего красивее этой палитры с красками, которая вмещала в себя все еще не написанные пейзажи и натюрморты.

Теперь Андрей часами просиживал с этюдником, писал камыши, закат солнца. Потом ему пришла в голову идея написать ночной пейзаж — деревня ночью. В сумерках он уходил из дома, а возвращался под утро, когда я уже крепко спала.

Дядя Коля, любивший пошутить, прозвал Андрея Ван Гогом. Мне кажется, что прозвище было метким.

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ

Я вдруг перестала спать по ночам. В семьдесят девятом, когда умирала мама, я не спала. А почему сейчас?

Я хожу взад и вперед по комнате, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить домашних. От двери — к балкону, от двери — к балкону. А там кружится с ветром, бьется о стекло, мелькает в полосе света и исчезает в темноте первый снег.

От двери — к балкону. Опять косо мчатся снежинки за окном, и их движение страшно в своей механической неотвратимости — из освещенной полосы во тьму. И помимо моего сознания складываются строчки:

Белая бабочка близкой зимы
Вьется, порхает.
Черная тень близкой беды
Сердце сжимает.

Какой из меня поэт! Пошловатые слова — «белая бабочка... зимы», да и «тень беды» не лучше. Но я почему-то записываю эти четыре строчки на листе бумаги и даже ставлю дату — ноябрь 1985.

Так откуда моя тревога? Почему мысли об Андрее не дают мне уснуть? Волноваться нечего, я знаю, что он в Швеции, снимает картину...

От двери — к балкону, от двери — к балкону. «Белая бабочка близкой зимы». Просто я не люблю ноябрь. Черная мерзлая земля, низкое небо, а впереди долгая-долгая зима. Близость зимы, близость беды...

И беда пришла. Сначала до меня доходили неопределенные слухи о болезни Андрея, потом они стали конкретными, а в январе семьдесят шестого выпустили к Андрею сына — «в виде акта гуманизма». Смертельная болезнь его уже стала очевидной и для советских начальников.

О состоянии Андрея я узнавала от дочери его жены. «Все хорошо, на снимках не обнаружили ни одной раковой клетки». Но я знала, что «хорошо» быть не может.

Я дала телеграмму в ЦК на имя Горбачева с просьбой разрешить мне выехать во Францию «в связи с тяжелой болезнью моего брата». Уже идет «перестройка», но страшная система работает четко. Мою телеграмму пересылают в ОВИР, и его сотрудница объясняет мне, что «к командированным за границу» выезд родственников не оформляют.

Но через полгода им все-таки пришлось «оформить» нам выезд — на похороны. Оказывается, все можно сделать за один день...

А потом я прочла дневник Андрея, «Мартиролог», выдержки из которого вошли в фильм Эббо Деманта «В поисках утраченного времени».

«8 ноября 1985. Сегодня я видел ужасный, печальный сон. Я опять увидел озеро на севере. Как мне кажется, где-то в России. Рассвет. На другом берегу два русских монастыря и церкви необычайной красоты. И мне было так тоскливо, так печально на душе!

10 ноября. По делам, связанным с Андрюшей, пока ничего. Завтра состоится вторая встреча с Пальме... Нам хотят помочь. Как?... Из Москвы поступают плохие вести. Ужасные дни, ужасный год. Господи, не покинь меня!

18 ноября. Я болен. Бронхит и нечто абсурдное в затылке и в мышцах... И в то же время надо озвучивать фильм. А время уходит.

24 ноября. Я болен. Даже довольно опасно...

30 ноября. Ужасные споры из-за длины фильма. Я болен. Пришлось сделать общий анализ крови и рентген легких...*

В декабре диагноз уже был поставлен.

* Отрывки из «Мартиролога» в обратном переводе с немецкого.

ЗАПИСКИ НА КЛОЧКАХ

Мама работала корректором в Первой Образцовой типографии, бывшей Сытина. Работа была каторжная — целый день напряженного внимания. Если, к примеру, в издательстве корректор читает лист — шестнадцать страниц — за целый день, то типографский корректор должен был прочесть его за час.

В Образцовой печаталось многое, прошедшее, конечно, Главлит. Были и политиздатовские заказы, и БСЭ, и словари, и учебники, и художественная литература.

Читая в напряженном ритме все подряд, мама натыкалась порой на что-то останавливающее ее внимание. То, что казалось ей интересным или забавным, она выхватывала из потока и записывала на чем попало — на клочке типографской бумаги, на рапортчике, на старом конверте. В свободную минуту на таком же обрывке она могла записать и свои собственные мысли или строчку письма, которое обдумывала, список расходов или перечень долгов.

Мне показалось, что если читать подряд эти случайные записи, то можно составить хоть и отвлеченное, но довольно правильное представление о вопросах, занимающих маму.

Сама она, несомненно, была выше многих прописных истин, которые были ей нужны как подтверждение собственных мыслей и наблюдений.

«Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость.

Макаренко».

«Язык — орудие мышления. Обращаться с языком кое-как — значит мыслить кое-как.

Федин. «О мастерстве».

«Если что-нибудь не сделано, то все не сделано.

Бурятская пословица».

«Столичная знать, располагавшая людьми и богатствами, — вот кто вершил уже тогда судьбами страны».

«Всемирная история», том 1, стр. 153, 4-й абзац.*

«Пароксизм (припадок) — приступ болезни, внезапно возникающее обострение».

«Я знаю, что правильно, но не имею склонности следовать ему; я знаю, что неправильно, но не могу отказаться от него.

Санскритское выражение».

«От Андрея перевод — 600 р. — 21 июня 53 г.»**

«... шкатулочные души литературных историков.

Фучик».

«Так везде, но в дороге особенно ясно: стоит направить свое внимание и волю к определенной цели, как сейчас же появляются помощники.

Пришвин».

«Коммунистическая партия оберегает советское искусство от влияния упадочного искусства буржуазии. . .»

* Запись сделана из-за стилистической ошибки, которая свидетельствует о безграмотности автора-историка.

** 26 мая 1953 года Андрей уехал в Сибирь с геологической экспедицией. Мама же случайно делает запись — это первые заработанные им деньги.

Мама комментирует: «А разве искусство не является (согласно учению КП) плодом, надстройкой и т. п.? Так зачем же «оберегать» — какова почва, таково будет и искусство».

«10.VI.1955.

Марина поехала в Ладыжино — билет 4 р. 15 к.*

Хлеб — 2 батона по 1.38 — 2 р. 76 к.

11.VI.

Я — дорога — 8 р. 30 к.

Метро и т. п. — 1 р. 30 к.

Хлеб — 1 батон и 1 булка — 2 р. 06 к.

Макароны — 500 гр. — 2 р. 75 к.

Чайник алюминиевый — 28 р. 90 к.».

«Само стремление к охвату общего уже спасает нас от косности.

Ленин».

«Эпитет — это ужасная, это вульгарная вещь. Эпитет надо употреблять с большим страхом, только тогда, когда он нужен, когда без него нельзя обойтись, когда он дает какую-то интенсивность слову, вернее, когда слово настолько заезжено или настолько обще, что нужно подчеркнуть его эпитетом».

«Самоконтроль необходим для устранения страстей, затрудняющих сосредоточенность и препятствующих хорошему поведению».

«Непонимание причинной связи — источник всех трудностей».

«Никогда доброе отношение к человеку не унижит того, кто его проявляет. Наоборот, тот, к кому оно проявляется, становится моральным должником».

«. . . тот, кто способен на большие дела, держит язык за зубами.

Лондон».

«В жизни, видимо, необходим хотя бы маленький элемент театра. Загадочности, неожиданности, всякие дымки. Кто не талантлив в этом, тот пресен».

«Не говори такого, чего нельзя поправить».

«Из 2000, что дал Арсений в марте 1955 г.

Отдано долгов:

Володе Л. 100 р.

Буцик 400 р.

Наде Л. 200 р.

Белке 100 р.

Анне Игнатьевне 25 р.

Ирине Ш. 225 р.

Наташе 10 р.

Юльке 5 р.

1065 р.».

«Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил . . .»

ЛЮБОВЬ

Мне хотелось рассказать о маме, и я написала рассказ, где пыталась прокомментировать эти два отрывка из ее писем папе на фронт. Но мои слова оказались неуклюжими, беспомощными, ненужными.

* Летом 1955 года мы снимали дачу в деревне Ладыжино под Тарусой.

Поэтому я перечеркнула все, что написала, и оставила только заголовок.

«19.VII.42 г. Дорогой наш папочка! Вчера мы вернулись из деревни и принесли земляники: большую стеклянную крынку и еще отдельно шесть чашек больших. Конечно, целый день в лесу дети питались ягодами с хлебом и ужинали в деревне тоже ягодами. В общем, набрали стаканов 20—25 — правда, молодцы? Маринка прекрасно выдержала все 18 километров туда, целый день в лесу и 18 км обратно. Ночевали две ночи у какой-то Бабы-Яги — ужасно противная бабка, если бы не она, мы еще остались бы на день.

Мне очень хочется написать тебе про тот день в лесу — нам было так хорошо, детишки ни разу не поссорились, старались, собирали ягодки, потом играли, Маринка устроила на пеньке столовую, продавала земляничные обеды, черничные ужины, бегала на базар за покупками, лазали по деревьям.

А потом мы шли в деревню по узенькой тропиночке среди огромного поля нежно-зеленого льна. Мышик* шел впереди в коротгусеньком синем платьице с коричневыми босыми ножками и нес в левой ручке баночку на тесемочке, полную ягодок, и так красиво было кругом, и ягодки были красные, и баночка мелькала среди зелени. Мы с Андрюшкой шли сзади и любовались нашим Мышиком, и льном, и баночкой с ягодками, и я сказала ему, чтобы он запомнил хорошенько этот день и Мышика, идущего среди льна под вечерним солнышком.

Он понял как-то интуитивно и был такой нежный с нами, целовал мне руки.

На рассвете вчера я вернулась на это место в лесу, где мы играли. Мне хотелось, пока спят дети, собрать еще ягодок и уже идти в Юрьеvec. На опушке было тихо. Голосишки ребячьи уже замолкли навсегда в этом месте; у пенька, где была «столовая», валялись грибки-тарелочки и спичечная пустая коробочка. Мне сделалось так грустно, а потом так страшно. Только вчера здесь было так уютно, как в хо-рошем домике, и вдруг сделалось торжественно, как после похорон. Я плюнула на ягоды и побежала скорей к детишкам — живым: умер только вчерашний день и вчерашние голоса.

Я что-то написала очень бестолково и непонятно. Мне очень хочется тебе объяснить, только не знаю, так ли сумею. Да и нужно ли тебе сейчас все это? Но ты прочти и постарайся представить, как было, запомни и ты этот день. Он какой-то совершенно необыкновенный, и мне нужно, чтобы ты его запомнил.

Асенька, милый, как ты нам часто бываешь нужен, как мы тебя все любим. Андрюшка в припадке нежности всегда называет Маришку Асиком. Нам было очень жаль, что ты не видел Мышика с баночкой...»

«30.VI.42 г. ...Асик, родной мой, мне так хочется написать тебе хорошее, ласковое письмо, чтобы тебе сделалось хорошо и весело, а когда человеку хорошо и весело — ему во всем удача. Когда тебе будет плохо — вспоминай о Мариночке (Андрюша уже слишком похож на тебя, и судьбы ваши слишком одинаковы) — и тебе сразу делается хорошо. То же я буду впоследствии говорить и Андрею.

Я очень счастлива, что Андрей будет не один, с Мариной я за него спокойна. Она его так любит, что охранит от всяких бед и напастей именно своей любовью.

Не считай, что я впадаю в мистику, я никогда этим не грешила, я считаю только, что любовью, именно настоящей, можно сделать что угодно. Любовь неосязаема и непоборима, как невидимка».

* Одно из моих детских домашних имен.

Мама писала это, когда Андрею было всего десять лет. Она уже тогда знала его судьбу.

Но мама ошиблась в другом. Я не смогла ни защитить, ни спасти Андрея своей любовью. Он мало в ней нуждался. Жил по-своему — летел прямо в огонь и сгорел.

КОНСЕРВАТОРИЯ

Для нас улица Герцена, для мамы — Большая Никитская. Виден фасад с торжественным подъездом — тогда еще не было Чайковского с березками.

Консерватория! Просторный вестибюль, яркий свет, широкие белые лестницы с коврами. И вот он — Большой зал.

Сначала, конечно, портреты. Мы отгадывали по очереди всех композиторов в овальных портретах по стенам. Меньше всех мне нравился Глинка в феске — была в нем какая-то идейная суровость. А вот Шуберт в очках, с полными усмевающимися губами нравился очень. Андрею — романтический Вагнер в бархатном берете.

Темноватый по сравнению с фойе зал с огромным органом над сценой приводил нас в какое-то необычное состояние. Да и мама была здесь иной — напряженной, строгой, и держалась она прямее, чем обычно.

Вот появляются оркестранты, рассаживаются по местам и настраивают инструменты. Вот каким-то особым, «консерваторским» голосом объявляют первый номер программы. Выходит дирижер, взмахивает палочкой. . .

И начинается для меня кошмар и тоска. Сперва я слушаю музыку внимательно, ведь я помню, что про эту вещь рассказывала нам мама по дороге. Потом мое внимание начинает ослабевать, звуки лишаются смысла. Я перестаю их слышать, зеваю и начинаю думать о своем — о школе, о кошке Капе, о бабушке, о новых туфлях Оли Ефимовой.

Искоса взглядываю на маму и на Андрея. Они поглощены музыкой, у Андрея брови нахмурены, правая рука отбивает на коленке такт.

Я встряхиваюсь и снова стараюсь слушать. Знакомая тема немного оживляет меня. Но через несколько минут я снова теряю нить. Начинаю смотреть на дирижера. Забавно видеть, как он размахивает руками, трясет взлохматившейся от резких движений головой и делает страшные глаза оркестрантам.

Я переключаюсь на публику. Ах эта московская публика конца сороковых — драгоценные остатки былой московской интеллигенции! Старенькие кофточки, поношенные костюмы. Те, кто помоложе (их немного), в гимнастерках. Некоторые слушатели в валенках или в бурках. Студентки-консерваторки одеты без намека на модность. Прийти в Консерваторию в каком-нибудь панбархате казалось неприличным.

Наш гордый и самолюбивый Андрей не стеснялся бывать там в своем единственном костюме — лыжном, байковом. . .

Но вот нарастают заключительные раскаты симфонии. Дирижер подпрыгивает на носках и все сильнее машет руками. Потом одним широким движением как бы захватывает звуки в кулак и душит их. Тишина. Аплодисменты. Я хлопаю изо всех сил — кончились мои мучения.

Но хоть и считали меня дома вовсе лишенной музыкального слуха, я довольно скоро научилась слушать музыку и уже не могла обходиться без нее.

С Андреем с самого начала все было иначе. У него был абсолютный слух. Когда его до войны принимали в музыкальную школу, сбежались все преподаватели.

Его учительница музыки, Нина Александровна Григорович, ученица Николая Рубинштейна, прочила Андрею славное будущее. Но инструмента мама купить не могла, занимался он у соседей и к урокам почти не готовился. Играл по слуху. «Ох уже эти мне слухачи!» — возмущалась Нина Александровна и откладывала спичку после каждого сыгранного с ошибкой упражнения. Три упражнения — три спички, значит, играй все сначала. . .

С первого же посещения Консерватории Андрей был очарован музыкой. Ему-то не надо было учиться ее слушать.

Когда они с мамой вышли после концерта на улицу, он оглянулся назад и спросил: «Мам, а мы сюда еще придем?»

Однажды, году в сорок восьмом, в конце лета, когда вдруг как-то по-осеннему захлодало, мама зашла к своему двоюродному брату. Его жена удивилась: «Маруся, да ты никак без чулок? По такому-то холоду!»

«Да, — ответила мама беспечно. — Старые износились, а на новые денег нет. Зато я купила ребятам абонементы в Консерваторию. На все симфонии Бетховена. Костя Иванов будет дирижировать!»

ПРО ОБУВЬ

Обувь, обувка — в толковом словаре Даля — «одежда для ног». А у Шекспира и в сказках еще и единица измерения времени — «не успела износить башмаков», «три пары башмаков износила».

А у меня получается, что обувь — это единица воспоминаний.

Сколько пар я истоптала в детстве? Наверное, не так уж много. Но думать не хочется об этих ботинках с лохматыми шнурками, обязательно черных и всегда ненавистных, спортивных тапочках, тоже на шнурках и тоже нелюбимых, о вечно полных песку сандалиях с перепонками, от которых на загорелых, в цыпках ногах оставались белые следы.

И не вспоминается туфель, которые бы, по Толстому, «веселили ножку».

Но как-то раз папа пришел на Щипок с коробкой. Стоял сентябрь, и я только начала ходить в школу. Сейчас я уже была дома, сидела за письменным столом и, одержимая благими намерениями, старательно переписывала расписание уроков.

Папа, войдя, поцеловал меня — родной запах, лаванда и медовый табак, — сел, устроил в углу палку и начал развязывать шпагат, которым была перевязана эта обувная, явно «не наша» коробка.

В ней, как близнецы, по одному завернутые в тонкую белую бумагу, лежали туфли. Для меня. Папа вынул и распеленал их. Они были прекрасны — из синей кожи, с такими же синими замшевыми язычками-отворотами. Гладкая подошва. Низкий каблук. (А зачем, спрашивается, высокие каблуки двенадцатилетней девочке?)

Мы поставили обе туфли на мой топчан, и папа стал рассказывать, что сделаны они в Чехословакии, на известной во всей Европе фабрике Бати, которая уже Бате не принадлежит, но продолжает по привычке шить хорошую обувь.

— А теперь примерь, — сказал папа.

Я постелила на пол газету и стала надевать правую туфлю на мой коричневый в резиночку чулок. Туфля была мала.

— Мала, палец упирается!

— Сильно упирается?

— Да, очень сильно.

— Померь другую, — в панике сказал папа.

— И эта мала.

— Наверное, у тебя толстые чулки, — папа еще надеялся на чудо.

Я сняла чулки и стала мерить туфли на голые ноги.

— Все равно сильно жмут.

— Как же так, ведь ты носишь тридцать четвертый номер?

— Да, но за лето ноги, наверное, выросли.

— Хорошо, — сдался, наконец, папа. — Оставим туфли, а завтра ты пойдешь с мамой в Даниловский универмаг и поменяешь их на бóльшие. Маруся! — папа стал звать маму.

Когда на следующий день мы с ней пришли в универмаг, таких туфель уже не было. Были другие, тоже чешские, желто-коричневые, похожие на мужские полуботинки, с рисунком, выбитым дырочками на глянцевої коже. И хотя пахли они великолепно, а на шелковых шнурках у них болтались кожаные бомбошки, я носила их безо всякого удовольствия.

Пропускаю несколько «необувных» лет и вспоминаю, как были куплены мои самые любимые босоножки.

Это было осенью пятьдесят третьего года. Мы с Андреем идем по нашему переулку, время от времени останавливаясь, — Андрей за руку здоровается со встречными приятелями.

Он — крепкий, загорелый. Он только что вернулся из енисейской тайги, где проработал лето коллектором в геологической партии. В Москву он приехал в прожженной у костра телогрейке, с длинными, по плечи, волосами — не захотел стричься в Красноярске — и с тяжеленным чемоданом.

На площади у трех вокзалов Андрея остановил милиционер, проверил документы и попросил раскрыть чемодан. Чемодан был набит камнями — курейскими серыми сланцами с вкрапленными квадратиками золотистых пиритов. . .

Теперь у Андрея совсем цивилизованный вид — он постригся в «Национале» и надел свой пиджак с широкими плечами. А вообще он сильно изменился, стал мягче, ласковее, видно, соскучился по дому.

А как я соскучилась по нему за лето! Ног под собой не чую от гордости и от счастья, что иду рядом с ним. Андрей ведет меня в магазин на Серпуховской площади — хочет из полученных за экспедицию денег что-нибудь мне купить.

Дорогой он рассказывает о реке Курейке, о маршрутах по тайге, о буре на Енисее, смывшей с лодки его рюкзак, об амнистированных уголовниках, которые захватывали пароходы и под черными флагами плыли до Красноярска.

«А я все-таки решил поступать во ВГИК на режиссерский», — вдруг говорит он, неожиданно меняя тему. . .

В магазине мы купили черные замшевые босоножки с широкими перехлестами на подъеме. Мне удалось обновить их той же осенью — было еще несколько сухих, солнечных дней.

Проходит еще время. Мама, мама. . . Как мне не горевать, как не плакать по ней!

Вот она приезжает из Солнечногорска — была в гостях у своего брата. Володя с женой недавно вернулись из Германии, проработали там несколько лет.

Я беру из маминых рук сумку и вижу, что на ногах у нее вместо старых туфель на «микрорпорке» чудесные ботиночки на меху. «Мама! Как здорово!»

Мама пытается бодро улыбнуться, но такая улыбка — знак того, что у нее что-то не так. Она скидывает пальто, садится на стул и торопится развязать шнурки. А потом, морщась, долго трет пальцы и ступни.

— Это мне Наташа подарила. Говорит, примерьте, Мария Ивановна, я их себе покупала, но у меня еще есть.

— Мама, но ведь у Наташи тридцать пятый номер, а у тебя тридцать седьмой!

— Я померила, хотела снять и надеть свои. Но Наташа сказала — поезжайте в новых, они вам так идут! А возвращалась я в Москву вместе с Бенедиктом Евгеньевичем. Не могла же я при нем переобуваться в электричке...

А ну-ка, Мышастик, надень!.. Ну вот, я так и знала, что они тебе будут в самый раз.

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ

Я хорошо помнила эту дачу в Переделкине — туда до войны выезжал писательский детский сад, и я провела там последнее довоенное лето.

И сейчас, в сорок третьем, как напоминание о том беззаботном времени, стоит недалеко от нее застекленная беседка-«восьмигранник». Там была детсадовская столовая, и во время светлого летнего ливня нас, накрытых одеялами, перетаскивали на руках воспитательницы — обедать...

Теперь я опять живу в Переделкине, бабушка и Андрей — в Москве, а мама, «оформленная» сторожем дачи, ездит туда-сюда. В Москве у нее дела. Она еще работает надомницей в литфондовском комбинате — вяжет носки и варежки. А заодно присматривает за Андреем, боится, чтобы он не попал в дурную компанию. К весне ей все-таки придется забрать его из Москвы, от греха подальше...

В писательском поселке почти все дачи заколочены, кругом осенняя глухая темнота. Только шумят, раскачиваясь от ветра, сосны на участке, кричит зловеще поселившийся где-то поблизости филин, да доносится издали перестук поезда.

Я учусь во втором классе деревенской школы. Осенью хожу туда через плотину, а зимой — наискосок, по узенькой тропинке, которая ведет по замерзшему пруду прямо к низкому деревянному дому школы.

Чтобы я не опаздывала на уроки, мама привезла мне из Москвы часы, «да не простые, а золотые». Честное слово! На столе перед окном нашей каморки теперь лежали круглые золотые часы. Это были карманные швейцарской марки часы маминого отчима, Николая Матвеевича Петрова, доставшиеся ей по завещанию. Золотая цепочка, на которой они некогда висели, была продана бабушкой еще до войны. Часы же хотел купить у бабушки артист Хенкин, но почему-то раздумал, и они пережили благополучно самые трудные времена...

Ходят часы очень точно, надо только не забывать заводить их каждое утро в одно и то же время.

Стекла у часов не было. Поэтому черные изящные стрелки — часовая, с ажурным концом, напоминающим вытянутое сердечко, минутная, без украшений, чуть изогнутая книзу, и золотая, совсем тоненькая, секундная — были заманчиво беззащитны.

Я любила смотреть, как медленно, почти незаметно для глаза, ползут по циферблату большие стрелки и как быстро и весело бежит, подрагивая, секундная.

Однажды я смотрела-смотрела на стрелки, да и взяла в руки самую тоненькую, секундную. Она была невесома и почти неосязаема. Какое-то мгновение — и стрелка выпала из моих рук на пол. А пол был дощатый и весь в щелях. Долго я ползала в поисках стрелки, а когда поняла, что мне ее не найти, заплакала тихо и безнадежно.

Приехала мама. Увидев меня в слезах, сидящую на полу, она обеспокоилась, но, узнав о причине слез, спросила: «А ты когда на-

чала плакать: как меня увидела или давно, когда стрелка потерялась?» Я ответила, что плакать начала задолго до ее приезда. Тогда мама повеселела и стала меня утешать. . .

Прошло время. Война окончилась. Мы все уже жили в Москве. Теперь мы узнавали время по большому железному будильнику, громко отсчитывающему минуты и отвратительно трещающему по утрам.

А золотые карманные часы оказались в ломбарде на Арбате, где пролежали с небольшими перерывами несколько лет. Они задерживались у мамы только на то время, которое она, выкупив часы, проводила в очереди, чтобы их заложить снова.

Несколько раз мама брала меня с собой, чтобы я заняла очередь на заклад, в то время как она будет их выкупать наверху. Помню это скорбное место — стойкий запах нафталина, угрюмые вереницы людей к окошкам, звяканье серебряных ложек на весах приемщицы и объявление на стене: «Инвалиды Великой Отчественной войны и Герои Советского Союза обслуживаются вне очереди».

Интересно, а что закладывали Герои — свои золотые звездочки?

Наверху, в зале, где выкупались вещи, было веселее — лица у людей были не такие обреченные, да и разговоры в очереди звучали громче. Молодые женщины, отойдя от окошка, сразу надевали свои кольца и серьги и, обретя прежний независимый вид, выходили на улицу. Они были почти уверены, что больше никогда не вернуться в это мрачное бальзаковское заведение. . .

Потом наступило время, когда часы отдыхали — лежали себе в бабушкиной коробке из карельской березы. . .

После маминой смерти я передала часы Андрею. В одну из своих поездок в Италию он их починил — в часы вставили стекло и секундную стрелку.

Я заметила, с каким удовольствием Андрей пользовался часами — нажимал на рифленое колесико, чтобы открылась крышка, и, посмотрев на циферблат, защелкивал ее. Часы закрывались, но успокаивались не сразу — внутри еще некоторое время слышалось легкое дребезжание пружины.

Носил Андрей часы в нагрудном кармане. Наверное, ему было приятно, что мамины часы тикают где-то возле его сердца. Только недолго они ему послужили. . .

Теперь эти часы за границей, у его среднего сына. Их история продолжается. . .

Сергей Юрьенен

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ

Роман

ЛЕД

Инес лежала, раскинув руки. . .

— А если ребенок?

— То лучше девочка.

— Почему не сын?

— Сыном был я, — ответил Александр. — Врагу не пожелаю.

— Проблемы с мамой?

— Не только. Со страной. Где всему моему полу не повезло.

— В этом, по-моему, равноправие.

— Рабынь они хотя бы под ружье не призывают. К тому же — льготы по беременности. Мужчины больше раб.

— Ты — раб?

— И даже хуже. Гнусен раб, о состоянии своем не подозревающий, но раб, осознающий свое рабство и освободиться не пытающийся, гнусен вдвойне.

— Кто это?

— Первоисточники. . . То ли Маркс, то ли Ленин. Оба правы.

В моем отдельно взятом случае.

— А почему ты не пытаешься?

— А это? . .

— Я серьезно.

— Какие шутки? Женщину зачал. Родил ее на свободе. И это будет мой личный вклад. В борьбу за освобождение человечества.

— Большого ты от себя не ждешь?

— Если я что-нибудь и представляю, то только в этом смысле. В социальном — полный нуль. На грани перехода — алгебру помнишь? — в отрицательные величины.

Вот с кем она осталась. . .

За дверью гостиной вздохнула русская борзая, а когда за угол свернул автобус, у Инес возникло четкое ощущение — карточный домик. Ничего более серьезного здесь не построить. Не надо и пытаться. Выбросить из головы все заботы. Начиная с аспирантуры, которую ей придурили в Институте мировой литературы, чтобы продлить на два года визу. Забудь, сказал Александр. За месяц сделаю.

Он объехал книжные магазины Москвы и вернулся с целой сумкой цененных эмигрантских романов, переводимых с испанского во имя «пролетарского интернационализма» — в поддержку борьбы с франкизмом. Никто их здесь не открывал, кроме Александра, который сформулировал тему ее ученой диссертации: «Насилие в испанской литературе». Ей было наплевать. Жить, заниматься любовью. Пока он не рухнет — карточный домик на задворках Европы.

На этот раз язык не повернулся предположить: «Агент».

Выложив досье на ее советского избранника, они сами выбрали главный аргумент.

Капитулируя, тогда, в Крыму, отец сказал:

— В конце концов, ты у меня жила не только во дворцах, в бараках тоже. Время консервов хочешь повторить? Тараканов Сен-Сан-Дени? Психолог бы сказал — регрессия. Но я политик, а ты человек уже взрослый. Делай свою игру. Только помни... Survivre. Это главное. Обещай, что выживешь.

Если бы не Советский Союз...

Это было бы невозможно в ГДР. Или на Кубе. Не говоря о Китае. Только в России, где Система постоянно давала сбои, столь раздражавшие рациональных «младших братьев» из европейских партий. Система в России плохо работала из-за «головотяпства», «ротозейства», «халатности» — чистых проявлений человечности. Благодаря этому, все у них и длилось: безысходность повышает сексуальную неистощимость. Главный советский афродизиак — когда без вариантов.

— Без — или почти...

Осенний призыв в армию прошел, а он остался на свободе: как минимум — до весны. Исключенный из университета, не явился, чтобы, как положено, ликвидировать свою временную, до конца учебы, московскую прописку в паспортном столе отделения милиции Дома студента МГУ; а те, со своей стороны, разыскивать муравья в мегаполисе не стали... В результате, когда к ним в Спутник нагрянула облава (перед круглой годовщиной Октября Москву проверяли на благонадежность), Александр проскользнул сквозь сеть; он жил хотя и не в законном браке, но на легальных основаниях.

Милиция откозыряла.

«Прописка» — «временная», «постоянная». В этих материях, которые представлялись ей чистой абстракцией, Инес разобралась только тогда, когда Александр стал искать работу, являясь к вечеру заляпаный грязью и промокший.

— Сорвалось...

И воспитателем в рабочем общежитии, и в типографии, и книги продавать в метро с лотка... Но почему? Прописка ведь есть? Да, но «временная». А с «временной» работать здесь нельзя. Ты же работал? Какое... Дырку затыкал. Нет, мон амур. Обозначалось, что только жить и можно. Хотя и «временно» — это уже немало. Но вот вопрос: на что?

По ночам на кухне он писал рассказ — в надежде «потрясти всю мыслящую Россию», а заодно и подзаработать: по крайней мере, на три дальнейших месяца. Но нужно было обеспечить ближайшие ночи хотя бы куревом и кофе. Отложив очередной рисунок, образ подсознания, на котором нагая красавица в монашеском чепце поддерживала интеллектuala, готового рухнуть под тяжестью воспламененной головы, Инес поехала в Москву, где в самом центре жила в изгнании Испанка — самая известная после Кармен и «Махи обнаженной».

Франкизм считал ее инкарнацией Дьявола.

Она была лучший друг отца.

Сын ее погиб под Сталинградом. Зато у внука — единственный в Москве «харлей».

Рост выделял Испанку не только среди соотечественников.

У нее были серебряные волосы, и, как обычно, она появилась в черном — контрастируя с салоном, пестрым от подарков Пикассо, Миро, Альберти и прочих почитателей. На людях носила темные очки. Сейчас она была без очков. Череп, обтянутый черепашьей кожей, был исполнен достоинства — уже вневременного. Что казалось невероятным, ибо в детстве дочь и внучка баскских шахтеров была хрупкого здоровья.

— Ты не в Париже? — удивилась Пасионария.

— Я решила остаться.

— Мужчина?

— Да.

— Все мужчины одинаковы. Одни, правда, нежнее других, но, в общем, разницы никакой. Возвращайся к родителям. Русский?

— Да.

— Эти еще и пьют.

— Не он.

— Он кто?

Инес смутилась: она помнила, как «Парижская группа» исключала из своих рядов Хорхе Семпруна из-за скандала вокруг фильма по его сценарию «La guerre est finie» с Ивом Монтаном в роли испанского коммуниста. Знала и про отношения Пасионарии к испанскому роману Хемингуэя «For whom the bell tolls» — тридцать лет не мог появиться в русском переводе. Инес откашлялась:

— Писатель.

— И не пьет?

— Нет.

— Зарабатывает мало?

— Пока ничего.

Пасионария промолчала.

— Приведи его как-нибудь. Вон пепельница твоего отца. Можешь курить. Хочешь кофе?

Вернувшись, Инес выложила два бифштекса, завернутых в кальку, и десять пачек «Явы».

— Откуда?

Она бросила на рычажки машинки сотню.

— С коммунистическим приветом.

— От кого?

— От Долорес Ибаррури.

Глаза его раскрылись:

— Еще жива?

Для Александра это была история — пройденная в школе, смутная, эмоций никаких не вызывающая. В отличие от веера червонцев. Вот только литература, которую финансировал Почетный президент компартии Испании, оказалась более чем зыбкой почвой. Рассказ вызвал энтузиазм и был поставлен в номер, но потом. . .

— Сняли.

— Почему?

— Глумление, говорят. . .

Тогда она уже была с животом и дома, отключая сознание, рисовала девочек-подростков — пока французские фломастеры не пересохли.

Коммунизм.

Москва.

Зима.

Жизнь спустя, глядя из окна на тошненькие кипарисы по ту сторону бетонной стены, она задает себе вопрос:

«Неужели все это было?»

Занавесившись от блеска проливного дождя и завернувшись в одеяла, изнуренные любовью и голодные, они сидели перед телевизором. Дрянь. Фанерный ящик с маленьким экраном, который Александр, дитя эпохи дотелевизионной, никогда не включал — тем более что вместо тумблера был штырь. Но Инес подобрала ключ — прямо на улице. Обыкновенный детский, для заводных игрушек.

Фильм назывался «Ленин в Октябре». Но главным в Октябре был Сталин, а полудохлая телетруба, размывшая образы 1937 года, превра-

шала все это в чистый мазохизм, которому до послепраздников альтернативы не было.

И вдруг: телеграмма.

— ¡ Padre! . .

Ливень, ажиотаж.

Пойманное на выезде из Спутника такси не решилось въехать под козырек гостиницы на пандус, который только что освободил огромный лимузин с пуленепробиваемыми черными стеклами.

— Вам помочь, молодые люди?

— Я к отцу.

— Работает у нас в Системе?

— Живет.

— Прошу вас. . .

Лифт.

Второй этаж. Бесшумный ковер, редкие двери. Перед последней сияет пара мужских туфель со стертым золотым ярлыком.

Она входит без стука.

— ¡ Padre?

Из-за синего занавеса сильный, усталый, сердечный голос:

— Ss-i. . .

Инес уходит за занавес, а ее советский избранник, отмечая на своем лице улыбку растроганности, регистрирует детали сладкой жизни «наверху»: элегантный чемодан со знакомой биркой «Air France», шелковый галстук в «крапинку», переброшенный через висящий на стуле пиджак, минеральную воду «Боржоми», отличающуюся от той, какую он видел, никелированную открывалку, окурок американской сигареты в хрустальной пепельнице и три билета во Дворец съездов на праздничный концерт.

— Алехандро? . .

Седой, смуглый, могучий, полный жизни родственник, с которым он не решается быть на «ты», как это принято среди испанцев, босой и в шелковых кальсонах, приобнимая, шлепает по лопатке:

— Кэ галь, Алехандро?

— Живем. . .

Его за это одобряют:

— Бьен!

Инес завязывает отцу галстук.

По осевым линиям столицы они едут на «Чайке» из гаража ЦК КПСС (целая комната с диваном и занавесками), постовые милиционеры, выпуская прицепленные к запястьям регулировочные палки, берут под козырек.

Кремль.

Пять лет проживший в столице, впервые въезжает Александр за эти стены — безлюдные внутренние площади, ели, соборы, башни. . .

Дворец съездов освещен.

За стеклом в пилонах, воспетых архитектурно чутким Вознесенским, — муравейник. Белый мрамор фойе. Гигантский зал. В центре порталной арки, на красном луче, — левый профиль, лысый с эспаньолкой — при могучем срубе шеи. Ансамбли песни и пляски — от каждой «республики» по одному. Изнурительно-помпезная скука, от которой в антракте они сбегают — в ресторан.

Предполагая, что шофер сказанное по-французски подслушать не сможет, она говорит:

— Nul.

На что Висенте отвечает, и возможно, искренне, что «Танец с саблями» всегда ему нравился.

Как советский, Александр держит язык за зубами. Потому что, как советский, думает при этом грубо и однозначно: блевотина.

— Не одни мы умные, — говорит Висенте, входя в ресторан, где изысканно и одиноко питает себя персонаж с гофрированной прической.

Инес не знает, кто это, но Александр, в поисках работы заглядывающий и в газетные щиты, шепчет:

— Уругвайский генсек. Живет, правда, в Москве. Товарищи со Старой площади мне рассказали анекдот. . .

— Наверное, похабный, — предполагает Инес.

— В какую эпоху мы живем?

— По-моему, в гнусную.

— А объективно?

— В брежневскую, — решается и Александр. — «Зрелого социализма».

— Сначала был матриархат, потом патриархат, а сейчас, сказали мне, секретариат. Выбирайте, — и Висенте открывает меню. На пяти языках, не исключая и русский. Александр чувствует себя как за границей. Как в чужой стране. Чтобы вернуться, позарез необходима рюмка водки, но он знает, что лед под ними тонкий. По пути его предупредили: никаких инициатив. — У вас есть даже испанское?

Нагло-красивая соотечественница Александра с кружевной наколкой в волосах советуется французское.

Тень набегаёт на лицо Висенте:

— Я бы предпочел «Риоха».

«Риоха» — настоящее вино, теоретически Александр это уже знает, но, сдержав национальную потребность чокнуться, он после первого бокала испытывает дурноту, которой не бывало после «бормотухи». Это настоящее подкатывает к горлу. Организм не принимает. Может быть, он уже мутант? Но кошмар начинается, когда приносят заказанный им шашлык по-кавказски. Для возвращения чувства собственного достоинства заключенным в американских тюрьмах первым делом приводят в порядок зубы. Но он-то на свободе. А за волю вольную приходится платить. Среди прочего — зубами. К стоматологам и вообще медицине доступа у нелегала нет. С обнаженными нервами во рту он пытается спасти свое достоинство, сознавая, что, изящно разделяя диетические сырники, отец Инес, согласия на брак еще не давший, изучает его боковым зрением профессионального подпольщика. . .

И это ад.

Виски сыреют от напряжения.

По настоянию Висенте их отвозит черная машина. Язык они держат за зубами. Шофер тоже. Но он настолько шокирован выпавшим маршрутом, что аура вокруг него пульсирует. Седоки не выдерживают и, несмотря на то, что ливень перешел в ноябрьский жидкий снег, просят остановить на въезде в «спальный город».

У свалки.

Где диафрагма разжимается, выталкивая все обратно: кофе, мороженое, шашлык по-кавказски, испанское вино «Риоха», официанток, гэбэшников, генсеков, черные машины, «Танец с саблями» (и тот, что впрыскав-всмятку сапоги), воспетый авангардистом Дворец съездов, стены древнего Кремля, праздничную Москву очередной Великой Годовщины и — Господи, как хорошо! — ебаный мир в придачу.

— Пардон, — он утирается. . . — Сказала?

Она не сказала.

Не смогла.

Шесть плюс пять по рогам. Одиннадцать лет заключения. Не как в Карабанчеле — без преступления. И добровольного при этом. Тихий ужас охватывает ее при мысли: неужели ничего хорошего?

Невозможно, нет. . .

Постель. Несмотря на безумный тот, беспощадный, бритвенно-острый секс — производное от взаимных комплексов и умолчаний. Это было. Было — на разрыв аорты. А разговоры? Постель как диалог? Воспаленные речи дочери оратора, поднимающего толпы, на фоне его заблокированных заиканий? И постель как лоно бесконечной зимы, где в тишине снегопада она, подложив подушку и не замечая, что он уже отключился, переводит вполголоса то, что им по-русски все еще недоступно. . . Разве она не любила ту свою роль?

Медиум. Культуртрегер. Переводчик. Та самая, пушкинская, почтовая лошадь прогресса. Вполне альтруистичная, увы.

Магнитофон бы. Перепечатать сотрясение воздуха в бетонных стенах.

Библиотека бы осталась.

Запрещенная.

То ли кружку пива хватив на морозе, то ли от добытых в уличных боях апельсинов, а может, просто от напора сил, достойных лучшего применения, он возвращается навеселе:

— Мон амур!

И сразу:

— Что с тобой? Глаза как пистолеты. . .

Она в упор:

— Отсюда нужно выбираться.

— В Париж?

— В Москву.

— В Париж легче.

— Александр, я серьезно. Доктор Пак сказал: «Выбирайтесь в Москву, пока не поздно. Вы не представляете, что здесь творится. Сто тысяч человек — и без роддома». А рожают как! Знаешь, что он сказал?

— Ну?

— «В такси. Если водитель повезет. . .»

Он сел, сжал голову.

— Александр?

— У?

— Нужно что-то делать.

Но он оцепенел.

Что и понятно. Мобильность не в характере зимы. Но жизнь, хочешь не хочешь, есть движение.

Вот только — куда?

— Поскольку русские морозы только начинаются. . . — Из чемодана Висенте вынимает огромный пакет от *Galleries Lafayette*. — Тебе.

Дубленка. Ослепительная. Белая как снег. мех воротника ласкает щеки. Инес поворачивается от зеркала и чувствует сама — глаза сияют. Тем более что оторопелому избраннику протягивается кабинетный пиджак с замшей на локтях:

— В Лондоне купил. Примерь.

Александр себя не узнает.

— Вот! Сразу видно, что писатель. А это, — вынимая шаль и по-испански: — Для его матери. Они уже здесь?

Помолвка. . .

Встречи миров.

Один из которых — и это видно уже издалека — заранее в обиде. Так они переминаются, поскрипывая снегом, на фоне полутемного дома. Отморозивший здесь ноги еще в 41-м в составе сибирских дивизий, которые спасали Москву, отчим молчит, а мать неудовольствия не скрывает:

— Прилетаем — никого. . .

— Столичные дистанции. . . — бормочет блудный полусын. — Ни телефона, ни. . . Это Инес.

— Очень приятно. Мы уже восвосяси собирались. Не солоно хлебавши. . .

Беспощадной правды о сыне-нелегале родители не знают, но хватает и того, что есть. Учебу никак не кончит, вбил в голову себе, что «писатель», а вот теперь еще и это. . .

— Иностранка, значит, говоришь?

Мать моет тарелки после концентрированного французского супчика из спаржи, отчерпав который, отчим удалился до утра — по военно-полевому принципу: «Недоешь — переспишь».

— Нет, — отвечает Александр. — Цену набивает.

Сарказмы эти игнорируются:

— Я почему? Акцента никакого, излагает гладко. Наши не все так говорят. . . И с виду тоже, То ли еврейка, то ли грузинка. Я думала — Софи Лорен. Или эта, которая тебе так нравилась.

— Кто мне нравился?

— Уж и не помнит. . . Моника Витти.

— Это итальянки.

— А она?

— Испанка.

Помолчав, мать говорит:

— Зарежет.

— За что?

— А как Кармен.

— Это Кармен зарезали, а не она.

— Видишь? Они такие.

— Какие?

— Дон Кихоты в облаках, а не по-ихнему — сразу за нож. . . — Чтобы из ванной не услышали, голос понижается: — Папаша ее. . .

— Что?

— Партийный шибко?

— Лидер. . .

— А с нашими-то как? Твой все переживает, дужки очков изгрыз. На партсобрании им говорили. . . Какие-то там «евро» появились, так, вроде, наши их не очень. Сам знаешь, как у них. Вчера «Москва — Пекин, идут-идут народы», сегодня это. . . Хуйвэйбин. Тьфу! Не захочешь — скажешь. А ты не смейся, а подумай лучше. Куда, сынок, влезаешь. . .

— Никуда я не влезаю.

— Дома жил — все собачились. Сталин, Солженицын, лагеря. . . Переменился, что ли?

— Почему? Остался каким был.

— Тебе видней, конечно. Только не для того я тебя рожала, чтобы отдавать им за понюшку табака.

— Кому?

Намертво заворачивая кран, она смотрит обреченно и как на последнее говно, которое только у матери способно вызвать жалость:

— Кому-кому. . . Сам знаешь.

Инес они, скорее, нравятся. Как из кино пятидесятых. Предстоящая бель-мер похожа. . . она не помнит, на кого, но отчим — чистый Берт Ланкастер.

— Понимаешь. . .

— Спи. Как будет, так и будет.

Висенте приехал в Спутник с билетами в Большой театр. Чтобы после ритуала увезти новообретенных родственников на «Анну Каренину» — с Плисецкой.

Но до спектакля было еще время.

Сторона Александра вручила испанцу ответный дар.

Матрешку.

В присутствии старшего по званию советский почти бо-пер и Берт Ланкастер стоял столбом — почти по стойке «смирно», но, к счастью, в позиции невмешательства. Тогда как бель-мер, следуя неизвестному на Западе принципу «ругай своих, чтобы чужие хвалили», для начала обрушилась на сына — не то чтобы заблудшего, но как бы уже гибнущего. Слушая в синхронном переводе Инес очередную дозу утешений со стороны Висенте, она начинала горестно кивать. На мякине нас не проведешь — такой имела вид бель-мер. И в этом смысле самовыражалась — с помощью Инес, которая переводила с отрешенным видом.

Висенте излучал все больший оптимизм по поводу выбора своей дочери.

— Все у него будет хорошо. И диплом получит, и книгу свою напишет — увидите. Еще и не одну.

Мать вздыхала:

— Нашему б теляти. . .

На что, опуская ладонь Александру на колено, Инес переводила с испанского:

— О чем вы говорите? Молодой, красивый, спиритуальный, полный сил. . .

— Каких же сил, когда он болен. Ничего, что я, сынок? Скрывать от суженой нельзя.

На лице Висенте сияющая маска отслоилась:

— ¿Que le pasa?

— Что с ним? — перевела Инес.

— Язва.

— Какая?

— Двенадцатиперстной.

Висенте отмахнулся:

— Во Франции у каждого второго. . . Пройдет, как не было. Любовь излечит. Главное, что любят они друг друга.

— Любовь сыт не будешь, говорят у нас. . .

— Ну это как-нибудь.

— А как?

— Ну, будем помогать из Франции.

— Потому что нам тут помогать не на что, а на стипендии свои не проживут. Тем более с ребенком.

Как машина, она перевела и этот вопрос:

— Какой ребенок?

Мать Александра возмутилась:

— Меня что, в этом доме за дуру принимают?

— Нет, — прервала Инес посредничество в деле взаимопонимания миров. — Мой отец не знал, что я беременна. *Estoy encinta, Padre?*

Висенте окаменел.

Инес тоже.

Оставшись без перевода, бель-мер продолжала одностороннее общение:

— Чего таить? Теперь свои же люди. Стыдиться перед Западом нам вроде не за что. Ни алкоголиков, ни этих — венболезней. Дурдом нас тоже, слава Богу, миновал. Так что с наследственностью все о'кей. Как вы говорите. Или только в Америке?

Это был «скверный анекдот». . .

Под человеком хоть и нелегальным, но с остатками достоинства, каким он был до этой международной встречи, разверзлась бездна унижения, и он летел туда со всем, что было за душой: с неисправимой, все еще красивой матерью, с бедным, но честным отцом, сталинистом, кото-

рый в своем изгнанническом сибирстве даже Федора Михалыча не признавал за русского.

И все это срывалось в пропасть.

Вися в полете. . .

Поскольку дна не было.

Удерживая пепел на весу, испанский тесть затягивался как-то из-под сигареты.

Александр встал.

Отсутствующим пахом уперся на кухне в подоконник.

Внизу терпеливо сверкала «Чайка» — черное зеркало на пылающей голубизне.

Вошла Инес.

— Найди мне способ самоубийства.

Отобрала сигарету, затянулась:

— А ты мне.

Берт Ланкастер, в лице не изменившись, одевался сам с присущей ему обстоятельностью, тогда как галантный иностранец — прощелыга и, надо думать, ловелас — подавал матери пальто, на котором она, стыдливо оглядываясь, ловила, пытаясь скрыть руками, какие-то дефекты — эти вот вытертости, что ли?

— А вот спросить насчет «евро». . . Чего молчишь, Михаил? По-русски-то понимает. Товарищ Висенте? Не знаю, как по отчеству. . . Я чего. . . У нас в России говорят: высоко взлетел, не пришлось бы падать. Так вот, все эти «волги»-«чайки», марецкие-плисецкие, Кремль-Москва. . .

С хищной улыбкой Висенте осматривал свою западноевропейскую шляпу.

— А не получится как в Африке? Как того, Александр? . . Чумба? Чомба?

Даже отчим крикнул:

— Эк тебя. . .

— А что? Я — мать.

Со шляпой в пальцах Висенте откуда-то издалека смотрел на дочь, которая очень спокойно спросила:

— Что вы имеете в виду?

— А то, что раньше во всех газетах: «Чомбе! Чомбе!» Сейчас открой хоть «Правду», хоть «Известия». Где Чомбе? Был — и нет. А эти что тогда — на шею Михаилу?

Достала.

Глаза Висенте сверкнули гневом, но, надев шляпу, испанец снова улыбнулся:

— Гарантий требует? Переведи. Русский сказал. . . Игры не будет. Ничего не будет.

Не без кокетства мать взяла его под руку.

Александр поймал полу суконной шинели: «Ты мелом где-то. . .» Отчищая, добавил, что в Большой театр простому смертному попасть непросто, тем более на Плисецкую.

— А-а, — разжал горло отчим. — За меня не беспокойся. Вернусь, сынок, домой, литр водки выпью и буду жить как не было.

Сжимая забытую отцом матрешку, Инес смотрела вслед. Она дернулась, но Александр заметил, что на лице ее блеснуло.

На снегу догорал закат.

Не исключая возможности, что мать подслушивает, Александр говорил шепотом:

— На чужой взгляд — конечно. Но не просто патология. Реакция на то, что с ними делали. История за этим. Та самая, на юбилей которой прилетает твой. Здоровая бы психика не вынесла.

Но Инес била дрожь:

— Я их боюсь.

Висенте ждал в фойе «Октябрьской».

— Замерзла?

Расстегивая дубленку, Инес мотнула головой — нервное. По мраморным ступеням они поднялись в гардероб, где без присмотра, как при коммунизме, висела одежда посетителей гостиницы для сотрудников Международного отдела.

Он помог ей раздеться, предупредителен был, как с больной. Усадил за отдаленный столик. В обмерзшее стекло смотрели заснеженные ели. Снег валил во внутреннем двореке — нетрунито-гулком. . .

Ужинали без вина.

Он тоже заказал себе кофе.

— Что я могу сказать? Сама все понимаешь.

Она молчала.

— Возвращайся.

— А он?

Пепел Висенте никогда не стряхивал — раньше, во времена ее ранней юности и черного табака, он пачкал свои рукописи беспощадными «голузами» без фильтра. Сейчас он узил зрачки на серебристом столбике, который, даже при прочности американского пепла, грозил уже сломиться.

— Откуда он, ты видела.

— А ты откуда был?

— Ну, я. . . Какая-никакая, а Европа.

— Россия тоже.

— Была, согласен. Задолго до его рождения.

— Ты же всегда нам говорил: неважно, откуда человек, важно — куда.

— А куда?

Она молчала.

— Куда отсюда можно? — сказал он. — Разве что на Запад. . .

— А если?

— Антикommунистов нам и без него хватает.

Удержав пепел до самого фильтра, Висенте не уронил его и по пути к пепельнице. При всей почвенной мощи, руки у него были изящные. Веки окрашены почти коричневым изнеможением. На «черную овцу» семьи взглянули умные глаза человека, умевшего подчинить своей власти и воле тысячи людей.

— Я понимаю народовольцев, которые ходили в народ. Но этих даже народом не назовешь. Черт знает что. . . сброд одичавший. . .

— Благодаря кому?

Он развернул ладонь, предотвращая демагогию.

— Ты родилась во Франции, там твоя жизнь. Где разум, где культура. Подумай. Место в лицее еще свободно, кстати. . .

В фойе, в огромных кожаных креслах, они успели выкурить еще по сигарете. Созерцая снегопад. Во внутреннем двореке, таком удобном для расстрела.

К ним наклонились:

— Машина у подъезда.

Дубленки на месте не оказалось.

Ее парижской — белой. . .

Цековские пальто и шубы висели как ни в чем не бывало, а крюк, на который отец повесил свой подарок, был пуст. Дерево под ним отливало темным лаком. Перевесили? Но с обратной стороны не было тоже.

Они обошли весь гардероб.

— Не понимаю. . .

— Украли.

— Из закрытой гостиницы? Чужих здесь нет.

— Тогда свои?

— Не впадай в цинизм. Несчастную дублинку, когда у всех норки?

— Значит, снова Кафка.

— Подожди. . . — Взяв себя за левое плечо, отец потирал его большим пальцем.

Они спустились в проходную. Снег за стеклом валил по-прежнему.

У конторки, спиной к дежурному, отец понизил голос в трубку, хотя говорил по-испански. . .

— Сейчас приедут. Поднимись ко мне.

В номере пахло, как в «Красном поясе» Парижа, когда он работал. На столе — страницы, продавленные крупным почерком, таким корявым, что глаза ей обожгло.

Вернувшись, он отнял рукопись:

— «Правда» заказала статью, я подумал: деньги тебе не мешают. Может быть, порву.

— Почему?

— Потому что ты права. Они.

— Как ты узнал?

— ЦК сказал, ЦК боится, что вырвать из их когтей уже не сможет. Им — для работы.

— Именно моя?

— Размер, говорят, редкий. ¡Los bandidos!

Номер отозвался резонансом встроенных микрофонов, но Висенте, кивнув ей в знак того, что он — под самоконтролем и сердце бережет, продолжал кричать про уголовников с большой дороги, которые раздели среди Москвы дочь — и где? В международном штабе движения за гуманизм! Прогресс! Демократию! Свободу! Что скажут товарищи в Европе? Париже? Риме?

Она затягивалась, пальцы дрожали. То была не трибунная риторика. Единственная форма общения с потусторонним миром, где-то в своем бункере неторопливо мотающим из-под сердца идущий голос на огромные и равнодушные бобины.

Он поднял кулаки.

— А те, в Испании? Те, кто рискует днем и ночью? Арестом, пытками, тюрьмой, гарротой? Те, кто томится в одиночках? В Бургосе? В Карабанчеле? Сотни заключенных по стране за коммунизм?

Сигарета брызнула искрами — рывком она прильнула к этой груди, под пиджаком обхватывая, сжимая свои руки за каменной спиной; он был как ствол, как ствол над корневищем, только сердце забухало, когда осекся и взял ее за голову, а она прижалась к влажному шелку матерью выбранного галстука, к плотности рубашки, к запаху табака, одеколону, пота — тем сильнее, чем ужасней было отпустить, тем крепче, чем больнее жгло за этот невозможный, немислимый позорный, чисто русский выброс — оправданный разве что местом действия.

— ¿Hija? . .

Висенте постучал коленом в дверь, когда советский суженый его дочери, продолжая изыскания на тему насилия в испанской литературе и обложившись наконец-то интересными (Nada! Боже, какое слово!) романами Кармен Лафорет и Камило Хосе Села, вникал в экзистенциальные глубины «тремендизма» — в буквальном переводе — «ужасизм».

— Где она?

— Спит.

— Бери. . .

Картонка с сувенирной водкой. Висенте повернулся боком, подставляя еще две тушки в магазинной обертке, замороженные на бегу. Пакет набит был так, что при попытке повесить его на вешалку соскочил и шмякнулся об пол. В нос ударило овчиной.

— Нашлась?

— ЦК замену подобрал.

— Какой ЦК?

— ЦК КПСС. Надеется, не слишком велика. Пещерная шкура, конечно, но теплая, смотри. Для вашей жизни даже адекватней.

Сдвинув на затылок шляпу и расстегнувшись, Висенте бросил на стол конверт:

— Деньги.

— Спасибо.

— Не за что, Алехандро! Алкоголь не для того, чтоб напиваться с горя.

— Угу.

— А для наружного лечения. Слышишь?

Завершив сеанс внушения выразительным — суггестивным — взглядом, Висенте указал на тушки:

— Как это по-русски, зайцы?

— Кролики.

— Она говорит мне: «Нечего есть». Просто вы долго спите. Утром у вас в магазинах есть все. Я сделал эксперимент. Пошел в гастроном, рядом с отелем «Украина». . . Знаешь?

— Кутузовский проспект.

— И что?

— Там они все живут. Андропов. Брежнев. У них не только кролики — горилка с перцем.

— А здесь?

— А здесь рабочие.

— И что?

— И ничего.

— Ты говоришь как диссидент.

— Как есть. . .

Висенте застегнулся:

— Веди меня.

— Куда? — опешил Александр.

— В ближайший магазин. Куда вы ходите?

— Ну что вы. . .

— Подать тебе пальто?

Шофер, отгонявший детей от «Чайки», схватился за хромированную рукоять, но Висенте отмахнулся.

Висенте изучил пустые крюки в мясном отделе. Под витринным стеклом стоял противень с белым комбижиром. В отделе бакалеи он взял с полки ободранный брикет.

— Что это?

— Каша-концентрат.

— Гречневая?

— Да.

— В школе Коминтерна нас кормили. Полезный продукт. Железа очень много. . . А это?

И снял куль.

Выжидательно шевеля усами, из серых макарон на них смотрели тараканы.

Висенте отшвырнул продукт.

Вслед им кричали:

— Чего кидаешь? Раскидался! Старик, а все туда же! Фулюганить! Еще и в шляпе. . .

На морозе Висенте схватил его за рукав:

— Ты видел, что они едят? Советские — как ты. Так брось в лицо им этот паспорт! Соjones есть? Мужчина?

Ощущая, что соjones сжались в кулак, Александр кивнул...

— На твоём месте я бы не стерпел!

— Да... Но как?

— Сам думай! Я в своё время взбунтовался.

Выпустив пар ярости, испанский тесть молчал. Под тонкими туфлями хрустело, а на обледенелой дороге Александр подхватил его за локоть.

На виду у шофера, наблюдающего в зеркало заднего обзора, Висенте взял его за плечи.

— Прощаемся надолго. Может, навсегда. Еду вовнутрь. Но перед этим что-нибудь придумаю. Теперь ты мне как сын. Понял? Береги её. Адьос.

И растворился в сумерках. Шел снег.

Овчиной за дверью разило по-деревенски. Дубленка была брошена на пол кверху ярлыком: «Made in Mongolia».

Держа себя за локоть, Инес затягивалась натошак. В свитере и колготках — как проснулась. Новенькие червонцы с красноватым Лениным разлетелись по столу. Три бутылки высились у нарядной коробки «50 лет СССР». Бумага, из которой торчало восемь лап, набухла, разбавленная кровь стекала, капая на линолеум.

— Откуда мерзость?

— Падре привез.

— Где он?

— Не хотел тебя будить.

Глаза сверкнули.

— Он уехал?

— В Испанию. И знаешь, что сказал? Что я ему как сын.

— А мне, чтоб бросила тебя и возвращалась.

Александр криво улыбнулся:

— Разве?

— Да.

— Ну и что... Единство противоречий. Живая жизнь. К тому же это не последнее слово. И, может быть, он прав...

— Что ты сказал?

Она размахнулась — слетев, ударившись о плинтус, кролики выскочили из обертки, но, окровавленные, удержались вместе — сцепленные льдом намертво.

— Нет, повтори?

«Московская» рванула об стену, как граната. Б-бах!

За ней «Столичная»...

Ба-бах!

«Посольскую» Александр перехватил.

На носу был Новый год, в самый канун которого — с авоськой апельсин, хотя и марокканских, — он все таки остановился у щита с газетой, которую никогда не читал. Потом, перекинув тяжесть на локоть, раскрыл отделанную перламутром миниатюрную толедскую наваху, подарок Инес к их Рождеству, и, оглянувшись, резанул из «Правды» квадрат слоеной бумаги, засунул за пазуху и, ощущая, как колотится под ним единство противоречий, унес в метельный сумрак.

В отношении жилплощади Висенте доказал, что «пролетарская солидарность» не звук пустой.

Лет десять назад — Александр был пионером у себя в глубинке — Висенте, находясь в Испании с паспортом на вымышленное имя, не дождался в мадридском кафе товарища-нелегала. По пути на встречу

тот был арестован агентами политической полиции и во время допроса, согласно официальной версии, выбросился из окна.

Цивилизованный мир — включая Александра, поставившего подпись где сказали, — возмущен был этой трагедией в Испании.

Брат погибшего героя жил в Москве.

Считая себя испанским писателем в изгнании, Серхио вынужден был держаться журналистикой — где брали. Но, пережив микроинфаркт, с «фрилансом» решил покончить и подписал контракт с Радио «Пиренаика», которое финансировалось международными силами прогресса и доброй воли. Находилось Радио в Румынии, куда Серхио и собирался отбыть по весне — вместе с женой Надеждой и русско-испанской их дочерью Ньюшей. По просьбе Виценте он согласился на время отсутствия оставить казенную квартиру Инес и Александру.

Ехать было страшно далеко.

Но это была Москва.

Город.

Серокирпичные дома были построены здесь на совесть — еще пленными немцами. Улицы назывались: Куусинена, Георгиу-Дежа, Рихарда Зорге — что придавало кварталу известный космополитизм.

Лифт даже...

На последнем этаже они вышли.

Собаки за дверью пытались перегавкать музыку.

Инес сказала:

— «Who».

— Что ты имеешь в виду?

Надежда открыла с сигаретой в руках. Серхио не было. Коридором, где из-за первой двойной двери ревели «Ху», а вторая, писательский кабинет, была прикрыта, хозяйка привела их на кухню объемом с операционную. Тут был диван, табуреты, заставленные бутылками из-под «Жигулевского», и бывалый парень с «Беломором» в стальных зубах.

— Сосед. Сергунчик...

Мигнув Александру, поскольку Надежда была старше, парень добавил:

— Но лучше Серый. Я пошел?

— Жена его в клинике врачом, — сказала вслед Надежда. — Хороший парень. «Колеса» мне приносит.

— Какие?

— Против депрессии. Международный брак, ты думаешь, подарок?

Инес взглянула на влажные дырки горлышек:

— А совместимо?

— Самый кайф. Еще бы беленькой добавить...

Намек Александр понял — в перспективе новой жизни все в нем обострилось. В качестве проводника в «отдел» к нему прикрепили дочь Ньюшу. Русская курносость, нерусская длинноноготь и горячие глаза с невиданным разрезом. После стольких школ и стран, которые она уже сменила, невозможно было представить, что в ней творится. Чтобы не быть одного с ним роста, девочка сутулилась, обнаруживая под нейлоновой стеганкой ломкость, от которой сжималось сердце.

На улице мело.

— Сигареты вы тоже будете покупать?

— А что?

У винного отдела Ньюша сняла варежку и сунула четырнадцать копеек, которые он всунул обратно в потную ладонь.

— Каких?

Она курила «Солнышко».

— Маме не говорите, ладно?

Ударивший в ноздри перегаром кубинских сигарет кабинет испанского писателя оказался не только спальней, но и гостиной — все вмещалось. Пепельницы были полны. Потолок, высокий и с лепниной, от никотина пожелтел и был обметан паутиной. Обои в винных пятнах и подтеках от кофе. По запущенному паркету вился телефонный провод в заклеяках от многократных перекусов. Маленькие, но с львиным рыком собаки изгрызли также ножки кресел и словари на нижних полках.

Книги, кажется, на всех языках — кроме русского.

— А Серхио где?

— Ищи, — ответила Надежда, которая, хватив водки с «колесами», развивала за его спиной тему невозможности смешанных браков, — в Марьиной роще столько было ухажеров! Свои в доску, заводные, с гитарами. Выбрала, дура. Когда не пишет, жить не может, а пишет — не живет. Хоть бы по-русски-то писал. . .

Она стала ругать эмиграцию — и в Варшаве паршивую, и в Праге, даже и в Брюсселе, про Москву уже не говорю, а что их ожидает под Дракулеску с Еленой его Ужасной, можно себе представить: «Боюсь, вернемся без него. Он же как без кожи. . .»

Лицо писателя показалось Александру очень испанским. Не только оливковость, но и общая их отрешенность. Только не взрывчатая, как у Висенте, а подавленно-угрюмая. Высокий и худой как жердь, изгнанник появился в заснеженном пальто, буркнул «буэнас тардес», вынул из бокового кармана бутылку, затем вторую и, опуская на столик, задержал на весу, демонстрируя черно-зеленые ярлыки «Московской».

— Сержик! Молоток! . .

При всем отсутствии интереса жильцов к среде обитания, в комнате было нечто не дававшее покоя Александру весь день: в одну из полированных дверей импортной «стенки», этой мечты миллионов, вбит был гвоздь. Большой такой гвоздила. Здесь все придется приводить в порядок, но этот гвоздь хотелось вырвать сразу — весны не дожидаясь. Зачем он — угрожающий? Александр подозревал «афишевание», надрыв. Но гвоздь оказался вполне рациональным: взявшись за расплющенную шляпку, писатель открыл бар.

Надежда предупредила:

— Ей нельзя!

Глянув на живот Инес, писатель оставил один хрустальный бокал взаперти. Как с разбитым позвоночником, он свалился в кресло с обколотым подлокотником, взял бутылку.

Закусок не было.

Тоста бы тоже, если б не Надежда:

— Еще раз со свиданьем! И за вашу новую жизнь. . .

Пили здесь не чокаясь.

Писатель курил «Partagas» и общался с Инес, но не столько фразами, сколько подтекстом, только им, эмигрантам, и понятным. Надежда повернулась к соотечественнику:

— За границей не был?

— Что вы. . .

— Разве что только это. Ухажеров все равно пересажали, а я, по крайней мере, повидала мир. И ты увидишь.

— Я?

— А вот попомнишь. Жизнь будет как в кино. Но только знаешь?

— Что?

— Сказать? Марьину рощу потеряешь.

Руки оттягивала пищащая машинка. Спонтанный подарок Серхио, который захлопнул за ними дверцу лифта:

— Буэнас ночес!

Инес подавила зевок.

Вьюга задувала так, что даже с тяжестью их уносило по льду. Инес вцепилась ему в рукав. Они свернули за угол. Тротуаров от проезжей части было не отличить — занесло заподлицо. Внизу, у перекрестка, где стоянки такси, светилась вывеска «Диета». В красноватом излучении Инес, зажимая уши, дрожала от холода и возбуждения:

— Неужели б-будем жить в Москве?

Изредка, не обращая на них внимания, мимо проплывали зеленые огоньки.

Один притормозил. Таксист склонился — с монголоидными скулами и в шапке с кожаным верхом, которая ему была мала.

— В Спутник! — крикнул Александр.

Шофер показал два пальца.

Не символическое «V» — двойной тариф.

Пишущую машинку он держал на коленях. Инес прижалась и уснула — несмотря на то, что на поворотах бросало так, что Александр пугался. Пьяный шеф, что ли? Но перегар только бензиновый. Слетев на набережную Москвы-реки, которая служила сейчас свалкой для сброса снега, таксист погнал вдоль сплошного сугроба парাপетов так, что все задребезжало. Давления на диафрагму Александр не вынес:

— Шеф? Будущую мать везу.

— Он везет. Я везу.

— Так и вези.

— Не бойсь...

И крутанул перед внезапным военным грузовиком. Александра ударило об стекло. В голову, справа, где эмоции. Хорошо, через шапку. А этот даже не извинился.

— Останови.

Мычание в ответ.

— Слышишь, нет?

Но тот, окаменев, гнал дальше.

Ни жив ни мертв, Александр созерцал, как отлетают Ленинские горы с горящим высотным зданием МГУ. «Красные дома» — квартал испанской эмиграции. Призрачные новостройки Юго-Запада. Свет фар летел через метель. Кладбище позади. Мост над Окружной дорогой с еще светящейся будкой ГАИ. Все. Москва позади. Встречного движения не будет. Расслабляя брюшные мышцы, Александр выдохнул...

И получил удар под дых.

Машинкой.

Колеса бешено вращались в воздухе.

Всей своей тонной машина рухнула — и от удара чугуном по яйцам глаза у Александра лезли на лоб.

Мотор заглох.

Шеф улегся на свою баранку, пристроился щекой и захрапел. Шапка отвалилась, оголив лысину.

Будущая мать проснулась:

— Мы дома?

Живот, из которого уже вылезал пупок, искусно завязанный в клинике Нейи-сюр-Сен, еще не выпирал из овчины, которая не красила, но защищала до колен, а выше Инес не проваливалась. Она оглядывалась и, стискивая уши, что-то кричала, предварительно завязав ему под подбородком шапку так, что он ничего не слышал, но, поскольку Дульсинья при этом улыбалась, он кивал: конечно. Им повезет. Все будет хорошо. Не так, как у других. Иначе.

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК

Бетон и кипарисы.

Дворец смерти вполне элегантен.

Отчасти, впрочем, напоминает бункер.

У себя в номере, который выходит на сверхсовременный похоронный комплекс Мадрида, столь новорожденный, что вечнозеленые деревья (еще и пинии — как женский символ) как бы не уверены в том, что примутся, пустят корни и пойдут в рост; в этой безличной гостинице, словно бы созданной именно для нее, сорокалетняя женщина чувствует себя абсолютно на грани — нет, синьор Алмодовар, не нервного припадка.

Изнеможения.

Опускаясь, она вытаскивает из-под себя газеты — местные, со вчерашним известием. Сил нет не только читать — отложить. . .

Закрывая глаза и откидываясь, она видит «Красный пояс» столицы, где в бетонной коробке, дрожащей от подходящих к заправке рефрижераторов, они, все четверо, попеременно всовывая руки, поедают оливки из темно-зеленой, с тусклым золотом банки, а он, как всегда возникающий из ниоткуда и снова туда уходящий (капли, стекая, блестя на плаще), с увлечением, как настоящий, постоянный отец, рассказывает им, галчатам (по тогдашним документам — детям овдовевшей m-me Durand), рассказывает про деревья в Андалузии, завезенные еще древними греками, — что с виду они жестяные. И как шумят, когда на склонах ветер. И что свежие плоды их с консервированными ничего общего, дети мои, не имеют:

«Они терпкие и даже горькие. . .»

Оливки.

Церковная золотистость тягучего масла из канистр, которые посылались потом ей с оказией на другую окраину Европы — где все обрывалось. . .

Противоположную.

Где в сознании стынет пятно.

Где все еще правит часть целого — партия. Та же, которая здесь находилась под запретом, когда Инес впервые решились отправиться «вовнутрь».

С ребенком.

Замызганные стекла вокзала Аустерлиц процеживают предзакатное солнце; Гемес, готовый разорвать любого, обеспечивает тылы, а мать, смущенно сунув деньги в задний карман ее джинсов, напоследок проверяет — как товарища, убывающего в тыл врага:

— Как тебя зовут?

— Эсперанса.

— Фамилия? По отцу? По матери? Где ты живешь?

Координаты Эсперансы, занесенной на этот раз почему-то в Осло, она вспоминает с запинкой:

— АЗ. . . Neuberggatten?

Мать говорит:

— Паспорт возьмешь в туалет, повторишь еще раз. Перед проверкой расслабь лицевые мускулы. И не волнуйся.

Поднимаясь в вагон, Инес ощущает, как поправилась после Москвы. Темные волосы восстановили свой блеск и завились колечками. Отражаясь в стеклах дверей, она чем-то напоминает себе героиню «Последнего танго в Париже».

Поезд набит испанцами и багажом.

Это «алеманес» — возвращенцы из Германии.

— ; Que bonita! Тебя Ньевес зовут?

Конспиративно держа язык за зубами, трехлетняя Анастасия энергично мотает головой.

Купе загромождает картонки с надписью «Telefunken»: один нам, другой родителям, а везем нелегально, сразу же сообщает соседка. «Зубы детям вылечили бесплатно, школа была хорошая», — рассказывает она о чужбине, а муж, вправляя на спине нейлоновую рубашку, засученную на могучих руках, то и дело выходит в коридор.

— Когда же граница?

Пристает к проводнику.

Курит одну сигарету за другой.

И потеет.

— Не терпится. . . Телевизоры, боишься, отберут?

Из коридора отмашка:

— Женщина! Вам не понять. . .

Эсперанса, Эсперанса. . .

Сводит кишечник. Но, не спрашивая ничего, и те и другие — фуражки приплюснуты — возвращают ей в руки фальшивку. Липу зеленую. С золотым орлом-стервятником, по-матерински — клушей-наседкой — прикрывающим герб средневековой сложности. Королевство. Вот так и бросает всю жизнь — из крайности в другую. . .

Единое, Великое, Свободное.

Еспаña.

Родина? Новая фаза деперсонализации?

Как бы то ни было, мы уже в брюхе. Внутри. Непрерывную плавность дороги за Ируном сменяют стыки, тычки и толчки, под которые возвращенец по имени Тимотео, засыпая мгновенно, начинает храпеть. Блаженство на гладком и чернеющем от щетины лице.

— Чему радуется? Работы нет, все там нищие, злые. Не знаю, как будем жить дома. . . У вас есть профессия?

— Переводчица, — отвечает она, за свою пятилетку в Москве проработавшая ровно неделю до того, как оказано было доверие — переводить Генерального секретаря.

— Не в Испании живете?

— В Норвегии.

— То-то девочка. . . Снег. А глаза наши. . . К родителям едете?

— К отцу.

На заре за окнами невероятная земля.

Желтая, красная.

Африка начинается за Пиренеями. Так сказал Теофиль Готье, и Монтерлан с ним всецело согласен — в купленном вместо путеводителя только что изданном NRF томике ранней прозы. «Coups de soleil» — «Удары солнца». Она получает свой первый. . .

Не выдерживая хроматического насилия, глаза начинают слезиться.

Горло сводит.

Сверкающие от бриллиантина черные волосы зачесаны назад, белые рубашки, широченные брюки, руки в карманах по локоть — хулиганы с окраины, черт им не брат — а посреди двадцатилетний Висенте. Изломанный снимок с фигурным обрезом ей показал старичок, который явился с огромным альбомом и ко всем приставал, пока не нашел ветерана-одногодка.

— Август тридцать седьмого, Бельчите? А помнишь? До сих пор в военной академии преподают. . . А Теруэль? А Эбро? Все-таки мы воевали не хуже. Нет, не умением нас, а числом. . .

В полубункере-полудворце ожили призраки прошлого.

Они все здесь. Не только «Парижская группа». Вернулись в Испанию и «москвичи». Охладевшие — как потомки Пасионарии, которая, сдержав обещание пережить Франко, уже превратилась в исто-

рию. Реэмигрировали и несгибаемые — сохранившие верность. Глаза их горят. Стоицизм побежденных, но не сдавшихся. После Мадрида, потом Будапешта, Праги, Варшавы, а теперь и Москвы. «Жить невозможно, земля под ногами дрожит. Либералы, демократы — не самое страшное. Голову поднимает утробный антикоммунизм. Клерикалы, генералы, «черные полковники»... Того и жди: «Над всей Россией безоблачное небо!» И что тогда?»

А в общем, и они в прекрасной форме. Держатся, выживают. Как природой положено... Испанцы.

Делегаты из Парижа и Рима шокированы тем, что все курят, как на полном партсобрании: «Не сходка же ведь...»

Изнуренная дымом, напористым сонмом и забытой давно уже ролью «черной овцы», она, по возможности, ускользала — то в коридор, навстречу очередному венку, то в кафе...

... Кафетерий обычный, отнюдь не стерильный, и есть даже что-то горячее, но то один, то другой посетитель вдруг начинал обливаться слезами, рыдать, убиваться, и соседи по столику обнимали его, утешая.

Отщепенка, она села за кофе одна. Закурила, не чувствуя вкуса. Абсурд. Изначальный, испанский — абсурднее не бывает, чем это наследство отцов. Вдруг превратившееся в абстракцию. И она в нем — абсолютно пустая. Как после аборта. Чистая функция машинального потребления кофеина и сигарет, что, увы, представляет опасность лишь для мужчины, для хрупкого этого деревца из сосудов, изнутри разрушаемых гигантоманией.

Эсперанса...

Когда это было?

Коммунизм, назови меня Амнезия.

9 утра.

Мадрид. Чистота с легким запахом хлорки. Вокзал с французским названием Chamartin не по-парижски резонирует чувствами — то ли освобожденными, то ли не очень и подавлявшимися...

— Инес!

Им распахивает объятия какая-то яркая женщина — накрашенная и напудренная. Все сверкает на ней — ногти, кольца, браслеты, серьги. Пряный запах духов. Цветастое платье из синтетики сжимает огромные груди.

— ¿ Tia? Tia Apa?

— Повтори! Скажи еще.

— Что?

— Что-нибудь!

— Я очень рада...

— Еще?

— Tia, называй меня Эсперанса. Понимаешь? Это Анастасия.

Отец ее не смог приехать.

Тиа промокает поплывшую краску:

— Акцент. Вот уж не ожидала... Маноло, какой?

Из-за ее плеча возникает раскаленный булыжник лба.

— Мексиканский, сказал бы я...

Низкорослый, корявый силач отбирает чемодан, чтобы на площади уложить в багажник машины — огромной и старой, но ослепительно алой. Американской.

Сиденья нагреты солнцем. Подскакивая, Анастасия опускает стекло.

Сразу в Прадо? Гойю, Эль Греко смотреть? Нет? Тогда домой! — говорит тиа, целый уик-энд протомившаяся в столичной гостинице. — Но сначала, Маноло, покажи им Мадрид.

— ¿ Puerta del Sol? Gran Via?

— Сам лучше знаешь. А за городом найдешь ресторан. Не какой-нибудь только — смотри.

— Я знаю одно место...

— Приличное?

Эсперанса, она все представляла не так. Конечно же, Запад. Европа. Безусловно. Только здесь пальмы. Серокаменные бастионы первой, претоталитарной трети века под ярким солнцем вызывают щемящее чувство — словно смотришь на старых слонов.

И всюду — война лозунгов.

Один впечатляет. Кто-то не поленился замазать и тех и других — «¡ Viva Franco!» и звезду КПИ. А поверх распылил автокраской: «Да здравствую я:

¡ VIVA YO!»

Даже не Санчо Панса (не говоря об оторванном от реальности Дон Кихоте), а бесконечно изобретательный в технике выживания сирота Ласарильо из анонимной плутовской книжки XVI века был его любимым героем. Ласарильо с Тормеса. Мальчик, который, таща за собой слепого садиста, не унывая уворачивался от палочных ударов судьбы. Об этом она почему-то вдруг вспомнила, когда, по крику Анастасии: «В Испании у них пять ног!» — машина, которую почти даром отдал Маноло американец с военной базы, затормозила в пыли у обочины и они с теткой под палящим солнцем повели усаживать белого как снег и очугуневшего от жары и обеда ребенка на абсолютно отрешенного ослика — в послеполуденной медитации он даже не двигал ушами, только спустил до земли невероятно черный член...

Поле выжжено добела.

Посреди одинокое дерево.

На горизонте то ли море, то ли дымит что-то производственное...

Андалузия начинается после заката.

Ночь.

Замок на вершине.

Призрачный город-гора, озаренный местами неона. Дом Маноло у подножья, где пахнет апельсиновым цветением. Внутри бегают дети, как днем. Под люстрой (в виде древнего колеса от телеги) накрыт стол. Помидоры, лук, оливковое масло с винным уксусом. Чеснок. И «гарбансос». Базовый продукт, на котором страна продержалась до лучших времен. И здесь, и в изгнании. Все знакомо. «Чорисо» — до отказа начиненные холестерином колбаски с толченым красным перцем, до которых он дорывался в то время втайне от матери, исподтишка. Jamón — винно-красный окорок, свиная туша годами висела на солнце вниз головой. Чем тоньше нарезано, тем на вкус адекватней (еще в Спутнике, исследуя доступный в ощущениях испанидад, Александр поломал все ножи, включая хозяйский садовый, об этот jamón...).

Золотым пером тетка выписывает претенциозного вида чек.

Мост через пропасть, и в аромате жасмина машина поднимается в старую часть города — до каменной лестницы, над которой призрачный мрамор, монументальная пропаганда:

ИСПАНИЯ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОММУНИЗМА...

Впереди шофер несет чемодан. Улица, вся в перепадах, поднимается в гору. Площадь с фонтаном и аркадой.

Тетка живет еще выше.

Переулок над головой весь в распорках — чтоб дома не сомкнулись.

Замок в вырезе неба.

Решетки на окнах оплетает листва.

Пол в квартире прохладный и гладкий: в орнаментах из плиток. Тетка, тут же, за порогом, разувшись, включает свет, открывает ставни и дверь на террасу, где, уложив Анастасию, они садятся — в покойные плетеные кресла. Терраса вся в зелени — прямо-таки настоящий сад.

— Очень старый?

— Крепкий — как дуб. Полон энергии.

— Богатый?

— Тиа, он коммунист.

— Неужели все бедные?

— Нет. Но он настоящий. Понимаешь? Для себя ничего, все для дела.

— Дом во Франции есть?

— Откуда...

— А квартира своя?

— Социальная.

— Но известный ведь? Мир повидал? А меня только в городе знают. Дальше Барселоны нигде не была...

Тиа встает, предупредив на прощанье, что цветное белье на террасе выгорает на солнце за час:

— ¡Solamente blanco!

Цикады. Тишина. Верхушки пальм среди крыш отливают серебром. В доме напротив вспыхивает свет, на мгновение озаряя сквозь цветы за решеткой наготу.

Она отворачивается — Эсперанса.

Книги. Комплект классики — вряд ли для чтения. Мебель темного, почти черного дерева. Очень чисто, не очень уютно. Но после бетонной коробки в предместье Парижа потолки с балками впечатляют. На стене под стеклом римлянин в тоге. Нет, не Цезарь. Первый испанский писатель, он же философ, Сенека. Учитель безумца Нерона. Но не только его одного. Из школы Сенеки мы все — и ты тоже. Он научил нас, испанцев, стоицизму. Что это? Быть независимым. Любить не себя, а судьбу: следовать ей и держаться. Понимаешь? Смерти у нас не отнимешь, а в жизни мы вынесем все.

Первоиспанец заложил и традицию лысин, наверно. Почему столько лысых? Но не все.

Не отец.

Самый мужественный народ в мире, утверждает Монтерлан, которого она открывает в постели, пропахшей лавандой. Самый яростный. Ягуары. Не без этого, но как-то не вдохновляет. Глаза скользят по французской риторике. Самый поздний текст в книге датирован 1936-м. «Бесчеловечность испанского ада»? Другие давно превзошли. Народ в Испании безумен, как в России. Этими параллелями она занималась еще до того, как безумия их вцепились друг в друга, как ягуары.

Она поднимается и выходит на террасу. Где он сейчас, Александр? Неизвестно, но можно представить. А он не сможет — при всем своем воображении. Даже не подозревает, что она может быть здесь.

Инкогнито.

Изнурительно пахнет жасмин.

Полнолуние.

Замок.

Вырастая из скалы, он парит в серебряном свете.

Она мысленно произносит по-русски:

— Воздушный.

Нечто безумное, нечто не сбывающееся никогда. Зубцы превращают мощное и филигранное тело башни в шахматную фигуру. Чер-

ную с лунным отливом. Словно бы ищущую в этой ночи игрока. Чтобы продолжить бесконечную партию. Вива я — против сущего. Вива я — против данности. Против реальности вашего мира. . .

От усталости сигарета горчит.

Глядя на замок, Эсперанса с прищуром затягивается.

У сестры отца сильные гладкие плечи и прямая спина. Запудренная экзему, она бросает в зеркало:

— Прости, я сказала. . .

— Что, тиа?

— Что ты из Москвы.

— Тиа! . .

— Не волнуйся. Все здесь свои.

На террасе служанка ловко орудует шлангом.

Раннее утро.

Солнце обжигает.

Капает из цветочных горшков, которые тут даже на стенах.

Рот Анастасии открывается от изумления. Навстречу ей движется кукла, губы накрашены, лакированные ноготки. Девочка в мантилье — черно-фиолетовой и прикрепленной гребнем к завитым волосам. Головка гордо поднята.

Кафе на углу.

Хозяин выходит придвинуть им легкие кресла. «Чуррос» — колбаски из теста. Он достает их из кипящего масла и посыпает сахарной пудрой. Кофе крепчайший, его запивают водой.

Тетка закуривает сигарку.

— Как же могла бы я скрыть? Твоего отца город помнит. Все знают, что гоjo.

Красный.

Это ошеломляет. . .

— Успокойся. Крови на нем нет.

Она расширяет глаза:

— Какой крови?

— Тут при красных такая сангрия была. . . Ты что, не знаешь?

. . . Потом, в Париже, она нашла книгу с фотоснимком. Мощи кармелиток. В 36-м в Барселоне их выкопали, вытащили из гробов, сорвали останки саванов и приставили к стенам, а других положили на ступени монастыря. Обтянутые кожей скелеты. Скрестившие руки, нагие — с высохшими грудями и следами глумления. Включая младенца и девочку, их было четырнадцать на снимке, который в свое время потряс цивилизованный мир, а ее — с опозданием. В тот первый приезд на родину отцов она, Эсперанса, знала очень немного. Про зверства белых во время войны — особенно марокканцев. Про бело-фашистский террор. Против побежденных, но не сдавшихся. Которые были герои. То, о чем говорилось в сфере слышимости, во Франции подтверждали и учебники в школе, и вполне беспартийные книги. Разве что Хемингуэй вносил диссонанс. Но в скандальном романе исторически он был неправ, иронизируя над Пасионарией, якобы прятанной сына в Москве от гражданской войны: ведь Рубен ее пал смертью храбрых под Сталинградом. И к тому же Хемингуэй — американец: что с них взять? Однажды, в одном французском «шато», на традиционном обеде братских партий, туда, где были дети и верхняя одежда, втащили под руки и уронили вниз лицом одного ветерана. Это был гость из соотраны — легендарный El General. Потом мать сказала: «Carnicero. . .» С отвращением. А он, он зацокал языком, обостряя любознательность. Мясник? Дитя эмигрантов артикулировало: « Et rougqoi?» Ей ответили немотой заме-

шательства. Потому что герой был не просто ягуар от природы. Он любил убивать. Слабость вполне человеческая. . .

— Другие, — сказала тиа, — те по горло в крови. А он не запачкался. Было б иначе — меня бы потом расстреляли. Он даже наших «мариконов» спас. Целый грузовик их набрали и везли на расстрел.

— Он кончил войну в чине comandante.

— Разве?

— Армии республиканцев.

— Это не знаю и как. Бой быков, например, ненавидел. Даже от петушиных тошнило. Нет, крови он с детства боялся. Мать говорила, что в церкви падал в обморок. Еще кофе? Тогда идем, нас друзья заждались. . .

В кафе под аркадой накурено — не продохнуть.

Друзей — человек пятьдесят. Они хотят знать правду. Немедленно. Всю как есть. Из первых уст. Глаза, лица сверкают заранее. В застекленной рамке за стойкой выгоревший номер газеты с портретом на черном: FRANCO HA MUETO.

Хозяин обеззвучивает телевизор.

Говорит Эсперанса.

Стойка, столы покрываются бутылками, банками, тарелками — оливки с вынутыми косточками, вместо них — анчоус, миндаль или красный перец. Креветки. Жареные кальмары. Некоторые аборигены знают лучше: «Там для рабочих футбол бесплатный!» Страсти не подавляются, рвутся наружу, атакуют. В самовыражении здесь идут без оглядки и до конца, и вот в этом она себя вдруг узнает. Испанка? Хозяин приносит горячее блюдо. «Косидо» — белая фасоль с мясом. Тетка довольна. Племянница — интеллектуалка. Хозяин — тоже. «Эта девочка здесь будет есть бесплатно!» Здесь все бросается на пол: шкурки и палочки от «чорисо», обертки от сахара, окурки и даже кубики льда. Но эта девочка не решается, держит оливковую косточку в пальцах. Из дальнего угла несется посетитель, подставляет блюдце:

— Откуда такой ребенок?

— Москва.

— ¿ Union Sovietica? Игнасио, всем по пиву. . . Вот так воспитывают там детей! Пусть говорят мне что угодно, но вот вам живое свидетельство. . .

В спорах за спиной ее уже называют gusa.

Вдохнуть до конца невозможно даже в тени. Зной давит на плечи.

Тетка — перед сиейстой:

— Я думала, ты тоже гоја.

— После Москвы?

Смеется:

— Я боялась. . .

— Но я и не blanca.

— Анархистка?

— Не знаю. Я просто человек. Viva yo.

Тетка смеется:

— Уже научилась у нас? ¡ Viva yo!

Анастасия испаряется во сне. На простыне вокруг нее, бело-розовой, пятно пота. Зубы ярко-оранжевые от испанских красителей переходного периода. Но куда? Вправо, влево?

Еще неизвестно.

На монетах еще каудильо, без которого страна живет всего семь месяцев.

Ровно столько же остается до легализации призванным на престол королем Хуаном Карлосом той партии, которой отдал себя без остатка

человек, чье тело уже сутки в Мадриде открыто для прощания — за стеклом, под венком, в гробу, позволяющем видеть лицо.

Сверхбанально . . .

Чашу терпения переполнила капля.

Был год осуществлений — их пятый вместе. Они добились права жить в Москве. Авторские экземпляры первой книжки (самоцензура изошрилась так, что государственной осталось вычеркнуть лишь пару слов) пачками громоздились в углу новой квартиры. Неважно, что на порядок ниже, чем «Красный пояс» парижской аскезы, — но вот линолеум не отмывался. В энтузиазме новоселья (с видом на музей Вооруженных сил) Инес меняла воду, ползала и терла. Осколок водочной бутылки на кончике пальца был почти невидим, но капля появилась.

Алая.

Через день палец стал нарывать.

Потом почернел. За иностранку районная поликлиника брать ответственность отказалась. С паспортом, согласно которому Инес проживала в Амстердаме, в московской поликлинике для полноценных иностранцев лучше было не рисковать. Кремлевская же, где обслуживали во время приездов с отцом, закрылась для нее, как для живущей отныне постоянно. Рука по локоть стала отниматься. В стране бесплатного медицинского обслуживания у нее набухли лимфатические узлы, когда Александр снял трубку и набрал оставленный «падре» номер на случай, если что-нибудь. . .

— Разве она еще здесь? — без удовольствия удивился голос, оторванный от большой кремлевской стратегии.

— Да, и рискует навсегда остаться.

— Что с ней?

— Наколола палец.

— Какой?

— Средний. На правой руке. . .

Старая площадь хохотнула:

— Спящая красавица?

— Наоборот

— Не понял?

— Умирает.

Немаловажный тот палец (и жизнь заодно) спасли ей на высшем уровне.

На том же, на каком если и не санкционировали, то допускали подслушивания, перлюстрацию, бюрократическую волокиту, милицейские вызовы и вторжения, даже по местным стандартам искусственную затрудненность быта; и эти друзья-приятели — чередой своих в доску стукачей, сексотов, мелких провокаторов с их авангардом, крестами, иконами: «Знаешь, сколько по каталогу Сотбис? Пусть возьмет, что ей стоит. Сдаст — будет богатой. А мне ничего, ну там разве «Deep throat». . .»

Среда их обитания. Рай в шалаше. Любовное гнездышко. То, внутри чего они наивно пытались что-то построить. . .

Звонок — перед самым отъездом.

Положив трубку, она опустила на колени — одевать Анастасию.

— Прогуляемся. . .

— На ночь глядя?

Голый сад.

Оглядываясь на редкий транспорт, припаркованный по обеим сторонам бульвара, они вошли за чугунную ограду и захрустели снегом ранней весны. Ту московскую интонацию она уже неспособна воспроизвести:

— Товарищи. . .

- На предмет?
- Машину присылают.
- Но такси ведь заказано?
- Говорят, и речи быть не может. Проводы по высшему разряду.

Через депутатский зал.

- А чем отличается?
- Нет досмотра.

Внезапно с криком «Солнышко!» Анастасия бросилась прямо через ледяную клумбу — протягивая руки к всплывшей над Москвой полной луне. Инес поймала ее уже на самом краю — перед троллейбусом. Еще трех не было, а озверела дочь так, что зубами вцепилась ей в руку и орала, пока не погрозил подавший прохожий:

- Эт-то солнышко цыганское.

Инес набивала чемодан плюшевыми собаками, когда Александр вошел с туго завязанной папкой:

- Раз без досмотра?

Она не взяла. Надавила коленом, защелкнула.

Он возмутился:

- Но почему? Если шанс?

Из сортира она крикнула:

— Принеси мне блокнот и чем писать. — И потом: — Не стой здесь, у меня сроч!

В этих стенах больше ни слова. Только переписывались, а на рассвете все кремировали на чугунной сковородке.

В тумане их поджидал катафалк.

Водитель был в шапке детского размера, из черного каракуля с кожаным верхом. При переразвитом плечевом поясе он был почти что микроцефал.

Даже Анастасия молчала.

На сиденье Александр нашел влажную руку Инес.

Проступило здание международного аэропорта.

- Ждать?

А после прямо на площадь Дзержинского?

- Спасибо, не надо...

Она открыла дверное стекло, он вкатил Анастасию на красную дорожку. Русская красавица в форме Аэрофлота встретила их с улыбкой:

- Залом не ошиблись, молодые люди? Депутатский.

- Тогда нет.

Извинившись, служащая пробежала список — накладными ресницами, и по второму разу — лакированным ногтем.

- Сожалею, но...

Глаза Инес засияли. Она выиграла. И пари, и, возможно, свободу...

Выкатившись в туман, Александр сказал:

- Мир ловил меня и не поймал.

- Почему, знаешь?

- Везет.

- Школа, — ответила гордо она. — Школа Висенте...

Очередь общего зала исчезала за перегородкой стремительно. Посадка заканчивалась.

- Паспорт?

- Я не лечу. Качу...

Его отстранил шлагбаум руки, под которой он передал Инес ручки для креслица, а потом чемодан. С одними игрушками.

После досмотра она, Зоркий Сокол, обернулась с галереи, пытаюсь

отыскать его в толпе, и он навсегда запомнил это ее выражение — тяжелого усилия и легкой досады.

Пил он коньяк.

Из кофейной чашки, а бутылку держал за пазухой. Чопорных стюардесс «Люфтганзы» сменили сразу три японца. Увидев, как он наливает себе из-под пальто, они умолкли, потом дружно пересели, и больше за его столик не садился никто. Он посмотрел на часы. В воздушном пространстве СССР Инес уже не было, а он все сидел — боком к столу. Подошвами упираясь в ребристый радиатор, он экономно отпивал, стряхивал пепел в блюдце и медленно пьянел. Подъезжали и отъезжали, брызгая грязью, машины, потом вдруг проступила даль полей — снег еще не сошел. Ее самолет пошел на посадку в парижском аэропорту Руасси, а он, закатив бутылку под радиатор, никак не мог заставить себя подняться.

Кроме рукописей «для сранья», в этой стране ничто ему не светило.

В бетонном желобе парижской кольцевой дороги Висенте завел руку за спинку сиденья и похлопал внучку по колену:

— Bonita. . .

Та выдула пузырь жевательной резинки. Излучая профессиональный оптимизм, он взглянул на Инес:

— Что же, культурную миссию ты, по-моему, выполнила. Надеюсь, навсегда?

— Он тебя любит.

В его улыбке появилось нечто хищное.

— Не меня. Идею отца, без которого родился. Помочь я тут ничем не смогу. И никто.

— Но тебе же только бровь приподнять?

Он повысил голос:

— Тем более — в данном контексте. Сами породили своих диссидентов, сами пусть разбираются. Мы ни при чем. Вы с ней тоже.

Она заставила себя улыбнуться:

— Муж и жена — одна сатана.

— Не впадай в мистицизм.

— Я не впадаю. Там поговорка такая.

Он отвернулся.

— У меня впечатление деградации. А могло быть иначе. . .

В зеркальце заднего обзора Гомес выстрелил взглядом, полным укора.

С выгиба бетонных стен эстакады разноцветные граффити влетали прямо в сознание, возвращая «черную овцу» на Запад — в мир «лево-правой» шизофрении.

Красное вино, ломтики фруктов и позвякивание льда — тиа, орудуя серебряным ковшиком, рассказывает — под портретом Сенеки:

— Белые нас сразу же арестовали. Еще был старший брат. Анархист, не знаешь? Умер. Не выдержал тюрьмы.

— А ты?

— Красота спасла. Знаешь, какая я была? Когда шла в церковь, мужчины на колени падали и — шляпу к моим ногам. В тюрьме не я, из-за меня ломались. Волосы были такие, что надзирательницы — монашки — сами мне вычесывали гниды. Хуже стало, когда освободили. В городе со мной не здоровался никто. Человек-невидимка. Пустое место. Твой отец оставил два адреса — лучшего друга и одного врача. Друг отвернулся, а médico сделал нехорошее предложение. Коммунисты оказались sin cojones. Вот белый один, тот был мужчина. Молодой офицер. Ничего у нас не было. Это было тогда невозмож-

но,— тиа делает отступление на тему эксцессов теократии, победившей в отдельно взятой Испании; прекрасному полу на людях запрещалось, и не только под страхом быть названной руга, всё: велосипеды, штаны, ноги без чулок, кружевная прозрачность платья до колена, платье в обтяжку и даже с короткими рукавами. Так что с офицером они только прогулялись по площади — вечерние пасио, знаешь? Его вызвали: «Она — сестра красного». А он им: «Не отрекись от любви». Его отослали на север. Потом голод. Мать умерла. Самое ценное, что осталось, — это его пишущая машинка. Пришлось продать, чтобы похоронить по-человечески. За гробом только священник и я. Люди смотрели из-за занавесок. Но потом меня пригласила жена известного банкира. А ты, говорит, осанки в горе не теряешь. Уважение. Это у нас открывает и души, и двери. В конечном счете, важно, не какой ты партии, а какой человек, — твой стержень. Этот банкир — он уже был старичок — помог устроиться в сберкасса. Работала, откладывала деньги. На учебу — хотела стать архитектором. Но банкир другому научил. Он потерял зрение. Я ему читала вслух, а он учил меня делать деньги. Как играть на бирже, куда лучше вкладывать, что покупать. Потом мне повезло. На моих землях откопали древнеримские развалины. Все продала и вложила в недвижимость. Вот мое экономическое чудо. Мультимиллионерша в песетах. За спиной называют «нуворика», но, как ты видишь, все здороваются. Донна Ана зовут... Изголовье кровати у донны Аны с овальным медальоном. Рядом — вибромассер, револьвер. Задвигая ящик, тиа усмехается: «На всякий случай. Друг из Парижа привез...»

На следующий вечер она надевает жемчуга, втискивает ноги в черные парадные туфли.

Клуб, где встречаются отцы города. Еще одна дискуссия. Фантазмы другие, но столь же яростные.

Перед уходом — старик:

— Я очень богатый человек. Знаешь, old money? Реакционер и антикоммунист. Но отцу передай: как врага я его уважал.

Крутолобый и с сигарой.

— За что?

Он обиделся:

— У нас была вера. Вам, молодым, не понять...

Утром в воскресенье тиа осторожно:

— Если бы ты согласилась пойти со мной в церковь, это было бы как знак уважения.

Единственное место, где не жарко.

Ладан.

Полумрак и шепот:

— Пришла... в церковь пришла...

Это — событие. Их с теткой обступают. Дочь красного вернулась в лоно.

Молодой, ее возраста, священник, работая кулаком, два часа обещает с амвона: если к власти придут левые, человека мы им не отдадим. Мы будем защищаться. Ибо без церкви, без христианского воспитания детей в этой стране все рухнет. Андалузия — это оплот. Бастион.

Прихожане внимают.

Все эти дни — в кафе — карманы комбинезона Анастасии мужчины набивают монетами для «флиппера». Она разгружается, раздавая пожертвования, и, шевеля губами, ставит свечки.

Над ней испанский гиперреализм. Безутешная Божия Матерь, распятый Христос. Они как живые.

Кровь тоже...

Ночь.

Ледяной «гаспаччо».

Чеснока столько, что одним выдохом отпугиваешь вампиров.

Тиа зажигает сигарку «Давидофф» и укладывает на кожаный пуф свои ноги со ступнями, выдающими происхождение:

— Анна Австрийская? Точно не знаю, но какая-то королева, побывавшая в Мадриде замужем, привела свой полк — то ли немцы, то ли швейцарцы. В наших местах растворились. Бабушка твоя была очень высокая. И глаза голубые. Очень жесткая. Но и время такое. Ненависти было уже очень много. Вскипали мгновенно. Чуть что — за наваху. Когда отца зарезали, Висенте шести еще не было. Определили его к свинопасу. Маленький был, но обид не прощал. Раз попросил выпить, крестьянин не дал. Почему? Потому, что, если из одного кувшина отопьешь, равновесие нарушишь: осел в горах воду расплескает. А потом он попал в грозу. В горах это страшно, крестьяне боятся. Стал стучаться под крышу, где был Висенте со своими свиньями. Тот не пустил. Это сразу отметили — мальчик с характером. Сирота — он у всех на виду. Научился играть на кларнете и в город ушел. А играл он так, что сразу взяли в муниципальный оркестр на зарплату, и он нас вытасил. Закончил техническую школу, стал механиком. Бедный, худой, но гордый. Знаешь наших? «Лучше дырка в штанах, чем заплатка». А в школе преподавал социалист, любимый стал учитель. Уговаривал продолжать учебу, ехать в Мадрид, в университет. А потом... Ровно сорок лет назад, и жара — как сейчас. Вдруг все взорвалось. Мятеж. Расстрелы пошли. Монахинь, священников, жандармов — Гражданскую гвардию. Даже нотариуса. Учителя тоже. Перед той школой и расстреляли. А они тогда город держали от марокканцев. Кто до вечера доживал, ночевать возвращался. Мать зарезала петуха, когда он пришел, узнал, есть не смог, прорыдал до рассвета. Думали — все. Отречется. Но утром снова — винтовку за плечо и ушел. Высоту они взять не могли. Он гранаты схватил — и в атаку. Кто поднялся за ним справа-слева, тех сразу убило, а он, весь в крови, вернулся, мы подумали — ранен. Ночь не спал — рвало.

— А высоту?

— Взял. Но мятежники выбили их. И он ушел с красными — к центру, туда, на Мадрид. Мы знали, что навсегда. Отсюда кто уходил, больше не возвращался. Даже из Америки. Он первый вернулся. В твоём лице, я имею в виду...

Напротив гаснет окно, на стене, на узоре решетки, на листьях — свет луны. Возникает силуэт, и она отворачивается. Несмотря на предосторожности, ставни лязгают.

Тетка вздыхает.

— Атог... Из-за этого все.

— Почему?

— А по-твоему, это не важно?

— Это? По-моему, это все.

— А нам запрещали. Даже фильм посмотреть — ну, ты знаешь... Мужчины во Францию ездили — в Перпиньян. Недавно еще. А когда мы росли — просто ужас. Ребята сходили с ума. Я их помню, друзей-бунтарей. Вокруг проституток кругами ходили, а денег ни у кого. Чтобы за так — не ахти уж какие красавцы. В кулак и на землю? Слишком гордые были. Тем более, матери с детства вбивали, что от этого в наших краях дурачки... Выхода не было. Только столбы повалить. Электрические. Вышли однажды за город и все посрубали. Это первое действие. К счастью, кончилось неудачей. Вернулись — свет всюду горит.

Не в силах вынести такого напора эмоций, пара интеллектуалов из Саламанки разрыдалась.

— Ведь они говорили! — захлебнулась женщина, сжав руку Инес. — Они нам говорили... Сначала тяжелая индустрия, потом легкая, а там... А сейчас, выходит, и тяжелой нет?

Муж крепился, но по лицу катились слезы.

— Почему, ну почему все у них рухнуло?

Нашептывая, что вопрос не по адресу, их увели — небедных, чистеньких и словно ослепших от горя...

Пара с ребенком из индустриального Овьедо попросила разрешения накрыть его флагом — под предлогом, что молодая мамаша всю ночь обшивала кумач. Им сказали — на кладбище. Там — хоть зеленым. Но, дождавшись ночи в своем старом «сеате», они вернулись: «Родственники разрешили». Пожав плечами на эти фантазии, служащий провел их коридором и открыл заднюю дверь. Протиснувшись под венками, они накрыли — в четыре руки. И удалились, повторяя, возможно, «вива мы»...

Снять назавтра сюрприз уже было нельзя — по понятным причинам.

Так и остался на виду — до конца.

Любовник тетки — молод, низколоб, стыдлив — привозит к замку, сам остается в машине, с открытыми дверцами, в тени.

С крепостных стен кое-где обвисает кустарник — ~~пророе~~...

В жарком поту они выбирают на площадку.

Аист взлетает.

С башни тиа показывает:

— Видишь горы? Там он с дудочкой бегал.

Вид в проеме каменных зубцов кружит голову. Черточки кипарисов в долинах, дороги слепят белизной. Поля лиловые, винные, красные. Гигантские плавные склоны. Поднимаясь и опускаясь, их опоясывают полосы: линии, штришки... Это оливки. Плантации. За ними лишайники роц — добираются к самым вершинам. За перевалами все повторяется — тоном нежней. А под самым горизонтом проступают на голубом — пятна скалистых уступов.

Горы.

Ему не давало покоя, что другой пастух стал поэтом. Конечно, говорил он, как бы оправдываясь, у Эрнандеса были овцы, с ними забот никаких. Собаки делают всю работу, а ты себе посиживаешь, преисполненный чувства величия мира. А попробуй со стадом свиней! Эти расслабиться не дают. Индивидуалисты. Каждая — себе на уме. Только и думают, чтоб разбежаться. Нет, со мной было предопределено...

— Красиво.

— Ты находишь? Не знаю... Я другого не видела. А за теми горами деревня, откуда твой род. Черепица и белые стены. А пол — земляной. Биенвенида. Запомни.

— «Добро пожаловать»?

— Вряд ли. Чужаков не любили. Скорее — «прибывший благополучно». Так у нас говорят, когда кто-то разрешается от бремени.

Филигранность зубцов внутри башни обманчива. Инес трогает выбоину и, обжегшись, отдергивает ладонь:

— Тиа...

— Что? Говори.

— Ты могла бы оформить бумагу? Чтоб он смог приехать. Приглашение.

— А уже не опасно?

— Нет, — говорит Эсперанса. — Не отцу...

Однажды в Париже, на фоне скандала с романом Александра, который вышел в ее переводе, они вдруг увидели Висенте по телевизору. Это было в вечерней программе новостей — речь шла о попытке военного путча в здании кортесов, где в последний раз в жизни, уже в качестве вице-президента, он смотрел в наведенное генералом оружие, а они все это пассивно созерцали по телевизору и ночью, и на следующий день, и от повторов он все больше становился похожим на льва или, если по китайскому гороскопу, на тигра. Мятежный характер, страстный и воодушевленный, революционеры, политики, государственные деятели. Симон Боливар, Эйзенхауэр, Шарль де Голль, Хо Ши Мин и королева Елизавета II.

Тигро-лев, родившийся в год Свиньи... «Со мной все было предопределено...»

Жизнь спустя она смотрит на себя в зеркало.

Нос, в котором ему видится нечто индейское. Стрижка, волосы крашены. Оливковый оттенок кожи. После кладбища веки окрашены измождением. Большие глаза, всегда влажные. Она смотрит — уходит внутрь себя, в тот мягкий порядок, где всего больше жизни, которая — так она чувствует — исчезнет только с ней вместе. Уже не столь бурной, зато утончившейся, томной, тонкой и все более требовательной.

Мужчина — он ясен и прост. Взгляда мельком достаточно, чтобы понять. Он не видит себя — даже бреясь. В поисках себя он заглядывает в женщину, но и там себя не находит. А женщина смотрит и видит. Это скучно... Но она все еще надеется, женщина — это надежда. Что однажды он увидит себя, опознает, вернет, возродит изнутри свою сложность — и станет на равных с ней. В общем, верит в любовь... Но мужчина боится. Именно этого — больше всего. И ему, затвердевшему в упрямой своей заморозенности, остается только обрушиваться на живое и мягкое, выбивая короткий, как искра, оргазм. И отваливаться с недоумением в стекленеющих глазах: это все? Все — ради этого? Или терпеть. Ждать, когда, доведенная до отчаяния, женщина откроется перед ним в своей сложности и отпустит на волю мир, который так страшно ему отпускать. Вот почему они, мужчины, так боятся приближения смерти. Они чувствуют — несправедливо. Обман! Невозможно, чтобы конец: ведь еще ничего и не начиналось... Отделяясь от жути, мужчина отстаивает свою неизменность, принципиальную неизменяемость. Он тоскует по юности, он переходит в атаку: жизнь — арена, где сражаются гладиаторы. Из страха быть сложным он хотел стать огромным, больше всех — почему бы еще своей собственной партии не Генеральным секретарем?

Так она думает. Или чувствует.

Зеркало отражает ворох непрочитанной прессы. «ABC», «La Vanguardia», «El Independiente», «El Sol»... Она перелистывает, отбрасывая страницы с Бушем, Горбачевым и Ельциным, задерживается на последнем объятии с Пасионарией — две сомкнувшиеся седины, — задерживается на заголовках вроде: **ЖИЗНЬ, ОЗАРЕННАЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ... ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММУНИСТ ВЧЕРА УМЕР В МАДРИДЕ...** Выхватывая фразы типа: «...Его убеждения были прочны, неизменны и окончательны».

Она забирает все это с собой.

Паспорт уже настоящий, никто здесь не сомневается в ее принадлежности, полночности — испанидаде. Да, мир ей теперь открыт.

За исключением Петербурга.

Бетонный дворец под окном тонет в сумерках — с юными пиниями и кипарисами.

Такси ждет у порога.

Аэропорт.

Сердце страны отцов остается сверкать в ночи, а она, оторвавшись и повиснув в воздухе, закрывает глаза, чтобы увидеть, как однажды девочкой в «Красном поясе» собрала тайком все носки (он засовывал их под стеллажи, под железную койку, в плетенку для бумаг — куда попало). Выстирав с мылом в раковине, она завесила ими все радиаторы, а он ничего не заметил. Окутанный дымом своих «голуазов», что-то вымучивал для «Mundo obrego»... Если он попадетсЯ им в лапы, они забьют ему в глотку все, что он написал против них! Но он сумел не попасться. Возвращался оттуда — изнутри. Каждый раз. И снова, поворачиваясь от окна, выходящего на изнанку бетонной стены с кипарисом, она видит (и уже не сквозь муть, а так четко, что горло сжимает), видит изрубленного морщинами подростка, совсем мальчика... Он совал ей снимок, где обнимались ребята постарше, и среди них — *compadante*, а потом, оглянувшись и ее не заметив, выпрямляется перед тем, что покоится еще за стеклом, и с поспешно простроченным флагом, с трудом, через артрит, приподнимает рукав синтетической курточки, выпрастая из застиранной манжеты неожиданно большой узловатый кулак:

— Товарищ... Держись!

ЗАРАНЕЕ ПИШИТЕ СВОЙ РОМАН

На конечной я выскочил из метро, втянул голову в плечи и поднял воротник.

За Сеной зажигал свои огни нью-йоркский мираж. Небоскребы «Дефанс» начинали предпоследнюю трудовую неделю перед Рождеством. Я сбавил темп, чтоб закурить. Первая сигарета оказалась последней в пачке, которую я смял и бросил под забор. Он был оклеен огромными афишами летнего сезона. Мимо невероятных островов с пальмами и ласковым прибором (но проступающим рельефом досок) косо летел снег, редкий и мокрый, и, затаившись на ходу, я спрятал свой «голуаз» в рукав.

Огибая островок, вверх по течению уходила баржа. Затягиваясь из рукава, я провожал ее взглядом. *Loin, plus loin...* Во мглу вполне селиновскую — хотя и рассветную.

Удар воды обдал меня с головы до ног. Я бросился за огнями «мерседеса».

— Сволочь!..

Но ни булыжника, орудия пролетариата, ни бутылки, ни даже свидетеля для солидарности... Мост в обе стороны пуст. Я отбросил сигарету за парапет, утерся и побежал, наблюдая, как неохотно приближаются небоскребы.

Вниз по лестнице — и по набережной.

Мой небоскреб в Курбевуа, местный филиал американской фирмы, освещал мглу люминесцентным сиянием. Я скользнул по газону. Ворота подземного гаража уже опущены. Стоя у гофрированной жести, я причесался и стряхнул расческу. К счастью, опоздал не я один. Ворота поднялись перед съехавшей машиной, и, фыркая на выхлопы, я вбежал в подземелье, мимо запаркованных машин, в дальний угол, где над стальной дверью горела красная лампочка в проволочном абажуре.

Бригадир, уже весь в белом, причесывался перед зеркалом, прицепленным к стояку металлического стеллажа. Иссиня-черные волосы сияли. Зеркало было в алой пластмассовой рамке, и он взглянул на меня оттуда, мрачный и красивый. Я хлопнул по крутому плечу:

— Салют, Мигель.

Он свел брови:

— Опаздываешь, Алехандро.

Васко на это мне подмигнул. Он стоял в проходе, сжимая железом реек и шурясь от дыма свисающей сигареты «Данхилл». В следующем проходе, складывая брюки, посвистывал Али, высокий и женственный, а старик Мустафа в углу на корточках уже оживлял свои кисти бензином.

В моем отсеке одежда была сложена на нижней полке — перед рядами папок, в которые я уже сунул нос. Есть одно ведомство, которое отвалило бы миллионы, чтобы ознакомиться с их содержанием. С чувством удовлетворения я снял купленную на Марше-О-Пюс солдатскую куртку и натянул на свитер белую спецовку. Лязгая пряжкой, скатал джинсы. Холод был как в морге. Шерсть стала дыбом на ногах, а то, что в трусах, спрессовалось. Спецштаны велики, но одновременно коротки — в связи с чем от работы вприсядку уже лопнули на коленях. Я вытащил из джинсов ремень, задрал спецовку и подпоясался. Сунул кулаки в карманы и, оттягивая парусину, вышел в проход.

Мигель оглядел бригаду, но по поводу моих прорех на этот раз только вздохнул. . .

— Vamos.

Что значит: «двинули».

Будучи рабочей аристократией, никогда не оставляющей после себя puntos negros, Мустафа подхватил банку с белилами и кисти, а мы разобрали свои немудреные ведра, губки, тряпки, порошки.

Лифты здесь не для нас. Мимо шершавых бетонных стен мы поднялись в фойе, где за роскошным мраморным столом с книжечкой в руках сидел завхоз этой конторы — тоже испанец, но иного рода. Принимая у Мигеля ключ, он отложил лиловый томик Дилана Томаса Death and Entrances, перехватив при этом неосторожный взгляд черно-рабочего. Когда я сворачивал на следующий марш, он все еще смотрел мне вслед.

— Он что, поэт?

— Педик, — сказал Мигель, — марикон. Но хорошо устроился.

— Они такие, — поддакнул Мустафа.

На втором этаже он втолкнул в щель кофейного автомата полуфранковую монету и хлопнул меня по плечу:

— Давай.

Я выбрал кнопку «эспрессо», а когда выпал изящный снежно-белый стаканчик и полилась благоуханная струя, ткнул еще и в «добавочный сахар».

— Мустафа! Ты спас мне жизнь.

Свой «эспрессо» он пил без сахара. Мы облокотились на перила.

Глядя на нас, соблазнились и прочие. Даже Али взял себе горячий шоколад.

Потому что понедельник. Самый гнусный день.

Первым допил Васко, отшвырнул стаканчик и вынул очередной «Данхилл». Роскошная пачка была воскресной, с последней сигаретой. Без сожаления он закурил, подбросил зажигалку, поймал и свистнул на стук каблучков. Смакуя свой «эспрессо», мы обернулись: секретарши, задрав подбородки и крутя попками, свернули за угол. По этому поводу мы разговорились — кто чем вчера занимался.

Васко ходил с младшим братом на фильм-карате. Али водил Кончиту на фильм «Шарлотт, муй та кюлотт», а Мигель своих детей — в Версальский дворец. О-оо. . . А ты, Мустафа? «Никуда не ходил», — ответил старик.

— А ты, Алехандро?

— Что?

— Чем занимался в воскресенье?

— Свободу выбирал.

Под общий смех я погасил окурок в кофейной гуще.

Мне достался коридор — и, надо думать, не случайно. Мало того, что руки все в порезах от алюминиевых рам, — на прошлой неделе одно из этих говенных окон меня едва не выбило наружу. Али, напарник, вошел в кабинет и увидел, как я боролся за жизнь, влезая внутрь. И стукнул, видимо. Потому что в субботу, распределяя конверты с личностью, патрон заметил, что у меня есть возможность пустить его по миру — если, конечно, я сумею выпасть не разбившись насмерть.

Оно и лучше, что отставили от окон: приходилось отодвигать тонны канцелярской мебели, которую здесь льют из танковой брони. А в коридоре одна забота — стремянку переставлять. Причем только по прямой, поскольку в ширину я потолок достаю от края до края.

Потолок здесь с двойным дном, из плиток пенопласта, серого в крапинку. Посреди каждого блока из четырех плиток — дырка с ободком и запрятанной вглубь лампочкой. Оттирая копоть с пенопласта, эти эмалированные ободки я оставляю себе напоследок: и в этой жизни надо как-то развлекаться, а плавное, легко смывающее грязь движение губки вокруг слепящей стоватки — акт почти сладострастный. Алюминиевые рейки, поддерживающие потолок, — удовольствие тоже, но поменьше. Что неприятно — так это вечно мокрый рукав свитера под спецовкой.

Пора менять воду.

На правах недочеловека я пользуюсь исключительно дамским туалетом. Не столько из-за запаха — здесь, во Франции, дезодорант стирает разницу между «М» и «Ж», — а потому что, пока набирается вода, можно расслабиться, глядя на себя в зеркало и представляя (а если повезет, и заставая за малым делом невидимых секретарш): шорох колготок, сощелкивание слипов, нетерпеливая заминка — и эта неожиданная вертикаль, буравящая воду унитаза, конечно же, голубую. . .

Неторопливо я завинчиваю кран, вынимаю ведро и возвращаюсь под потолок. Отжимая океанскую губку в новой воде, прозрачной и горячей, приятно возобновить работу. Губка как живая.

Проверив качество и количество отмытого потолка, Мигель наградил меня сигаретой. Бригадир — человек малокурящий и может себе позволить «Мальборо».

— Vamos comer, Alexandro.

Мы спустились в гараж.

Слева от нашей двери к бетонной стене придвинуты два цеховых стеллажа. Перед ними — железный стол со скамьями, тоже железными и холодными, мы их сначала устилаем специально заготовленными картонками. Стол накрывается прихваченной по пути, из мусорного бака, газетой. «Le Monde». Человек семейный, Мигель утратил интерес к внешнему миру. Поэтому он садится лицом к нам. Мы курим и наблюдаем, как разъезжаются на обед французы. Малолитражки секретарш, спортивные машины молодых специалистов (моих ровесников), большие и тяжелые лимузины седовласых боссов. Отваливают задом от стены, разворачиваются — и под врата, на серый свет полудня. Уезжают все. Остается ароматный запах выхлопов. Бетонно, пусто, сумрачно и стыло. Ворота опускаются, становится уютно. Из газеты Мигель по соображениям гигиены выбрал только серединные листы, где внутренние их дела, экономика, финансы. Веет скукой, тем более что фотографий газета из снобизма не печатает.

— Его только за смертью посылать! — Мигель закуривает вторую сигарету. — Все они такие, португальцы.

— Индию зато открыли, — говорю я.

— А мы Америку! Подумаешь, Индия! Третий мир.

Мы не спорим: Мустафа из Марокко, в прошлом испанского, а у меня и Али жены — испанки.

Стук ногой по жести. Али вылезает и бежит к воротам — нажать красную кнопку.

Васко бухает на стол коробку: «Разбирайте, где чье!» А сам садится и развинчивает пиво «Вальтазар». Бутыль на полтора литра с зелеными ярлыками и пластмассовой головкой. Протягивает:

— Давай, Алехандро!

— Васко у нас богач, — говорит Мустафа. — Всегда зеленое берет.

Обеденный «Вальтазар» старика — в удешевленном, красном варианте.

— Два франка разницы.

— Да, но зачем им отдавать? Градус тот самый. А экономии полсотни в месяц. В год шестьсот.

Васко открывает рот:

— Шесть сотен? Это же целая моя неделя?

— О чем и речь.

Мигель — через стол:

— Слушай сюда Васко... — Карманной навахой, лезвием к себе, он уже взрезал длинный кусок «багета», выложив белое нутро батона влажными ломтями ветчины. У Мигеля одна тема: Васко-де наживет себе желудочные неприятности, если и дальше будет дуть пиво натошак. — Гастрит! А то и чего похуже, — ворчит Мигель, неизвестно как наживший себе в «дуз Франс» язву желудка.

Васко лупит себя по литой стали живота.

— Этим — гвозди могу переварить. — Он уже выдул четверть бутылки. — В Анголе, когда дезертировал, я эту, как ее, съел.

— Неужто крысу? — Мустафа заранее сплюнул.

— Нет, как это по-французски?

— Скажи по-португальски, я пойму, — предложил Мигель, а когда Васко сказал, кивнул: — Запомни. По-французски — «la hiena».

На этот раз Мустафа плюнул с искренним отвращением.

Я посмотрел на Васко новыми глазами.

— И ничего?

— Ты видишь.

— А как ты ее поймал?

— Сам не знаю.

— Ружье?

— Только нож.

Мигель пояснил:

— Голод, Алехандро, оселок разума. — Он переломил свой сэндвич и меньшую половину протянул португальцу: — Поешь, Васко. Да не спеши, полтора часа наши. А есть нужно — слушай сюда! — не ам-ам. Осмыслять при этом надо, что и как в тебя входит. Не смейся, дело говорю.

Но Васко уже набил рот и поспешил забить лучшее спальное место на стеллаже — нижнее, где потемней. Он лег прямо на железо и закрыл глаза, перекатывая при этом желваками, — дожевывал. А когда на том же уровне соседнего стеллажа, подстелив картонки, устроился Али, португалец уже крепко спал.

Я сходил к мусорному баку за газетами. Обмотался ими, прихватил картонку и влез на среднюю полку. Как будто я еду, а они мои попутчики. За столом Мигель, покончив с йогуртом, непрерывной ленточкой спускал с яблока золотистую кожуру, а Мустафа доедал банан, толстый, шершавый и снежно-белый. Фрукты в этой стране едят не только дети. Даже вот такие вот сугубые мужики нимало этим не смущаются. Я влез в картонку с головой. Натянул на кулаки рукава свитера, зажал их между бедер и под скупой диалог по-испански за-

крыл глаза. Я их не очень понимал, но было ощущение, что все путем. Что наконец-то я сел в тот самый поезд. Хорошо бы, конечно, вскочить в этот поезд в возрасте Васко, а не в середине жизни — когда не так просто приобщаться к физическому труду. Что я делал все эти годы? Господи, тридцать без малого! Уткнувшись лицом в картон, пахнувший по-западному, хотя и неизвестно чем, я мысленно упростил свой случай — так рассказываешь свой невероятный роман человеку хоть и в элегантном, но штатском, который, поминутно зажигая желтую сигарету из мансовой бумаги, тычет в машинку двумя пальцами. Опуская при этом второстепенные сюжеты.

Например — такой.

Однажды в московском метро Александр и Инес столкнулись с девушкой, лицо которой вдруг искривилось как от боли. Красивая, высокая и в западной дубленке-макси — сразу видно, что *дочь*.

— Не помните меня?

От беременности глаза Инес стали еще больше и смотрели прямо, но мимо, но он-то был вполне уверен.

— Нет. . .

— Нас направили за границу, и меня к вам привезли. Я вам собаку подарила. . .

Он кивнул вспомнив:

— Милорд.

— Еще жив?

— Надеюсь. Он той же осенью сбежал.

— Как это случилось?

— Мы с ним гуляли по ночам. Он вырвал поводок. Я не догнал.

— Конечно, русская борзая. . .

Они молчали, глядя друг на друга.

— А с вами тогда, — решился Александр, — друг мой был. Не помните? Альберт?

Слезы покатались по ее лицу.

— Что с ним стало?

Девушка охватила его за отворот пальто, она стояла и открывала рот, пытаясь превозмочь судорогу, но сумела только зареветь и опрометью броситься в уходящий поезд. Это было на станции «Проспект Мира». А они с Инес возвращались из Дворца бракосочетания, где им отказали в регистрации; это было еще до того, как в их сюжет вторглись силы, превосходящие убогое советское воображение Александра, — силы международного коммунистического движения.

Проснулся я от грохота:

— А трабахар, Алехандро! А трабахар!

Я сбросил с головы картонку и повернулся так, что листовое железо загудело.

— Ебт! . . . — трехэтажное родное замерло на губах.

Бригадир смотрел с упреком:

— Ты должен молчать по-русски, Алехандро. Не забывай, что здесь ты для всех — юго.

Я свалился на пол и сорвал с себя газеты.

— Югославы тоже . . . Самовыражаются по-русски.

— Забудь, — сказал Мигель. — Выучи на этот случай парочку французских.

Гараж был снова забит машинами и газами. Вкус у сигареты, которой он меня утешил, был такой, что после затяжки я выбил из нее огонь и раздавил его на полу. Бычок вонял омерзительно, и я спрятал его в нагрудный карман — до лучших времен. Все собирались в угрюмом молчании. Только Васко все ля-ля да ля-ля. Это был наихуд-

ший момент, и, разминаясь, я заставлял себя не думать о том, сколько ведер еще предстоит мне сменить до конца раб-дня...

В последнее я окунал руки, как в серную кислоту...

В отделе, куда, закончив коридор, я внес стремянку, была только одна сотрудница. Отставив зад и уперевшись локтем, она перелистывала журнал мод. Провокационную позу она не сменила, только покосилась. У меня все болело, когда я влезал на потолок. Отсюда-то я и увидел сквозь верхние стекла металлических панелей, что в отделе есть еще и начальник. Я его видел в гараже, у него была спортивная машина, весьма его молодившая. Сидя в кресле, он ворковал по телефону; из окна открывался вид на старые дома Курбеуа.

Засмотревшись, я выронил губку, которая сочно шлепнулась об стол секретарши.

— О! — отпрыгнула она.

— Пардон.

Я спустился и вытер стол рукавом. Очаровательная женщина смотрела на меня как на говно.

— Мадемуазель Ля Гофф, на секунду!..

Она убрала свой «Вог» в ящик и ринулась в зону начальства. Облачко ее духов растаяло.

Я взгромоздился под потолок и отжал губку в серной кислоте. Дома Курбеуа были все так же серы, но мужчина в кресле — он был в бледно-зеленом пиджаке и розовой «бабочке» — разевал по-рыбьи рот, откинувшись так, что я сначала подумал — ему дурно.

Заглянул Мигель:

— Ля гер е фини!

— Тс-с, — приложил я палец к губам. Спустился, вышел и, складывая стремянку, поделился недоумением. Но Мигель только плечами пожал:

— Francesas. Для них это как...

Уборщицы, которые поднимались нам навстречу, тоже были испанки, а с ними мартиниканка, веселая и молодая. Испанки серьезно и вежливо ответили на «буэнас диас» бригадира, а мартиниканка мне подмигнула: «Салю!»

Мы уже переоделись, а Мигель с Мустафой все оттирали бензиновыми тряпками — сначала ведра изнутри, потом руки. Им с Васко ехать в Версаль, и мы с Али пожали им предплечья.

— Смотри не опаздывай...

Али заметил, что я держусь подальше от края платформы, и, видимо, сначала решил, что это от дикости:

— В Москве метро нет?

— Есть.

— Боишься, что столкнут под поезд?

Алжирец недаром был из страны, идущей по пути прогресса. Кое-что соображал.

— Вроде не за что.

— Ха! Столкнули же недавно старика. Не читал во «Франс-суар»? Какой-то косоглазый — ни с того ни с сего. Ударил ногой в спину и в общей панике сбежал.

В вагоне мы держались за общий поручень.

— На танцы пойду сегодня.

— Один?

— Кончита же беременная. Пусть де Фюнеса смотрит. У вас телевизор цветной или черно-белый?

— Никакого.

— Разве? У нас уже цветной. Салю!

ЭТУАЛЬ. Я пересаживаюсь на вторую линию, которую выучил уже наизусть. **ТЕРН, МОНСО, РИМ, ПЛЯС КЛИШИ, БЛАНШ, ПИГАЛЬ** — где, давящие на психику своим цветущим видом, выходят туристы из Бундеса — **АНВЕР, ЛЯ ШАПЕЛЬ, ЛУИ БЛАН, СТАЛИНГРАД, ЖАН ЖОРЕС, КОЛОНЕЛЬ ФАБЬЕН** и наконец **БЕЛЬВИЛЬ** — что значит, господа, «Прекрасный город»...

На фоне почернелых домов кишит жизнь. Тогда еще этот квартал китайцы не завоевали и народец тут был — всех цветов. Сбывают что-то с рук, сражаются в наперстки, в три карты, толкуют на углах о чем-то мирском и темном, озираясь при этом так, будто в планах — налет на банк.

На этот город я обменял столицу сверхдержавы.

Je ne regrette rien. Хотя название квартала на склонах холмов Менильмонтана звучало иронично и во времена, когда здесь родилась Пиаф. Тогда здесь еще жили французы. Сейчас их нет — или почти. Североафриканский Гарлем. Под двойным доминионом вдоль рю Бельвиль то кошерное мясо, то мергезы, и на вывесках Зеленый Полумесяц сменяет Звезду Давида и наоборот. Если бы у меня спросили о способе решения арабско-израильского конфликта, я бы ответил не задумываясь: «Бельвиль».

В начале рю Туртий я покупаю пачку сигарет, в конце выпадаю в осадок и вытягиваю ноги в югославском кафе. За немой витриной — рю Рампонно с видом на мой дом. Катясь под уклон, — советская газета еще напишет «ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ» — жизнь моя остановилась здесь.

Братья-славяне перевозбуждены. Кроме ругательств я понимаю только, что в нашем квартале кого-то убили. Гашу окурок в алюминиевой пепельнице, допиваю кофе и выкладываю на мрамор три франка.

В окне на пятом этаже два силуэта — дочь и роковая женщина по имени Инес.

Анастасия прыгает на шею:

— Папа пришел!

— Мы уже волновались, — говорит Инес. — Как было?

— Нормально.

Консервированная фасоль и размороженные бифштексы из родного супермаркета. Нет ничего вкусней. Инес приносит бутылку «Кроненбура». Потому что в семье событие. Первый день Анастасии во французской школе.

— Что-нибудь понимала?

— Манже. Учительница показала на тарелку и сказала: «Манже».

Будет говорить на языке цивилизации. Хмельные слезы выступают мне на глаза.

— Иностранцев в классе много?

— Все иностранцы. Одна девочка японка. Но русская только я.

— А учительница?

— Француженка. Только не учительница, а метресс. Мама, мне холодно без трусиков.

— Завтра получишь. Надо бы ребенку еще одни трусы, а то чуть что — катастрофа.

— Хочу с сердечками. Которые в «Призюнике». А еще хочу, чтобы у меня был зизи. Хочу писать стоя, как мальчики.

— Она в школе так и сделала. Трусов при этом не снимая.

— Почему?

— Там вместо туалета дырка. А вокруг следы людоеда.

— Однажды в Париж приехал один американский писатель.

У него тоже была дочь. И даже две. Он был знаменитый писатель, а они писались в трусы. Сортиры здесь не для девочек со вкусом.

— Еще есть девочка из Югославии. У ее родителей кафе, то, что напротив. Они богатые, но ее бьют.

— Видишь? Мы, хотя и бедные, не бьем.

— А почему мы бедные?

— Потому что свободные.

— В Москве не были?

— Нет.

— Зато в Москве у нас все было. Даже телевизор. Почему вы все оставили?

— Доедай.

— Не хочу. Я телевизор хочу. . .

Перед сном транзистор, который я нашел в мусорке на улице, сообщает, что в квартале Бельвиль шестью выстрелами из пистолета убит политэмигрант-журналист.

— Квартал у нас, однако.

— В богатых убивают точно так же.

— Был бы хотя бы пистолет. . .

— Не Техас. Без разрешения не купишь.

— Можно и без. Мне на Блошином рынке предлагали. Но дорого, месяц жизни. . .

— От государства защититься невозможно. Висенте всегда говорил, что если он жив, то только благодаря Франко, потому что нет решения убить.

— То есть надо стать фаталистом?

— Другого выхода нет.

Чувствуя себя безоружным, уснуть я не могу. . .

Оставив набитые жратвой картонки у входа в табачную лавку, мы с Мустафой купили сигареты и — спиной к продавщице — сняли со стеллажа журналы: он — «Люи», я — «Плейбой».

Наши картонки ждали нас у дверей. Мы взяли их в охапку и двинулись под мокрым снегом. Мустафа на ходу заглянул в журнал.

— У тебя от этого встает?

— Мустафа! В первые дни у меня даже на аптеки вставал. . .

— То есть?

— На витрины с рекламой.

— Там же груди одни.

— И тем не менее.

— А сейчас?

— Прошло. На аптеки.

— Пройдет и на журналы, — пообещал старик. — И на фильмы пройдет.

Дочери у него работали в Германии; и хотя был он жилистый и сильный, но весь уже седой — даже волосы на груди.

— Может, — предположил я, — у тебя вообще прошло.

— У меня? — глаза, печальные по-библейски, вспыхнули гордым огнем: — А вот в субботу ходим на Пигаль — давай? Там ты увидишь.

— Давай ходим.

Бригада мрачно курила в ожидании обеда.

— Ты бы зашил себе штаны, Алехандро, — сказал Мигель. — А тебе, Мустафа, побриться бы не мешало. Как вы в таком виде на люди выходите? Не понимаю. Поэтому они нас и презирают. Из-за таких, как вы.

Игнорируя, Мустафа отвинтил пиво:

— Тома, русо!

— Надо следить за собой. — Мигель раскрыл наваху и вспорол багет. — Иначе ничего у вас во Франции не выйдет. Так и останетесь неудачниками. А как вы думали? Во Франции самое главное — внешность. Вот посмотрите на Али.

Мустафа огрызнулся по-арабски.

— Мигель, — сказал я, откусывая сандвич. — Давайте сходим на Пигаль, а? В субботу, всей бригадой...

— Куда?

Али с Васко засмеялись.

— На пляс Пигаль.

Бригадир даже перестал жевать:

— Я ведь женат!

— Я тоже, — сказал Мустафа.

— Сравнил! Твоя в пустыне, а моя в Версале...

Али засмеялся:

— Жены боится...

— Не жены, — сказал Мустафа. — Проституток.

— Кто, я?

— И знаешь почему? Потому что они француженки.

— Я — проституток? Лас путас — я?

— Так как?

Бригадир замолчал и сдвинул брови.

— В субботу, говоришь?

— В субботу.

— Черт с вами.

Мы завернулись в газеты и легли на железные нары, а Мигель еще долго не мог успокоиться. Ворочался и прогибал железо. Спросил: а видели мы фильм «Эмманюэль»? Мы видели. Он тоже ходил с женой, и фильм ему понравился. Но пляс Пигаль? К лас путас? Последнее, что я услышал, было многоэтажное «ме каго ан ла лече де ла пута вирхен Дева Мария»...

Мне стало как-то не по себе. Будто сокрушил последний бастион христианской цивилизации.

— Раздвинь! Раздвинь! — закричал впереди один зритель.

С помоста женщина крикнула в ответ:

— Десять франков!

Монета шлепнулась на доски, и она присела.

— Тьфу, — плюнул Мигель.

На помосте женщин грели радиаторы, и они, закончив стриптиз, сразу влезали в свои дубленки, но здесь, среди заиндевевших стен, стоять было холодно. Мы повернулись и вышли. Это был дешевый рождественский стриптиз, пять франков за вход. Над бочкой с костром женщина держала руки в беспалых перчатках.

Мы вернулись в метро. Все было залито красноватым светом: заиндевевые деревья, и косая эта площадь, и карусель машин, сверкающая отражениями неона, и стекло киоска, и даже околевавший у пылающей жаровни продавец каштанов — эфиоп. Сквозь мгlistость с неумолимой четкостью читались вывески типа НЮ ИНТЕГРАЛЬ... ЛАЙФ-ШОУ... ЭРОС-ШОП...

СЕКС.

Зарождаясь в глубине бульвара, это слово змеилось по обе его стороны и, выползая к нам на площадь, обвивало, как удав, как изначальный Змей.

— Так что? — спросил Мустафа.

Сквозь стекла киоска на нас смотрели обложки журналов. Радостные девушки на них раздваивали себя трусиками. У каждого из нас в кармане похрустывал конверт с получкой за неделю.

— Что-что... Идем,— сказал Мигель.

— Холодно,— поежился Али.— Наверное, домой пойду. Телевизор посмотрим лучше.

— Миерда же сегодня,— сказал Мигель.— Ни одного фильма.

— Зато концерт. Там этот будет...

Васко встрепенулся:

— Кто?

— Как его... Комик один. Кончита очень его любит.

— Как знаешь...

Али вынул из кармана руку и распроштался.

Насвистывая, он побежал в метро.

— Конечно,— сказал Мигель.— Телевизор у них цветной. Ни в чем себе не отказывают. Но ничего, вот будет ребенок, узнают...

Плечом к плечу мы двинулись, я— с острым чувством нарушения табу. Никто не знал, что перед выдачей зарубежного паспорта у меня взяли подписку: избегать, среди прочего, сомнительных мест.

— Может быть, по пиву для начала?

Мигель сверкнул глазами:

— Vatos.

Мы вклинились в толпу. Месье, застегнутые на все пуговицы и с отсутствующим видом. Морячки в беретах с красными помпонами. Из-за занавески с гоготом вывалилась группа пожилых американцев фермерского вида— в обнимку с женами. Просияв набриолиненной прической, зазывала схватил Мигеля за рукав.

— Убери руку.

— Месье, не пожалеее, — совал тот контрамарку, пока не согнулся оттого, что локоть бригадира въехал ему под ложечку.

В проулке красавица мулатка упиралась в стену лопатками и ногой. Мигель покосился на мускул бедра:

— Вроде ничего.

— Мужик же,— прыснул Мустафа.

Мигель оглянулся:

— У него же эти...

— Парафиновые наколол.

— Да ну?

— Говорю тебе.

— Ха-ха... А под юбкой тогда что?

— Как у тебя и у меня.

Мигель сплюнул...

Справа открылись витрины зала игральных автоматов. Васко свернул вовнутрь и, ухватившись за первые же обрезиненные рукояти, погнал по экрану гоночную машину. Мигель покрутил головой: пацан, мол. Реакция, однако, у пацана была, и в ожидании, когда он разобьется, мы закурили. Васко не разбился, но перешел к другому автомату. Докурив, мы, как это принято в Париже, затоптали окурки на мраморном полу.

— Не надоело? Эй, Васко?

Васко не обернулся:

— Охота поиграть...

— Мы что, играть сюда пришли?

— Ладно,— сказал Мигель.

— Как это «ладно»? Сейчас найдем тебе подходящую по возрасту. Или мамаш предпочитаешь? Нет, ты скажи ему! Он же всю получку спустит.

— Если хочется,— бормотал Васко, сбивая одну советскую ракету за другой.

Мустафа выругался по-арабски и вышел.

— Так что, Васко, до понедельника?

— Ага.

Мустафа ждал нас у витрины, за которой прокручивался ширпотреб: зажигалки, пугачи, штампованные часы, пластмассовый паук, слепок женских грудей, сплюснутые целлофановой упаковкой резиновые маски с разинутым красными ртами. Проплыл здоровенный огурец, темно-зеленый и в бородавках.

— Х-ходер... — Мигель сплюнул под витрину: — Знаешь, почему он с нами не пошел?

— Почему? — спросил я.

— У него девчонка завелась.

— У Васко?

— Ну. Тоже португалка.

— Ну и держался б с ней за ручки. Чего он с нами-то пошел?

— А поругался. Они знаешь какие, португалки? О! — Мигель выпятил губу: — Еще серьезней, чем, Алехандро, наши с тобой испанки. У тебя с твоей до свадьбы было?

На мгновение я вспомнил Москву.

— А у тебя?

— Ха,— ухмыльнулся бригадир.— Если б было, я еще подумал бы, брать ее или нет.

— Тем и заманивают,— сказал Мустафа.— Когда поймешь, что ничего там нет, уже, брат, поздно...

— Но ты-то от своей сбежал.

— Да уж, «сбежал»! Два раза в месяц деньги перевожу.

Мы не заметили, как миновали пляс Бланш и спустились на пляс Клиши. Где и спохватились, но — поздно: секс кончился, на нас смотрели обычные дома.

Мигель отвернул рукав.

— Наверное, пора.

— Чего?

— Да как-то оно...

— Обожди. Тут место одно есть. «Абатуар» называется. Очередь, правда, но только пятьдесят франков.

— За что?

— Не за ночь, конечно.

— Я вот что думаю,— сказал Мигель.— Что Алехандро хорошо: сел в метро и прямо до Бельвиля. А нам с тобой до Сен-Лазара, там поезда ждать, да и по Версалю полгорода пешком. Может, поехали? На пару будет веселей.

— Ты уж развеселишь,— иронически бросил старик.

— Все не одному.

— А потом? Ты в семью, а я?

— Ко мне зайдем, посидим...

— А потом?

— Потом, потом — заладил! Потом воскресенье будет.

— Не люблю воскресений,— упирался Мустафа.— Я как сейчас люблю. Когда кажется: что-то еще будет...

Так мы стояли, глядя на пар, который срывался из решеток над станцией Клиши, а потом я пригласил их в кафе. И мы постояли еще, но в тепле и с пивом на медной стойке. Перед тем, как отправиться на Пигаль, мы оттерли бензином руки, но белая кайма под ногтями была уже несмываема, и я прятал руку от бармена. Потом я вытер усы и вытащил конверт. Мигель перехватил запыстье, я вырвался.

— Брось, я приглашал.

Разорвал конверт и вынул сотню. Потом собрал бумажки сдачи, взял блюдечко с мелочью и ссыпал в карман своей куртки. На прощанье Мустафа положил в него франк, который бармен смахнул: «Мерси!» — и перевернул это блюдечко из старинной темно-зеленой

пластмассы с адресом на донышке и этим словом, отштампованным на сердце: Paris.

— Ладно, поехали,— сказал Мустафа.

— И деньги целы будут. Еще спасибо скажешь.

— При чем тут деньги? Просто никто мне не понравился. В следующую субботу вернемся,— сказал Мустафа,— тогда я тебе покажу.

— Ладно.

— Знаешь, какой я в молодости был? О!

— Верю,— сказал я.

— А еще лучше — знаешь? На Сен-Дени съездим. Ты был на Сен-Дени? О-о... Знаешь, там какие? Не то что здесь.

— Здесь тоже неплохие,— сказал Мигель.

Мы допили, вышли и спустились в метро, где бригадир сказал:

— Не опаздывай в понедельник.

— Где ты был так долго?

— С ребятами прошелся.

— С какими?

— С сотрудниками.

— На Пигали, наверное, были.

— Точно.

— Надеюсь, ты шутишь?

— Успокойся, шер. Всё о'кей. Мы просто прошлись по полям Елисейским. Примем душ?

Но Инес была не в настроении.

Звонок ранним утром, еще темно, пол ледяной, я сажусь на корточки и беру трубку.

Это Палома, сестра Инес. Из кафе. Кончает за «гинесом» ночную смену. Сегодня, говорит Палома, она испытала самый сильный шок в своей жизни.

— В связи?

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Ну, будет сюрприз. Нет, как ты мог?

Она бросает трубку.

Несмотря на солнце, снег на газонах в парке Buttes Chamont не таял. Мы, вконец околевав, решили вернуться домой. Перед книжной лавкой на рю Боливар был выставлен стенд с воскресной прессой.

Вдруг Анастасия вырывается из рук:

— Это папа! Это папа!

Я повернулся — и подошвы как примерзли. Справа в широкополой шляпе была Джеральдина Чаплин, ниже Артур Кестлер с сигарой, а по центру рисованный портрет романтического красавца, пришибленного мировой скорбью. **ЭКСКЛЮЗИВ — шло над портретом — СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ТРИДЦАТИ ЛЕТ ВЫБРАЛ СВОБОДУ ВО ФРАНЦИИ.**

Почему же «советский»?

Я выдернул газету, развернул. Обрамлен был красавец текстом своего интервью, которое, обрываясь, продолжалось на третьей странице между снимками серьезного юноши и хохочущего Солженицына с всклокоченной бородой. Мэтр, так сказать, и ученик...

— Наконец-то напечатали,— сказала Инес. — Теперь ты защищен гласностью. Дай мне сигарету.

На углу я остановился.

— Мне надо выпить.

В кафе они размотали свои шарфы. Подошел гарсон. Он посмотрел на меня, а я на Инес, которая и заказала — апельсиновый сок, свежесжатый, льда не надо, и два кофе.

— И ан кальва, — добавил я.

Инес посмотрела на меня и перевела:

— И рюмку кальвадоса.

Оружие в доме было. Еще в первый же наш день в Бельвиле я нашел топор. Он лежал на кухне под раковиной. Защитившись гласностью, я выволок его, вытер тряпками, отскреб наждачной бумагой и взял с собой в постель.

— Не впадай в паранойю.

— Кто впадает?

Поверх одеяла мы навалили все наши пальто, так что мне было тепло — за исключением руки с топором: рука замерзла. Когда лестница за дверью начинала скрипеть, пальцы сами сжимались у топора на горле. В перерыве между тревогами я отпускал его, чтобы согреть руку у нее под мышкой.

— Неужели ты способен зарубить человека?

Я не ответил.

— Это ужасно, — сказала Инес. — Не знаю, как я буду с тобой жить. Запад проявляет тебя с неожиданной стороны.

— Зато проявляет. А то так бы и остался невидимкой. Как все.

— Не знаю, не знаю. . .

Я закрыл глаза. Я почувствовал, как из меня выходит прежний образ. Испаряется вместе с дыханием. Мне его стало жалко, я всхлипнул. Она повернулась и обняла меня. Грудь у нее были влажны от пота.

— Ну успокойся. Что с тобой?

— Х-холодно, — сказал я, содрогаясь от сознания, что я способен теперь на что угодно.

В понедельник, спустившись в гараж, мы обнаружили там хозяина. Поставив рядом свой пикап, Пепе сидел за нашим обеденным столом. Он хлопнул по железу и поднялся. Распахнул дверцы машины, вынул картонную коробку и бухнул об стол:

— Налетай!

Связка бананов, спайки йогуртов, сыры, ветчина, хлеб, кока-кола и много пива.

— Давайте, давайте. . . За мой счет.

Я содрал пробку с «Коненбура» о стеллаж. Настроение у меня, как и у всех, было отличное. Мы заканчивали небоскреб и со следующей недели выходили на новый и волнующий объект — обивать шелками будуары на авеню Фош.

— Ходер, Алехандро, — Пепе смотрел на мои колени. — Снова штаны мне порвал. Третьи уже.

— Вторые.

— Где же вторые? Первые в Сен-Жермен-ан-Ле. Вторые в Нантерре. . .

— В Нантерре, — возразил я, — первые.

— А в Сен-Жермен-ан-Ле? Или не рвал?

— Порвал. Но собственные.

— Разве?

— Спроси у них.

— Ладно, — сказал Пепе. — Снимай. Отвезу жене, починит.

Меня это удивило:

— Как это «снимай»? А работать в чем я буду?

Бригада смотрела на хозяина. Даже Мигель перестал жевать. Хозяин взял со стола его «Мальборо», щелкнул зажигалкой и выдул дым в сторону.

— Работать, Алехандро, ты больше не будешь.

— То есть?

— У меня, во всяком случае.

Мне показалось, что я его не понял. Но у бригады вид был потрясенный, и я поставил бутылку на стол. Мигель назвал хозяина его полным именем:

— Ты что, Франсиско? Работает он хорошо. И парень неплохой.

— Неплохой, говоришь?

Не глядя на меня, хозяин слез со стола, сходил к машине, открыл переднюю дверцу и вернулся с воскресной газетой. Припечатал он ее так, что гул по гаражу прошел.

— Или я обознался?

С портрета на первой странице бригада перевела глаза на меня. Я ухмыльнулся — чисто нервное.

— Так кто это, Алехандро?

— Ну я. И что с того?

В гараже зацокала задержавшаяся на обед секретарша, рядом с которой шел начальник. Они сели в его «Ланчию», завелись и уехали. Параллельно шла нормальная жизнь — адюльтеры, рестораны, эмоции.

— А то! — сказал хозяин. — Когда здесь, наконец, начнется, я первый ворвусь в эту газету. И вот так! — вскинул он воображаемого «Калашникова». — Всех сволочей до одного. И тогда советую тебе мне на глаза не попадаться. Я помогал тебе, как советскому человеку. А ты... Теперь ты по другую сторону баррикад.

Сам он был дезертиром из армии генералиссимуса Франко — «сделал ноги». В Париже подставил спину под случайный рояль и заработал первые франки. Сейчас у Пепе есть все, чего не будет в этой жизни ни у меня, ни у трехсот миллионов жертв коммунизма: кипучая энергия, цветущее здоровье, красивая жена, дети-биллингвы, две машины, миллионы в банках, недвижимость как здесь, в стране убежища, так и в Испании, которая давно на Пепе не в обиде, а главное — вот это дело, приносящее прибавочную стоимость. И эта живая, симпатичная частичка капитализма смотрит на меня, чернорабочего, с горячей ненавистью,

— Какие баррикады... Ты же не коммунист?

— В партию не записан, но... целиком и полностью! — Он постучал себя по груди. — Товарищ Висенте попросил тебя трудоустроить, и я пошел на риск. А ты подвел товарища Висенте. Опозорил его перед Кремлем.

— Не лезь, — сказал я, — в семейные дела.

— Очернил свою страну, как Солженицын. Писатель он! «Экривен!» Таких экривенов я бы к стенке — и та-та-та!

— Ставь! «Калашников» уже выдали?

Хозяин захлебнулся. Вынул из заднего кармана конверт и бросил на стол. Повернулся и пошел к машине. У него и вторая есть — выходная (как у де Голля — хвастался): черный «ситроен ДС» с гидравликой, на котором раз он отвозил меня в Бельвиль после воскресного обеда, на котором сам сделал мне «Куба либре» и говорил, что лично он университетов не кончал и «Капитал» не конспектировал, а вот...

Я крикнул:

— Спятил, да? Я же обо всем тебе рассказывал. И ты смеялся. Пепе, постой! Все, что в этой газете, правда!

Он чуть не врезался в стену, тормознул и высунулся:

— Правда в другой газете! В «Правде!» Знаешь такую? Правда в том, что правые свиньи в жопу тебя трахнули!

Я разорвал конверт и запустил ему под колеса.

— Конформист, капиталист!.. — Захлебнувшись, я перешел на русский: — И рыбку съесть, и на хуй не сесть?

Он выскочил с монтировкой.

Я схватил бутылку. Ее уже открыли, и, замахнувшись я облился. Из горлышка кока-кола хлестала мне на рукав, на грудь и на пол, где, пузырясь, растекалась лужа.

Он отступил первый:

— А ну снимай мою одежду!

Я выложил на стол сигареты (они промокли вместе с обратным билетом на метро, заложенным в целлофановую облатку, — вот сволочь!), сорвал спецовку — а следом сраные спецштаны — и бросил на пол. Уже мне не хозяин, он все это подобрал, швырнул в пикап на банки с краской и вылетел из гаража, ободравшись крышей о забрало, которое еще не успело как следует подняться.

Мигель с Али изучали мое интервью.

Мустафа закурил, сел на корточки и собрал обрывки стофранковых бумажек. За пол рабочего дня мне причиталось 50, но Мустафа сложил шесть сотенных — заплачено за всю неделю.

— Не возьму! — заорал я. — Тоже мне филантроп!

В одних трусах я сидел на железе. Сжимая с одной стороны трицепс, а с другой — косую спины.

— Склеить, и все, — сказал Мустафа.

— Где мы работали, есть «скотч», — сказал Васко.

— Вот и сходил бы.

— Это мы сейчас...

— Не ходи! — крикнул я вслед португальцу. — Я их не заработал.

— Но ходас, Алехандро, — сказал Мигель. — Сюрплюс. Прибавочная стоимость. Ты Маркса проходил?

— Тогда пропьем, — сказал я. — Месье, я приглашаю!..

«Кус-кус» на всех и розовое марокканское. В арабском ресторанчике было грязновато и очень вкусно.

— Сволочь он, Пепе, — говорили они мне.

Я возражал:

— А мне он чем-то нравится.

— Он, в общем, неплохой мужик, — поддакивали мне. — Но сволочь.

— При этом дети у него хорошие.

— Ну, дети! Они уже французы.

— Что с того? Французы разные бывают.

— Зато во Франции свобода.

— Что ты ему-то объясняешь?

— Да что там ее нет, про это каждый знает. Да, Мустафа? — сказал Али.

— Мы-то с тобой помалкиваем в тряпочку, — сказал Мустафа. — Сидим во Франции и радуемся.

— А ты попробуй! Достанут и во Франции. Руки у них какие, знаешь?

— Нам хорошо, мы люди маленькие. А он писатель... Молчать не может.

— Профессия такая...

— Профессия неплохая.

— Это смотря где, — оспорил я.

— Во Франции они живут как боги. Говорю вам.

— Ты-то откуда знаешь?

— Кончита говорила.

— Кончита...

— Она без книжки заснуть не может. Говорит, живут как сыр в масле. Сименон там, Сан-Антонио. Или этот, который серию про САС.

— Видишь? Ты, Алехандро, еще на «мерседесе» в гости к нам приедешь.

— Конечно, по-французски надо писать.

— Научится. Делов-то! Главное, чтоб сочинять уметь, а там...

— «Мерседес» не «мерседес», но сотню в день заработает. Притом работа чистая. Не так, как мы: в грязи да в краске. Перышком по бумаге...

— Еще бутылочку, ребята?

— Наверное, будет...

— Домой же ехать...

— Хорош.

— Тогда по кофе? Эй, сильвупле!..

А было это в Курбеуа за Сеной, где родился Селин и где еще сохранился ломтик той эпохи: облупленные, с трещинами дома с глухими стенами в просвечивающих сквозь известку рекламах вечных ценностей, вроде «перно» или «дьюбонне»; мусор вдоль тротуара; мощеная мостовая, где даже в начале зимы из-под булыжников выбивалась трава. Обязательно вернусь, думал я. Надеюсь, этот отрезанный ломоть до весны не доедят бульдозеры...

— Осторожно в метро, — шепнул Али.

Даже если воскресный номер газеты в понедельник еще не забыли, то просто невозможно было бы опознать его эксклюзив в разбитом и хмельном люмпене, свесившем между потертых вельветовых ляжек изрезанные руки с грязными ногтями. Но на меня смотрели в метро. Хотя и отводили взгляд, когда я вскидывался в упор.

Инес сказала, что телефон не умолкал весь день. На предмет интервью меня домогались средства массовой информации этого мира, как-то: Би-Би-Си, Радио «Свобода» и еще...

— Издательства не звонили?

— Издательства нет...

— Еще позвонят! — сказал я уверенно. — Мне нужно книжку продать. Как можно быстрее.

— Куда спешить? Мы же на Западе.

— Вот именно...

— Что случилось?

— Меня с работы выгнали.

Инес поднимает голову со стоном, но Анастасия не просыпается.

— А кофе?

— Готов.

— Принеси мне трусы. На батарее, в душе...

После кофе Инес натягивает сапоги. При этом она морщится, поскольку в поисках работы уже стерла ноги в кровь. Шарф один на двоих, и, надевая его на Инес, я обнимаю ее на прощанье.

Меня будит дочь:

— Папа, мне пора в школу.

Преимущество нищеты в том, что каждая вещь на виду. Я беру с камина расческу.

— С-сс...

— Что?

— Больно!

— Пардон. Сделаю тебе конский хвост, а то опоздаем.

— Не хочу конский.

— Это же красиво. В мое время все его носили.

— Ты не так его делаешь, надо туго.

Капитулируя, я скатываю обратно зеленую резинку, она распускает по плечам свои медные волосы, бросая при этом взгляд самосознающей свою силу красавицы. Четыре года, Бог ты мой.

Холодильник у нас запирается на тяж от эспандера.

Дочь ест, болтая ногами.

— Принеси мне воду, пожалуйста. Только в стакане *авек Сандрийон*. — Имеется в виду банка из-под горчицы — с картинкой.

— А как по-русски?

— С Золушкой.

— Молодец.

В толпе африканских детей дочь исчезает в двери, над которой герб Парижа и сине-бело-красный флаг. Кафе на углу рю Бельвиль и рю Туртий уже опустело, официант в запятанном фартуке сгребает опилки, перемешанные с окурками. С пачкой «голуазов» я возвращаюсь на свой перекресток. В писчебумажной лавке — проблема выбора бумаги. Еще в Союзе, где и с белой проблема, журнал «Америка» впечатлил меня сообщением, что Джон О'Хара имел обыкновение писать на желтой. Возможностью выбора индивидуальной бумаги. Но какую выбрать мне? Желтую было бы эпигонством. Бледно-бордовую? Но к оттенкам красного у меня идиосинкразия. А сиреневый? Его нет. Может быть, поехать в Центр — приходит из прежней жизни. Но какой тут центр? Ты на Западе, где центр только и исключительно там, где в данную минуту ты, — повсюду. Сейчас — вот здесь. И не в бумаге дело. В том, что внутри.

Купив десть цвета увядшего латука, я поднимаюсь домой и ложусь головой на стол. Потом я встаю, открываю дверцу встроенного шкафчика и достаю советский самоучитель французского языка. Я листаю, задерживаюсь на фразе: *«Они встретились в Москве. Она парижанка, он — советский.* Переведите. . .»

На вклеенном листке срок возврата — дата пятилетней давности. Я взял этот учебник в библиотеке «спального города» после того, как загоревшая в закрытом доме отдыха в Крыму Инес в один прекрасный день вернулась в шлакоблочный город на черной «Чайке» со своим отцом, который нас с ней скрепя сердце благословил — на долгую и счастливую жизнь.

Но не на Западе, конечно.

В СССР. . .

Я запускаю самоучитель в угол.

Беру машинку и удаляюсь в кабинет. Ванную хозяин-бретонец превратил в третью комнату — с плиточным полом и высохшим умывальником. Вот перед ним я и сижу — поперек доска, на ней машинка. Я смотрю в стену, но образы прошлого не возникают. Во-первых, потому что воняет. До нас квартиру населяла огромная семья из Африки. Спали вповалку на циновках. Я набиваю каморку сигаретным дымом. Встаю и с треском открываю окно. Внизу мусорные баки, а квадратик двора красный от крысиного яда. Тылы Бельвиля. Их мрачность оживляют только разноцветные сушилки с бельем, выставленные за окна, за которыми — никого. Мужчины на работе, дети в школе, женщины досыпают.

Я закуриваю новый «Голуаз» и, оставив лепрозорий с открытым окном, возвращаюсь с машинкой в цивилизованную часть квартиры. В детской из стены торчат оголенные провода. Надо купить патрон, винтить лампочку. Но это уже излишества — на будущее, пока же можно утешиться тем, что дотянуться ребенок при всем желании не сможет.

В гостиной камин. Бездействующий, но полезный. За его решеткой мы держим официальные бумаги. Еще моя гостевая трехмесячная виза

не истекла, а бумаг накопилась масса — и это все, что у нас есть. Не считая кровати — основы без матраса.

Я сажусь к окну с машинкой на коленях. Не нищета, в конечном счете, раздражает, в проекте она предусматривалась. Антиэстетичность. То, что обивка основы бордовая, сама она голубая, а одеяло на ней армейское. Пластик стульев и стола. Обои по вкусу хозяина-бретонца. Эстетические разногласия с реальностью и на свободе продолжают. Вынося все это «за скобки», я устремляю взгляд на флакон «Герлена», который отражается в черном зеркале каминной доски. Есть еще утешение, которое всегда под рукой: голубая пачка сигарет. С открытым шлемом — бессмертное творение некоего Яхно.

Неужели «голуазы» нарисовал им эмигрант?

Мешок со старой одеждой мы по пути домой заталкиваем в мусорный бак, а завернутую в номер «Русской мысли» стопку супных тарелок, хотя и старых, но полезных, я несу дальше в ночь.

На повороте нас обгоняет машина новых знакомых. Тяжелый «вольво» юзом идет вниз по бульвару Бельвиль.

Я поскользываюсь, падаю. В газете одни черепки.

— На счастье, — говорю я, складывая их у порога чужой парадной, где уже выставлены мешки для мусорной машины.

— А если они в гости придут? Неудобно.

— Вряд ли они придут.

Новый год, встреченный у русских парижан под блюдом с двуглавым орлом империи Российской, я выблеваю в свой сортир. На кухне Инес делает кофе.

— А где Анастасия?

— Спит.

На ней вельветовые джинсы.

— Убери руку.

Я шевелю пальцами в ее заднем кармане.

— Убери, говорю.

— Почему?

— Весь вечер на эту русскую поблядушку глазел. . .

— Я?!

— Не я же.

Окно заиндевело. Я соскребаю, прижимаюсь лбом. Темно. Только одно горит, но почему-то красным светом. Оно зашторено, и жуткий этот свет пробивается по краям.

— Не знаю, о чем ты с ней ворковал, но ее муж предложил мне работу.

— Неужели?

— Домработницей.

— Кем?

— Ну, бонной. . . К русским.

— Ты — домработницей?

— Почему нет? Соцобеспечение хотя бы будет. А то даже к врачу ребенка не сводить.

— С твоим дипломом, с языками? Неужели, — говорю я, — неужели твой отец покорил эту пирамиду, чтобы ты. . . Неужели все это напрасно? Полмира убитых и эта пирамида. . .

— Какая пирамида? Что за бред?

— Хеопса!

Одним ударом я выбиваю стекло. После паузы осколки разбиваются внизу, на крысином пятачке двора. Она меня втаскивает обратно, и вовремя: сверху, вырвав замазку, лезвием гильотины выпадает часть стекла и разлетается по кухне.

Я зажимаю себе запястье. Руку я держу подальше, чтобы не запачкаться.

Кап-кап — пятнает она плитки.

— Чем же ты писать теперь будешь?

— Ногой. . .

В издательстве на рю Жакоб беглый советский писатель выкладывает на стол свою советскую книжку и убирает перевязанную руку.

— Рассказы? Во Франции нет спроса, это в Америке. . .

— Что же, мне в Америку бежать?

— Роман у вас есть?

Чего нет того нет.

— Вот если бы роман. . .

Ступени деревянной лестницы круты по-дантовски и взвизгивают.

Из-за стекол кафе «Флор» парижские интеллектуалы, щурясь на солнце, созерцают толчею, а заодно и нас, садящихся на скамью посреди площади Сен-Жермен-де-Пре. Одеты мы на грани приличия, да и бинт мой на руке не первой свежести. Я затягиваюсь до дрожи пальцев на губах, ощущая, как вздувается желвак под ее взглядом.

— Страна романа. Я предупреждала. . .

Я отстреливаю окурок.

— Пошли.

Дома я ввинчиваю лист в машинку. С этой портативки с русским шрифтом началась моя свобода. Над забитым входом в дом напротив проступает замалеванная надпись: Grand Hôtel. Январское солнце уходит с улицы, но верхний этаж еще освещен. Его окна заложены кирпичной кладкой. Выстрела оттуда можно не ждать.

— Хочешь кофе?

Зная, что в доме этого нет:

— Водки, — говорю я, — ма шер! Стакан — и мы с тобой вернемся на круги своя. Но только чтоб граненый и до краев.



Алла Марченко

ПРОЩАНИЕ С ИМПЕРИЕЙ

Молва, опережавшая и подготавливавшая возвращение эмигрантской литературы «третьей волны», возникала отнюдь не самостоятельно. Ал. Кустарев, в язвительных своих «Исполнителях» («Согласие», № 2, 1993), глядя из Лондона, так описал типовой механизм ее организации:

«У эмигрантов появились свои толкачи, заинтересованные в их продвижении на русском литературном рынке. Корпус толкачей складывался, по-видимому, из трех элементов. Во-первых, это были «старые приятели». Почти все эмигранты были представителями за рубежом каких-то литературных кружков и салонов. Эти кружки и салоны идентифицировали себя с тем или иным эмигрантом и теперь торопились укрепить свой социальный престиж, выводя за руку на большую сцену своих «корешей». . . . Появились и добровольные агенты со стороны. Это были люди, долго мечтавшие о знакомстве со знаменитостями и получившие наконец эту возможность, когда открылась граница. Эмигрантские авторы, приобретшие за годы жизни за границей статус иностранцев, стали удобным транспортным средством для традиционной культурной фарцовки. Третьим глубоко заинтересованным лицом оказались «толстые» журналы. В отличие от индивидуальных агентов, движимых прежде всего престижными социальными мотивами, толстые журналы имели интерес коммерческий, правильно рассчитав, что поступающая из-за рубежа литпродукция — «гарантированный товар в гарантированной упаковке».

Сергей Юрьенен оказался вне этого круга. Хотела было сказать: по счастливой или несчастливой случайности, однако, по размышлении, пришла к выводу, что ничего неожиданного в его случае не было. И потому, что уезжал не как все: «по обстоятельствам скорее матримониальным, чем идейным», как элегантно, но не совсем точно выразился Аннинский, рецензируя «Сына империи» для «Русского курьера». Точнее было сказать что матримониальные обстоятельства были следствием обстоятельств идеологических, на что, кстати, и намекает предпосланный «Желанию. . .» эпитафия — из Достоевского. К тому же уехал, не успев обзавестись ни «корешами», ни известностью в диссидентствующих «кружках и салонах». Да и не с чем ему было в те двери стучаться, поскольку в первой своей и единственной книге («По пути к дому»), изданной еще на родине, «самоограничился» до такой степени, что даже кураторы из соответствующих органов удивились: «Мог бы устроиться и вольней, и дерзновенней». Но — не раскинулся, сжался. Затаил-спрятал — и почти «животный антикоммунизм», и инакость, и штучность. Так затаился, что вышел из гримерной самоцензуры не тем, кем был — подкидышем, пасынком, кукушонком, подброшенным в воробьиное гнездо, — а примерным, почти образцово-показательным сыном империи.

Не как все повел себя С. Юрьенен, и оказавшись за бугром. Не стал работать локтями, дабы пробиться к литкормушкам, для литбеженцев из СССР открытым-устроенным: ушел в гастарбайтеры. Но главным

его преступлением — противу правил-приличий, принятых в эмигрантских кругах, — судя по всему, был роман «Вольный стрелок», написанный сразу же по прибытии в Париж. Вместо того чтобы сосредоточиться на своих тайно-диссидентских страданиях, Юрьенен средуцировал их почти до невнятности. Из всех его литературных автопортретов герой «Вольного стрелка» — самый невыразительный; хоть и наречен, с подтекстом, Иваном и ваньку валяет, но ни до Ивана-царевича, ни до Иванушки-дурака не дотягивает; скорее, из средних: «и так и сяк». Зато антигерой — неподкупный рыцарь Охранки, вольный охотник за инакомыслящей дичью, а заодно, мимоходом-мимоездом, и за «женским персоналом», — получил и семь восьмых романного пространства, и весь наличный запас авторского любопытства и изобретательности.

Увлечись возможностями эксцентрического сюжета (Преследователь, привязавшись к Преследуемому, превращается из Охранника чуть ли не в Ангела-Хранителя), Юрьенен и нас заманил в ловушку: и не хотим, а сочувствуем Казанове от ГБ, почти очарованные его отрицательным, но магнетическим обаянием.

И не обладая даром воображения, можно себе представить, какой ропот — и недоумения, и возмущения — вызвали в эмигрантских сферах и дразнящая рокировка, и романтизированный — польщенный — гэбист! Юрьенен слишком уж явно — грубо и зримо — нарушал границу общего, «взаимного», сюжета, за что и был, как и следовало ожидать, «наказан». Написанный в 1979—80 годах, «Вольный стрелок» издан на языке подлинника лишь пять лет спустя, уже после того, как его перевели на французский, немецкий, английский.

Александр Глезер, редактор первого русского зарубежного издания романа, рецензируя «Вольного стрелка» в «Новом русском слове», видимо, из стратегических соображений сделал вид, что ничего не произошло, что не было ни соуса, ни скатерти и никто этот злосчастный соус на скатерть не проливал. Не понимаю, мол, по каким таким соображениям «ряд русских издательств отказались его печатать». Ведь на его, Глезера, редакторский взгляд, это одно из самых значительных явлений литературы последнего десятилетия.

Ответить напрямую на столь простодушный вопрос было, полагаю, не так-то просто, особенно если учесть реакцию западной прессы — и элитарной, и массовой: в случае с «Вольным стрелком» она, пресса, была не просто доброжелательной, а восторженно-комплиментарной. Даже «Плейбой» откликнулся, посоветовав своим читателям обратить особое внимание на необычный, нетипичный русский роман — роман, который и шокирует, и пленяет.

Короче, с фигурой умолчания пришлось кончать, хотя бы для того, чтобы поставить все эти «монды»-«плейбои» на горох: хвалить, дескать, хвалили, а что к чему — поняли ли?

Так или иначе, но о Юрьенене наконец-то заговорили. Борис Парамонов обнаружил в тексте «Вольного стрелка» мифологические параллели с «Фаустом», а Василий Аксенов — «ошеломительно нового героя». В чем новизна, правда, не разъяснил. Впрочем, в ту пору — накануне, — наверное, и сам автор не смог бы внятно, на понятном, а не на художественном, языке растолковать, для какой высшей надобности этот «гений действия», этот тигр, лениво, по-кошачьи потягивающийся в дворцовых покоях властителей империи, выброшен (заброшен?) в страну, «еле тянущую на севших аккумуляторах». И кем-чем заброшен? Самим Провидением или бессмысленной игрой стихийных сил? Потому, видимо, и вывел его из игры, отправив в монастырь, да еще и в тибетский. . . Справедливости ради следует признать, что и нам, тутошним, надо было пережить Август 1991, исход которого, как оказалось, решили «вольные стрелки из ГБ», а вовсе не жертвенный энтузиазм добровольных защитников Белого дома, — чтобы оценить художественную

интуицию С. Юрьенена, так точно выхватившего — *засветившего* — среди мелькавших на национальном горизонте новообразований — именно эту, а не иную разновидность антигероя.

Да и дальнейшие события и политического, и особенно экономического плана (в разгар «прихватизации») подтвердили: недаром, ох, недаром господа-товарищи НЕ-БЫКОВЫ, сами ленивые, обрюзгшие и не способные ни к какой активной деятельности, так заботливо, загодя, выращивали в придворных вольерах «группу захвата».

Короче: не найдя ни ключа, ни отмычки к загадке главного персонажа «Вольного стрелка», критика — эмигрантская — сосредоточилась на выяснении историко-литературной генеалогии юрьененовского романа и способом сложения и умножения коллективных усилий пришла к выводу: несмотря на перегруженность сексом и несвойственную русской классике ненормативную лексику, Сергей Сергеевич Юрьенен по мироощущению — последний романтик, а по строчечной сути — «связник» (неологизм С. С. Ю), ибо самым непосредственным образом связан с романной традицией 19 века, и в частности, с прозой Лермонтова.

Нечто лермонтовское в «Вольном стрелке» действительно есть, хотя открыто указывается совсем другой источник — «полное собрание сочинений Достоевского» (кстати, оттуда взяты почти все эпиграфы). Кирилл Караев — таково подлинное имя нашего Казановы, — вместо того чтобы «делать себя с товарища Дзержинского», как положено дисциплинированным функционером Всемогущего ведомства, — нет-нет да и взглядывает на сделанный *твердой рукой Лермонтова* «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения», и, находя черты сходства (между Печориным и собой), отмечает их скрытыми цитатами из «Героя...».

Вот несколько примеров.

Печорин: «Во мне два человека».

Кирилл Караев: «Я человек разорванный. Надвое».

Лермонтов о Печорине, черновой вариант:

«Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то, конечно, Печорина можно было сравнить только с тигром».

Кирилл Караев: «Тигра, тигра мне в мотор!»

Под отношения Печорина с княгиней Верой подтягиваются и отношения «вольного стрелка» с «подругой юности» — медноволосой Софи: «единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть... Мы расстанемся... навеки, оба пойдем разными путями до гроба... но воспоминания об ней останутся неприкосновенными в душе моей»...

Словом, конфликт если и не рассосался, то сгладился, и два следующих романа — «Сын империи» (1984) и «Нарушитель границы» (1986) были приняты почти благосклонно: Юрьенен явно «исправлялся». Во-первых, «отделался» от слишком уж ошеломительного, чересчур интеллектуального, нетипичного гэбиста — похоронил заживо за «ледяной белизной Гималайского хребта». Во-вторых, перестав раскидываться, то бишь преобразовать, сочинять, фантазировать, вплотную приблизился к общей всем реальности и наконец — как и подавляющее большинство авторских талантов «третьей волны» — резко повысил автобиографичность своих текстов. Дистанция, разумеется, сохранилась, особенно в «Сделай мне больно» (1989), но она так тщательно, так искусно замаскирована, что простодушный читатель имеет полное право относиться к Александру Андерсу (мальчику из правильной советской семьи, который, вовсе к этому не стремясь — силою вещей, — становится пасынком империи, нарушителем ее морального кодекса, а в конце концов и прямым, идейно-убежденным, диссидентом) — как к «alter ego» автора.

И тем не менее, когда, после 1987-го, началась описанная Ал. Ку-старевым «культурная фарцовка» и к 1989-му достигла своего, так сказать, апогея, — о С. С. Юрьенене тут же забыли. Он опять, хотя и совсем по другим причинам, чем в пору полускандала с «Вольным стрелком», оказался «на задах», в ряду не совсем своих, в результате чего ни один из его романов не попал в поле зрения «толстых» журналов. Почему? Да потому, что и здесь, в кругу «толстяков», как и всюду, даже в условиях дефицита истинно журнальной — то есть одновременно и серьезной, и читабельной — крупноформатной прозы верят только славе, и не той, что славословят где-то там, далеко, за холмом, за бугром, а той, что юлой вертится под самым носом и внушает, внушает, внушает! . . .

Разумеется, в полном одиночестве Юрьенен не остался: и «Сына империи» и «Сделай мне больно» все-таки переиздали в России — с большим опозданием и старанием тех немногих друзей, кто знал ему цену. Однако друзья, в отличие от литагентов, делают свое дело тихо, по наивности полагая, что главное — издать рукопись, превратить ее в общедоступный текст, а он уж сам постойт за себя. Да так бы, наверное, и случилось, если бы роман «Сделай мне больно» попал на страницы любого столичного журнала. (Как это ни парадоксально, но книги в нынешней ситуации, когда гласность — налицо, а слышимости никакой, проходят не замеченными критикой, чего пока, к счастью, не скажешь о прозе журнальной. Несмотря на падающие тиражи, «толстяки» по-прежнему остаются витриной, мимо которой не проходят, не бросив хотя бы скользкий — диагональный — взгляд на выставленные там образцы текущей словесности.)

«Сына империи», правда, не только издали в престижном издательстве и в престижной серии, но и отрецензировали: крохотная информешка в «Литературной газете» и пространный, хотя и поверхностный *, отклик Льва Аннинского в «Русском курьере» (№ 2 за 1993). А вот венгерские прогулки Ал. Андерса («Сделай мне больно») как провалились. . . Тот же Аннинский, судя по его рецензии, полагает, что «Сын империи» — единственная переизданная в России вещь Юрьенена.

Упоминаю о характерном казусе вовсе не для того, чтобы устыдить уважаемого коллегу. Я и сама-то узнала о существовании этого переиздания совершенно случайно. Вскоре после того, как в газете «Сегодня», в рубрике «анонс», было опубликовано содержание седьмой книжки «Согласия», которую открывает новый, не вышедший даже на Западе роман С. Юрьенена «Желание быть испанцем» (первая часть задуманной дилогии; второй мы надеемся начать следующий журнальный год), — в редакцию заявился взволнованный молодой человек. Дабы

* Во избежание кривотолков хочу уточнить: речь идет не о профессиональном уровне интерпретации «имперского синдрома»; тут Лев Аннинский, как всегда, на высоте. А о чисто читательской оплошке, в результате которой рецензент не заметил, что в «Сыне империи» дается генезис совсем не того типа, который главенствует в «Вольном стрелке», отсутствует в «Сыне империи» и вновь всплывает в «Желании быть испанцем», в образе друга-врага Александра Андерса Альберта Лазутко — полиглота, циника, попавшего в сети ГБ и сгинувшего где-то в прокоммунистических дебрях Южной Америки. . . А его антипода, он фигурирует в первом романе Юрьенена под именем Ивана Сергеевича Иносельцева. Это во-первых. Во-вторых. С чего это Аннинский взял, что «стерильность отечественного Юрьенена», из текстов которого при возвращении их на родину автора изъят духовитый абсценный (запретный, непристойный, ненормативный) словесный и изобразительный пласт, возникла в результате внутренней установки писателя?

Увы, это — установка издателей, которой Юрьенен, видимо, рассудив, что в чужой монастырь со своим уставом не суются, вынужденно подчинился. И не потому, что очень уж хотел издаться, а потому, что уж очень хотели его издать. Так было в «Согласии». Предполагаю, что нечто подобное произошло и в «Радуге». Чем руководствовались издатели «Сына империи» — не знаю. В «Согласии» же мы изымали этот самый пласт только по одной, но, думаю, уважительной причине. По причине того, что это журнал, рассчитанный на семейное чтение, где из номера в номер печатаются тексты, предназначенные тем, кому Юрьенена без изъятий читать пока рановато.

осведомиться, тот ли это роман — про любовь и Московский университет середины 70-х, о котором он слышит от своих приятелей, таких же, как он, страстных книжников и поклонников Юрьенена. А заодно и выяснить, когда и каким образом сможет приобрести позарез необходимые ему юрьененовские номера журнала. Вот этот-то добрый вестник и сообщил нам, ротозеям, что роман «Сделай мне больно», на скорую руку выпущенный в свет каким-то малым издательским объединением, долго лежал невостребованным в книжном магазине на Новом Арбате, стоил всего двенадцать рублей (и лично он, несмотря на ограниченность в средствах, постепенно скупил изрядное количество неходового товара, чтобы дарить и обмениваться со знающими толк в настоящих книгах людьми), а потом вдруг в одночасье исчез, так что и он остался ни с чем. Кстати, роман нашему молодому гостю, не в пример другим вещам того же автора, по его словам, не очень понравился: чужое там, дескать, все: и люди, и страсти,— чужое и не очень понятное.

Молча выслушав эту тираду и заверив привередливого «юрьениста», что в «Желании быть испанцем», несмотря на экзотическую героиню (дочь генерального секретаря испанской, подпольной, компартии и задушевного друга Долорес Ибаррури), все «в доску» нашенское, — я занялась добыванием «пропавшей грамоты».

Добыла. Правда, не русское, а тель-авивское издание. Прочла и озадачилась. Да как же могло случиться, что все мы: и критики, и читатели, и тамошние, и тутошние, — не увидели в «Сделай мне больно» ничего, кроме крутых, в стиле «садо» и «мазо», эротических изысков-узоров? Почему не перепроверили, поверив западным быстрословам, не убедились, что на самом-то деле роман не просто общественный, но еще и «евангелический», если понимать термин так, как трактует его В. Пьецух в «Новой московской философии»?*

Да, конечно, СЕКС — «темный континент»; так ведь автор, следуя за заблудившимися в кромешной тьме любовниками, не об одних свойствах страсти размышляет! Он ведь еще и опасные связи разыскивает — между тем, что чувствуют и как ведут себя юные герои романа, и тем, что произошло задолго до их встречи на месте их встречи — в прекрасной Венгрии, в сердцевине Европы, на берегах Богом благословенной Тиссы...

В советском официозе сие давнопрошедшее именуется уклончиво, но кратко: «венгерские события». Юрьенен предлагает более пространное определение: «события ужасные, несущие с собой угрозу или фактическое уничтожение бытия, здоровья и собственности человека»**.

Держа, видимо, в уме всю совокупность русско-мадьярских обстоятельств, тель-авивское издание и вынесло на обложку романа провокационный вопрос: «Возможна ли любовь — между молодым русским писателем, приехавшим в Венгрию с «культурной миссией», и юной будапештской интеллектуалкой, приставленной к московской тургруппе в качестве переводчицы?»

Увы, как выясняется (и достаточно быстро), прелестная венгерка не может смотреть на своего любовника иначе, как на человека одной крови с оккупантами.

Ал. Андерс не сразу «врубается» в ситуацию. Да, его отчим, офицер бронетанковых войск, по-видимому, и в самом деле участвовал в подавлении Будапештского «мятежа», но вернулся домой, к жене и восьмилетнему пасынку, живым и невредимым, тогда как отец Иби по-

* «Мы так же верим в литературу, как наши предки в Судный день. Возможно, этот культурный феномен объясняется тем, что у нас, так сказать, евангелическая литература». («Новый мир», 1989, № 1).

** Цитата из ученого исследования природы садизма, отрывком из которого С. Юрьенен заключает роман. Исследование принадлежит перу д-ра Эжена Дерена и называется так: «Наше определение садизма».

гиб под гусеницами русских танков за несколько месяцев до ее рождения. Но, с другой стороны, ведь и родного отца Александра убили, и где — в братской ГДР, спустя три года после Великой Отечественной и при весьма странных обстоятельствах... К тому же Ал. Андерс никак не воспринимает себя стопроцентным, полноценным представителем Империи, поскольку давно уже, несмотря на внешнюю лояльность, ходит в изгоях и пасынках. Он и в Венгрию-то приехал в основном для того, чтобы своими глазами увидеть родину деда по матери, подданного Австро-Венгерской империи, попавшего в русский плен и в год Большого Террора раздавленного КРАСНЫМ КОЛЕСОМ.

Мало того: приезжает со сборничком своих рассказов, среди которых имеется один, на первый взгляд, странноватый текст — «на тему о паломничестве», о том, как некий «вполне нормальный юноша», «без всяких видимых причин», заподозрив, что он — автор чудовищного преступления, особо тяжкого, «выезжает к месту злодеяния».

Именно на этот вынырнувший из глубин подсознания «мазо-крючок и накидывает свою «садо»-петельку Иби — оставив в подаренном ей и без объяснений возвращенном экземпляре книги свой будапештский телефон.

И судя по Эпилогу, сообщающему, что господин А. . . ., удравший таки из СССР и обосновавшийся в ФРГ, БЕЗ ВСЯКИХ ВИДИМЫХ ПРИЧИН покидает страну «довольных людей» и «уезжает в Австро-Венгрию», от комплекса вины «сына империи» не смогла излечить даже *выбранная им свобода*. Венгрия — как образ места злодеяния — настигает его неожиданно и застает врасплох — в тот самый миг его жизни, когда А. . . . уже было решил, что «мутировался окончательно», на «молекулярном уровне», что Запад «вошел в его состав под кожу настолько, что его уже не узнать» . . .

Да и вообще — дети по закону, и человеческому, и Божескому, за родителей не отвечают.

По закону — да; но законы, и человеческие, и Божеские, распоряжаются лишь на поверхности жизни, на уровне быта, уклада и ритуала. А там, во глубине естества, иные стихии бушуют, не подвластные ни уму, ни здравому смыслу, ни декларациям о правах человека; не химические — алхимические, способные превратить даже то изначально-естественное, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга, — в акт изощренной, бессознательной, подсознательной мести-отмщения, пещерной, скифской, несмотря на то, что мстительница обставляет его с европейской изысканностью. Замечу á rgoros, что «Сделай мне больно», несмотря на натуралистическую «грубость» тех сцен, где действуют члены советской тургруппы, — самый европейский из романов Юрьенена, затейливо конструктивный, с установкой на демонстрацию мастерства, местами почти виртуозного. Впечатление такое, что автор как бы решил оправдать те авансы, какие, на вырост, выдала ему западная критика в пору успеха «Вольного стрелка»: «изобразительный блеск», «безупречная стилистика».

Впрочем, не исключаю, что на каверзный вопрос тель-авивских издателей существует и более простой ответ. А что, если Иби, хотя и мстит секс-партнеру, то только за то, что, притягивая, он не притягивает ее достаточно сильно?

Я, право же, не осмелилась бы на столь простое толкование сложного романа, если б Сергей Юрьенен сразу же после «Сделай мне больно», впад в «ересь простоты», не написал «Желание быть испанцем», простой роман о большой и взаимной любви, где дал своему сквозному герою, согбенному все тем же тяжелым российским комплексом — комплексом гражданской неполноценности, — последний шанс — выпрямиться, выдать из себя раба. Для чего, воспользовавшись «высшей властью», и «подстроил» ему Встречу с женщиной, родившейся

среди иного народа — в стране, где с любовью, если это Любовь, не шутят. Помните, у Фейхтвангера, в «Гойе»: Веласкес был испанец, он понимал любовь серьезно. . .

Чем кончится сей *поединок роковой* — маленькой мужественной испанки с могучими обстоятельствами? Мы расстаемся с нашими героями в тяжкий для них момент, когда «любовная лодка» — казалось бы, уже выдолбленная, уже оснащенная для долгого плаванья по морю житейскому — садится на мель, и притом в самом опасном для бедных мореплавателей месте Европы: посреди насмешливого практичного Парижа. Сможет ли русский избранник «дочери генерального секретаря» победенной, но не сломленной Испанской Республики доказать — ей, себе и ее отцу, — что он не из тех русских мальчиков, что *вянут без борьбы* в самом начале *поприща*? Отец Инес, похоже, сильно в этом сомневается. Не очень-то верит в свою победу, кажется, и сам Ал. Андерс, поскольку, даже дойдя до *середины дороги жизни* и уже «взяв» свою женщину, и не одну, а «вдвоем с Парижем», — все еще не знает, хочет ли он того, чего по видимости хочет, поскольку, как и все русские мальчики его типа, желает сразу всего: любви, свободы, славы, сладкой жизни; и все это, в пространстве его понимания, укладывается в безразмерно российское и по-российски прекраснородушное — *желание быть испанцем*, еще Козьмой Прутковым осмеянное.*

Однако женщина, волею рока доставшаяся блудному «сыну империи», доведись ей переводить Козьму Пруткова на испанский, наверняка перевела бы вынесенную в название романа фразу однозначно — так, как она только и может звучать на языке ее страны: «Желание стать мужчиной» . . .

Станет ли? И все-таки мы закрываем роман с надеждой, ибо дочь Республики, в отличие от сына Империи, твердо знает, чего хочет, а она — из тех редких, избранных женщин, о которых давно и не нами замечено: **ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА, ТОГО ХОЧЕТ БОГ.**

Послесловие к роману С. Юрьенена было уже заслано в набор, когда «Согласие» вдруг удостоилось похвалы за смелость — в статье С. Чупринина «Случай Юрьенена» («Столица», 1993, № 33). Вот, мол, рассуждает критик, пока прочие «толстяки» опасаются, здесь-де рискнули нарушить границы литприличий.

Публикуемого в «Согласии» романа Сергей Иванович Чупринин, само собой, не читал и тем не менее заранее уверен: и тут секс — не пряная приправа к пресному, основному блюду, а «центр мироздания, та ось, вокруг которой вращается вся жизнь». Более того, по мысли автора статьи, Юрьенен является чуть ли предводителем компании «непристойников», которые, цитирую, и «за границей очутились чуть ли не затем, чтобы вдохновенно слагать оды пубисам и анусам, беспрепятственно толковать поллюции, перверсии и инцесты».

«За всю компанию не скажу», но ручаюсь: создатель «Желания быть испанцем» отношения к ней не имеет, ибо не секс как таковой — предмет его художественного исследования, а «жизнь как она есть, начиная с собственной».

Этим и только этим объясняется наш выбор, а вовсе не желанием прослыть смелее других. Впрочем, даже если б и захотели, обскакать, по сей щекотливой части, «Новый мир» (после В. Шарова и В. Лапутина) ни нам, ни другим «толстякам» уже не удастся.

* Имеется в виду стихотворение «Желание быть испанцем» — род литературной пародии на испанские мотивы в русской литературе.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери

ЦИТАДЕЛЬ

Перевела с французского Марианна Кожевникова

CLXXXIV

Мне было грустно, печалили меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Никакое добро тебе не в помощь, ибо ты попираешь его, желая возвыситься. Да, дерево ищет в земле соков, чтобы питаться ими и преобразать в себя. Ты тоже питаешься. Но, кроме пищи, что может быть тебе в помощь? Гордость питается невещественным, и ты нанимаешь людей, чтобы они прославляли тебя. И они прославляют. Но хвала их тебе не в радость. Пушистые ковры украшают дом, и ты отправляешься за коврами в город. Ты набил коврами свой дом. Но и ковры тебе не в радость. Ты завидуешь соседу, у него не дом — королевский дворец. И ты отнимаешь у соседа дворец. Ты в него вселился. Но того, что искал, не нашлось и во дворце. Есть должность, которой ты домогаешься. Ты пустился в интриги. И вот она твоя. Но и должность похожа на необжитый дом. Для того чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые ты можешь разложить в нем, считая его своим. Да и что значит «своим»? Ничего, коль скоро ты однажды умрешь. Важно вовсе не то, чтобы был он твоим, этот дом, лучше был или хуже, важно, чтобы ты был из этого дома, только тогда он покажет тебе дорогу и твоему дому будет принадлежать твоя династия, твой род. Радует не вещь — дорога, которую она тебе приоткрыла. Иначе как было бы просто хмурому бродяге-себялюбцу порадовать себя изобильной, роскошной жизнью, ходи себе туда и сюда перед королевским дворцом и тверди: «Я — король. Вот он, мой дворец». Но и для хозяина дворца дворец со всей его роскошью в эту минуту мало что значит. Он занимает сейчас одну только комнату. И бывает, прикрыл глаза, зачитался или заговорился, а значит, не видит и комнаты. Гуляя по саду, он поворачивается к дворцу спиной и не видит ни колонн, ни арок. И все-таки он — хозяин дворца, он гордится им и, возможно, чувствует себя облагороженным, он хранит его в своем сердце, весь целиком: и тишину оставленной залы совета, и мансарды, и погреба. Да, конечно, нищий может поиграть в замок — что, кроме внутреннего мира, отличает его от короля? Нищий может вообразить себя хозяином, важно расхаживать взад и вперед, словно бы облачив душу в мантию. Но что толку в таких играх? Выдуманные чувства подточат, истреплют мечту. Испугай я нищего кровавой резней, он забудет про игры, мантия упадет, вмиг развеется и туманное счастье, навеянное песней.

Продолжение. Начало см. «Согласие», № 1—7, 1993.

Вещное ты в самом деле можешь присвоить, телесное переварить.

Но напрасно ты стараешься присвоить и переварить духовное. Честно говоря, невелики радости от пищеварения. Да и не можешь ты переварить ни дворца, ни серебряного кувшина, ни дружбы друга. Дворец останется дворцом, кувшин кувшином. А друзья будут продолжать свою жизнь.

Так вот я, я — механик: из нищего, что пытается походить на короля, приглядываясь к дворцу или к чему-то лучшему, чем дворец, — к морю или лучшему, чем море, — к Млечному Пути, но ничего не в силах присвоить, окидывая мрачным взором пространство, — из него я высвобождаю подлинного короля, хотя на взгляд нищий остался нищим. Но ничего и не нужно менять на взгляд, потому что одинаковы между собой и король, и нищий, одинаковы, когда сидят у порога своего жилища мирным вечером, когда любят и когда оплакивают утраченную любовь. Но один из них, и возможно, тот, что здоровее, богаче, у кого больше и ума и сердца, пойдет сегодня вечером топиться в море, и нужно удержать его. Так вот, чтобы из тебя, вот такого, каков ты есть, высвободить иного, не нужно снабжать тебя чем-то зримым, вещественным или как бы то ни было тебя изменять. Нужно обучить тебя языку, благодаря которому ты увидишь и в окружающем, и в себе самую такую нежданную, такую берущую за душу картинку, что она завладеет тобой и поведет, — представь, ты мрачно сидишь перед кучей деревянных финтифлюшек, не зная, что с ними делать, и вдруг прихожу я и обучаю тебя игре в шахматы, — каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить.

Потому я и смотрю на людей в молчании моей любви, потому и не упрекаю их за тоску и скучливость, они не виноваты, виновен скудный язык, который каждый из них освоил. Я знаю: победителя-короля, что вдыхает знойный ветер пустыни, отличает от нищего, что дышит тем же зноем, только язык, но я буду несправедлив, если, не обучив нищего новому языку, стану упрекать его за то, что он не дышит, как король, победой.

Я хочу дать тебе ключ, отпирающий пространство.

CLXXXV

И один и другой, я вижу, толкутся возле житницы мира, возле собранного меда. Они похожи на чужаков в некрополе, для них все мертво — но город этот жив и чудесен, только огорожен высокими стенами, — они похожи на иноземцев, что слушают стихи на неведомом языке, на равнодушных, что глядят мимо красавицы, за которую другой отдал бы жизнь, а этим и влюбиться лень...

Я научу вас укладу любви. Для любви необходимо божество. Я видел, как в схватке из-за колодца воин, что мог бы выжить, позволил ночной темноте задернуть свет жизни; потеряв лисенка, что долго жил его нежностью и сбежал, повинувшись голосу природы. Воины, мои воины, однообразен ваш роздых, однообразны тяготы. Чтобы отогреть вас, нужно, чтобы ночь стала ночью возвращения, приговор таил надежду, сосед оказался долгожданным другом, барашек на углях — торжеством в честь дня рождения, слова — словами песнопений. Нужен красивый город, или музыка, или победа, чтобы вы преисполнились собственной значимости, нужно, чтобы я научил вас, словно детей, складывать из ваших камешков победоносный флот, нужна игра, чтобы ветер радости вострепнул вас, словно листву деревьев. Но вы в разладе с собой, в отсутствии. Пытаясь найти себя, вы обречены находить пустоту. Что вы, как не узел связей, привязанностей? Вот они истаяли, и вы смотрите на пустынный перекресток. Не на что надеять-

ся, если любишь лишь самого себя. Я рассказывал тебе о храме. Камень служит не себе и не другим камням — они все вместе служат взлету души, что возвышает их и служит им. Может быть, ты сможешь жить любовной преданностью королю, если станешь королевским солдатом, ты и твои товарищи.

«Господи! — молил я. — Дай мне силу любить! Любовь — узловатый посох, что так в помощь при подъеме в гору. Помоги стать пастухом, чтобы смочь их вести».

Я расскажу тебе, каков смысл сокровища. Он незрим и ничего не имеет общего с вещественностью. Видел и ты приходящего ввечеру странника. Он вошел себе в харчевню, поставил палку в угол и улыбнулся. Его окружили завсегдатаи: «Откуда путь держишь?» Ты понял, как могущественна улыбка?

Не пускайся в путь, ища поющую лагуну дальнего острова — готового тебе подарка от моря, подарка, обшитого пенным кружевом, — ты не найдешь ее, если не превзошел морского уклада, пусть даже я поставлю тебя на золото ее песчаной короны. Бездумно проснувшись на груди возлюбленной, ты обретишь одну возможность — позабыть любовь. Получая подарки, ты пойдешь от забвения к забвению, от смерти к смерти. . . О поющей лагуне ты мне скажешь: «Что в ней такого, чтобы стоило в ней поселиться и жить?» Но во имя любви к ней экипаж целого корабля готов пойти на смерть.

Спасти тебя не означает обогатить или облагодетельствовать тем, чем ты сможешь воспользоваться. Нет, спасти — значит подчинить тебя, словно любимой жене, правилам игры.

Как ощутимо мне одиночество, когда пустыне нечем меня занять! К чему песок, если не манит вдали недостижимый оазис, напив все вокруг благоуханьем? На что безграничная даль горизонта, если со всех сторон не теснят племена варваров? На что ветер, если не шушукаются вдали враги? На что дробность вещей, если нет больше картины? Но мы сядем с тобой на песок. Я заговорю с тобой о пустыне, и ты увидишь такую вот картину, а не иную. Изменится все вокруг, и ты изменишься, ибо каждый зависим от своей Вселенной. Разве ты останешься прежним, если, сидя дома, узнаешь от меня, что дом твой тлеет? Или услышишь вдруг шаги возлюбленной? Или поймешь, что идет она не к тебе? Не говори мне, что я питаюсь иллюзиями, я не призываю тебя поверить, — призываю увидеть. Что такое часть без целого? Камень вне храма? Оазис без пустыни? Если ты живешь в сердцевине острова и хочешь узнать, что он из себя представляет, нужен я, который бы рассказал тебе о море. И если живешь посреди наших песков, нужен я, чтобы рассказать тебе о далекой свадьбе, необычном приключении, освобожденной пленнице, приближении врагов. Не говори мне, что счастливая свадьба в дальнем шатре не бросила блик торжества и на твои пески, ибо кому известен предел ее могущества?

Я буду говорить с тобой, следуя принятым у тебя обычаям, соображаясь со склонностями твоего сердца. Моим даром станет значимость окружающего тебя мира, зримая сквозь него дорога и желание пойти по ней. Я — король, я дарю тебе розовый куст, только он и может тебя облагородить, ибо я потребую от тебя розу. С этого мига ступень за ступенью строится лестница к твоей свободе. Ты начнешь копать землю, рыхлить ее, будешь вставать на заре, чтобы ее поливать. Ты будешь заинтересованно следить за тем, что рождается от твоих трудов, оберегать свой куст от тли и гусениц. Как взволнует тебя появившийся бутон, каким праздником станет раскрывшаяся роза! Ты сорвешь ее и протянешь мне. Я приму ее из твоих рук, ты застынешь в молчании. Что тебе делать с розой? Ты обменял ее на мою улыбку. . . Ты идешь домой, счастливый и просветленный улыбкой своего короля.

CLXXXVI

Они не чувствуют, в чем смысл времени. Хотят рвать цветы, которые еще не раскрылись, которые еще и не цветы вовсе. Или берут расцветший где-то вдалеке, роза эта для них не венец долгого, кропотливого обряда — а просто вещь, пригодная для купли-продажи. Спрашивается, много ли будет от нее радости?

А я? Я иду к далекому саду. В воздухе зыблется шлейф корабля, груженного спелыми лимонами, каравана с ношей мандаринов, благоуханного острова, что еще там, за морем.

Я не получаю готовое, мне дано лишь обещание. Сад, словно страна, что предстоит завоевать, юная жена, что впервые в твоих объятьях. Сад открывается мне. Там, за невысокой оградой, земля, родящая мандарины и лимоны, земля, по которой буду ходить я. Но ничто на земле не вечно, исчезает аромат мандаринов, лимонов, улыбка. Но я — знающий, для меня все исполнено значимости. Я жду часа сада, как дожидаются часа свадьбы.

А они не умеют ждать, вот почему у них нет доступа к поэзии, время для них враг, а оно омолаживает желания, украшает цветок, вынашивает яблоко. Они думают насладиться вечностью, но радуется только дорога, что увиделась сквозь нее. Я иду, иду и иду. И если попадаю в сад — на родину благоуханья, — присаживаюсь на скамейку. Смотрю. Вот листья, они опадают, вот цветы, они вянут. Я вижу: одно умирает, другое нарождается. Я ничего не оплакиваю. Я — само бдение посреди открытого моря. Нет, на терпение это не похоже, потому что у меня нет цели, — скорее, это радость ощущать себя в пути. Мы идем с моим садом от цветов к плодам. От плодов к семенам. От семян к цветам будущего года. Меня не вводит в заблуждение вечность. Ей не дано быть божеством. Я беру лопату и грабли, творя обряд сада, и чувствую: я священнодействую. Но те, что не принимают время в расчет, вечно сражаются с ним. Ребенок для них вещь, они не ощущают, что он совершается (он — путь к Господу, и поставить предел этому пути невозможно). А им хотелось бы малыша навек сохранить малышом, будто в нем скоплено про запас детство. Повстречавшись с ребенком, я вижу, как силится он улыбнуться, краснеет, как хочется ему убежать. Я знаю, что пробивается в нем. И кладу ему руку на лоб, словно бы умиротворяя волнение моря.

Они говорят: «Я вот такой. Такой и этакий. Есть у меня то и это». Они никогда не скажут: «Я — плотник, торю дорогу дереву, что обручилось с морем. Я иду от праздника к празднику. Я — отец, я родил детей и рожу еще, жена моя не бесплодна. Я — садовник, служу весне, ей в помощь мои лопата и грабли. Я стремлюсь к...» Но они стоят на месте. Нет корабля, нет и смерти как мирной гавани.

В голод они скажут тебе: «Мне нечего есть. У меня подвело живот. Подвело животы и у моих соседей. Какая там душа! У меня сосет под ложечкой». Они знать не знают, что страдание сопутствует выздоровлению, или выяснению отношений со смертью, или перерождению, или необходимости преодолеть неразрешимое противоречие. Страдание для них не перерождение, не преодоление, не будущее выздоровление, не смертная скорбь. Оно для них неуют, неудобство, и только. И радость у них — скудная, минутная радость сытости, они набили живот, удовлетворили желание, другой они не знают, им неизвестна просторная радость странника, узнавшего вдруг, что он — путь, кладь, повозка для вожатого всех вожатых.

Шаг за шагом движется караван, но не в монотонности пути его суть. Ведь подтягивая веревки, закрепляя готовый развязаться узел, подгоняя ленивых, раскидывая для ночевки лагерь, добывая воду для

верблюдов, ты творишь обряд любви, приготавливая себя к осененному зеленью пальм оазису, что увенчает твое странствие, приготавливая себя к сладостному знакомству с городом, что начнется для тебя с лачужек бедной окраины, но и они осиянны светом, ибо город — твое божество.

Нет предела, за которым иссякла бы мощь твоего божества. Существовать оно для тебя начинается с камней и колючек. Камни, колючки — священная утварь, первые ступени ведущей вверх лестницы. Лестницы в спальню любимой жены. Строчки стихотворения. Травы волшебного зелья. Ибо потом своим и ободранными коленями ты добываешь город. И видишь: камни, колючки — уже город, как яблоко — это солнце, вмятины в глине — толчки сердца ваятеля. Ты знаешь, пройдет месяц, и дорожный кремень обратится в мрамор, колючки — в розы, сушь — в родники. Как остановиться в творении, если каждый шаг твой созидает город? Я всегда говорю моим погонщикам, когда мне кажется, что они устали: «Вы — камневозы, вы строите город с голубыми прудами, вы — садовники, сажаете мандариновые деревья, они уже оранжевые от мандаринов». Я говорю им: «Вы творите обряд. Потихоньку пробуждаете к жизни несуществующий город. Из песка, что у вас под руками, лепите нежных, стройных девушек. Прислушайтесь, ваши камни и колючки благоухают амброй, как возлюбленная».

Но эти замечают только насущное. Близорукие скудоумцы, они видят гвоздь в доске — не корабль. В караване, идущем по пустыне, видят шаг, шаг и еще шаг. Любая женщина для них шлюха, потому что их минутная прихоть хочет заполучить ее на дармовщинку, но к возлюбленной ты идешь по камням, продираясь сквозь колючки, ее обещают тебе пальмы, тихо-тихо стучишь ты к ней в дверь. И тебя, что пришел из такого трудного далека, встречают как чудо, ты похож на воскресшего из мертвых.

Твой долгий путь преображает женщину в расцветшую розу, пыль дней оборачивается каплями росы, каждая одинокая ночь прибавляет ей по лепестку, и вот она переполнена благоуханием, и ты открываешь в ней всю юность мира. Только так возникает любовь. Благодарность газелей получают только те, что набрались терпения их приручить.

Я ненавижу в них разумность, она пригодна для счетоводов. Они только и делают что считают ту мелочь, которую забрала у них пролетевшая секунда. Можно жить, бесконечно идя вдоль крепостной стены, и видеть один камень, второй, третий. Но если ты ощутил существо времени, ты не упрешься ни в этот камень, ни в другой, не будешь стараться получить причитающееся тебе от камня — ты войдешь в город.

CLXXXVII

Я — обживающий. Вы голы на ледяной земле. Скорбный народ мой, затерянный в ночи, цвель на трещиноватой коре склона, что задержал каплю влаги, спускаясь в пустыню.

Я сказал тебе: «Вот Орион, вот Большая Медведица, Полярная звезда». И ты запомнил свои звезды, между собой вы говорили друг другу: «Вот Большая Медведица, Орион, Полярная звезда», говорили: «Неделю вела меня Большая Медведица», и понимали друг друга, а значит, жили в обжитом пространстве.

Обжитым был и замок моего отца. «Сбегай в подвал за инжиром», — приказывал он мне, мальчишке. И я сразу ощущал сладкий запах спелого инжира и мчался со всех ног.

Вот я сказал тебе: «Полярная звезда», и внутри у тебя словно бы повернулась стрелка компаса, ты различил бряцанье сабель северного племени.

И если я предназначил восточное плоскогорье для празднеств,

оужные солончаки для казней, а отвоеванную пальмовую рощу для отдыха караванов — то ты уже живешь у себя в доме.

Ты хочешь иметь колодец, чтобы он служил твоим нуждам, — тебе нужна вода. Но присутствие воды куда менее значимо, чем ее отсутствие. Кто не умирал от жажды, не родился к жизни.

Лучшим жителем будет тот, кто иссыхал от пустынного безводья, мечтая о знакомом колодце, слыша в горячем бреду скрип ворота, а не тот, кто всегда пил вдоволь из водопровода и не подозревает, как сладка колодезная вода, к которой ведут звезды.

Я чту жажду не потому, что она открыла тебе телесную необходимость воды, а потому, что принудила тебя читать звездную карту, ловить ветер, присматриваться к следам врага на песке.

Пойми главное. Речь не о том, чтобы лишениями и надругательством над жизнью заставить тебя ценить жизнь дороже. Просто, лишив тебя воды, я делаю главным в тебе желудок. Но я хочу, чтобы жажда и возможность утолить ее приобщили тебя к священнодействию: ты идешь при свете звезд, скрипит ржавый ворот, и его песня преображает твою дорогу в молитвословие: вода — необходимость для желудка, но она питает и душу.

Ты не вол в хлеве. Этот хлев можно переменить на другой, та же кормушка, та же подстилка из соломы. Волу в нем не лучше, но и не хуже. Но твоя пища должна питать не только тело, но и душу. И если ты умираешь с голоду, а друг распахнул перед тобой дверь, подтолкнул к столу, налил в кувшин молока и разломил хлеб, ты вливаешь его улыбку, еда становится для тебя священнодействием. Конечно же, ты насытился, но еще и расцвел благодарностью за человеческое добросердечие.

Я хочу, чтобы хлеб был дружеством, а молоко дышало теплом родственности. Хочу, чтобы ячменная мука пахла празднеством жатвы. Вода наполнилась пением ворота или светом звезд.

Я люблю своих воинов, и мне нравится, когда они, будто намагниченная стрелка компаса, тянутся к дому. Не из стремления обделить их теплом в походе я дорожу их привязанностью к жене, не потому, что стою за непорочность, — мне дорога обжитость пространства, они знают сердцем, где север, где юг, где восток, где запад, они знают, по крайней мере, хоть одну звезду — звезду, что ведет к любимой.

Но если вся земля словно веселый квартал, где, захотев утолить любовную жажду, можно стукнуть в любую дверь, где любая женщина тебе по вкусу и хороши подряд все дороги, ты побредишь на авось по земной пустыне и для жизни тебе не сыщется места.

Мой отец ведь кормил, поил и не отказывал в девушках берберам, но они превратились в бессчастных волов.

Но я — обживающий пространство, и ты не коснешься своей невесты раньше, чем будет отпразднована свадьба, чтобы постель была победой. Да, случается, от любви умирают, если нет возможности соединиться, но смерть во имя любви — та же любовь, и если из сочувствия к влюбленным я избавляю их от препятствий, крепостных стен и установленного уклада, благодаря которым вытачивается лицо любви, я не помогаю им любить, я даю им право позабыть о любви.

Убирать на пути препятствия — такое же безумство, как уничтожать бриллианты, пожалев тех, у кого их не будет, жесткость желания не требует сострадания.

Если им нужно, чтобы женщина была любимой, я должен спасать их любовь.

Я — обживающий. Я — намагниченный полюс. Семечко дерева — молчаливо направляющее вверх ствол, протягивающее корни и ветки,

растящее цветы и плоды, такие, а не другие, такое царство, а не другое, такую любовь, а не другую. Я рашу любовь таким образом не из желания кого-то обделить или кем-то пренебречь, а потому что она не случайная находка, словно вещь среди прочих вещей, она — венец священнодействия, плод уклада, суть ее сродни сути дерева, что вбирает в себя и преодолевает дробность. Я — осмысленность каждой вещи. Я — часовня, я — суть камней.

CLXXXVIII

На что понадеяться, если тебе не видно света, излучаемого не вещью, а смыслом? Я вижу, ты грустно застыл у двери.

— Что с тобой?

Ты не знаешь и принимаешься жаловаться на жизнь:

— Жизнь меня больше не радует. Спит жена, отдыхает осел, зреет зерно. Тупое ожидание мне в тягость, тоскливо мне жить и скучно.

Ребенок, растерявший игрушки, не умеющий видеть незримое. Я сажусь возле тебя и учу. Печалит тебя утраченное время, снедает тоска собственной неосуществленности.

Часто говорят: «Нужна цель». Хорошо, что ты плывешь, ты нарабатываешь себе берег. Скрипучий ворот нарабатывает тебе воду для питья. Копая землю, нарабатываешь золото нивы. Любя дом, жену, нарабатываешь детские улыбки. Медленно расшивается золотой ниткой наряд, нарабатывая праздник. Но что нарабатается, если ворот ты крутанул ради скрипа, сшил одежду, чтобы сносить, и любовью занимался, чтобы позаниматься любовью? Что бы ты ни делал, все износится очень быстро, ничего не вернув тебе взамен.

Ты как будто попал на каторгу, куда я отправляю нелюдь. Там, на каторге, долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, еще один, и еще, и еще. От долбежки в людях ничего не меняется. Они плывут и не видят берега, очерчивая круг за кругом. Они ничего не нарабатывают, они не путь, не кладь, не повозка, увлекаемая к неведомому свету. Но пусть будет над тобой то же палящее солнце, перед тобой — та же тяжкая дорога, на лбу — тот же пот, но раз в году ты будешь находить чистой воды алмаз, все изменилось, сияющий свет стал твоим божеством. Алмаз придал смысл твоей тяжелой работе заступом. И ты уже умиротворен, словно дерево, тебе открыт доступ к смыслу жизни, который состоит в том, чтобы подниматься тебе со ступени на ступень все ближе к Господней славе.

Ты перекапываешь землю ради зерна, шьешь ради праздника и долбишь камень ради алмаза, а те, что кажутся тебе счастливыми, богаче тебя только знанием о Божественном узле, что связует все воедино.

Тебе никогда не узнать покоя, если ты ничего не преобразишь на свой лад. Если не станешь путем, кладью, повозкой. Только так бежит кровь по жилам царства. Но ты захотел, чтобы чттили тебя самого. Ты стараешься урвать у мира частичку, которая тебе послужила бы. Но что ты найдешь, если нет и тебя? Добытые тобой вещи ты бросаешь беспорядочной кучей в помойную яму.

Ты ждешь, чтобы пришло к тебе что-то со стороны, чтобы явился ангел и оказался тобой. Но что даст тебе этот двойник? К тебе словно бы заглянет сосед, и только. Однако я вижу: непохожи между собой спешащий к больному ребенку, торопящийся к любимой и тот, кто идет в пустой, холодный дом, хотя никак их не отличишь на взгляд; поэтому я и назначаю встречу с собой, вижу гавань за пределом вешности, значимой только для взгляда, и тогда все меняется. Я стараюсь быть семе-

нем, вырастающим из работы, человеком, вырастающим из ребенка, водой, добытой из пустыни, алмазом, преодолевшим капли пота.

Я понуждаю тебя строить в себе свой дом.

Когда дом будет готов, в нем появится житель, что оживит твое сердце.

CLXXXIX

Народ мой возлюбленный — вот она, мука, что вошла мне в сердце, когда я отдыхал на горе, похожей на каменную мантию. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах гари.

«Куда идут они? И куда я должен направить их, Господи? Если я буду распоряжаться ими, они останутся такими, какие есть. Распоряжаясь, растишь упрямство в том, кем распоряжаешься, — другого я не видел, Господи! Но как поступить мне с семечком, если из него не растет дерево? Как сладить с рекой, если не течет она к морю? С улыбкой, Господи, если ею не начинается любовь?

Что мне делать с моим народом?

Ах, Господи! Из поколения в поколение жили они в любви. Складывали сказания. Строили дома, украшали их пушистыми коврами. Продлевали свой род. Растили детей, а сработавшиеся поколения укладывали в корзины, что ты приготовил для своей жертвы, Господи. Они собирались вместе в дни праздников. Молились. Пели. Бежали. И отдыхали, добежав. Ладони их твердели от мозолей. Глаза смотрели, радовались, а потом наполнялись тьмой. Знали они и ненависть. Считались друг с другом. Ссорились. Изгоняли, забросав камнями, князей, рожденных их же племенем. Занимали их место, изгоняли друг друга. Ах, Господи! Как похожи были их ненависть, приговоры и пытки на страшный и мрачный обряд. Он не страшил меня, Господи, с моей вершины он похож был на стоны и скрип корабельных досок. Или на родовые муки. Господи! И деревья, когда растут, теснят и душат друг друга, прорываясь к солнцу. А солнце, оно вытягивает из земли весну и хвалу себе создает деревьями. Лес состоит из деревьев, хотя они враждуют друг с другом. И ветер играет на лесной арфе. Ах, Господи, близорукому скудоумцу ничего не открыт в этих распрях. Сейчас они легли отдыхать. Отложены до будущего лживые речи, притязания, счета. Задремала ревность. Господи! Я оглядываю невозделанные ими земли и охвачен смятением, словно в преддверье истины, она еще не открылась мне, но, чтобы она была, я должен ее постичь.

Господи, вот художник, он пишет, но что знают его пальцы, его уши, волосы? Щиколотки, бедра, рука? Ничего. Творение, что сбывается, понуждает их двигаться и пламенеет, рождаясь от противоречивых усилий; близорукий скудоумец видит неслаженные движения, размахивание кистью, пятна краски. Что знают кузнец, плотник о корабле? Ничего не знает и мой народ, если я начну расспрашивать каждого по отдельности. Что знает богатый скупец-толстосум, министр, палач и пастух? Но если и есть кто-то среди них, кто видит дальше других, кто ведет все стадо на водопой, — то, верно, та, что рождает, или тот, что приготовился к смерти, но никак не книжник, не крючоктвор с испачканными чернилами пальцами, им неведома медлительность вызревания. Главное происходит в стороне от них, однако плотник, обстругавший доски, видит: доски стали палубой — и вырастает в собственных глазах.

Отведя плену низких страстей, я вижу: скупец нажил богатство и родовое гнездо. Министр — взяточник, ничтожество, обирала, нажившийся на чужом добре, стал меценатом — все отдает золотых дел мастерам и резчикам по кости, и они режут слоновую кость, чеканят золотые украшения. Тот, кто несправедливо казнил, породил горькую страсть к

истине и справедливости. Тот, кто отнял камни у храма, разбередил мечту — непременно построить храм.

Я видел, как, попирая людские страсти, воздымало храмы презрение к насущному. Видел, как рабов-камневозов хлестали бичи надсмотрщиков. Видел, как старший над рабами крал причитающуюся им мзду. Ах, Господи, будь я близорукий скудоумец, я бы не увидел ничего, кроме подлости, глупости и алчности. Но с моей горы я вижу: поднимается храм и осиян лучами».

СХС

Я узнал, что рисковать своей жизнью и согласиться на смерть — не одно и то же. Я встречал юнцов, которые с презрительным высокомерием относились к смерти. И всегда находились женщины, что восхищались ими. Ты вернулся с войны, тебе по вкусу восторженное сияние женских глаз. Принимая испытание железом, ты ставишь на кон собственное мужество, мужество — единственное, чем ты располагаешь и чем рискуешь. Так играют в кости, — рискуя всем своим достоянием, — оно где-то далеко, но сделало маленькие игральные кубики драгоценными; ты зажал их в руке и с восторгом безумия швырял на стол, будто раскинул равнины, пастбища и пашни твоего поместья.

Человеку приятно вернуться спать и погреться в лучах своей победы, плечи ему отягощает завоеванное оружие, и, возможно, расцвел на нем кровавый цветок раны. Несколько минут он излучает свет. Да, несколько минут, ибо жить победой невозможно.

И, стало быть, смертельный риск не что иное, как страсть к жизни. Любовь к опасности — любовь жить. А победа — это риск потерпеть поражение, который ты преодолел своей творческой силой, ведь рискует и тот, кто управляет норовистой лошадкой и заставляет себя оказаться укротителем.

Но я хочу от тебя большего, солдат призван питать царство, и одно дело — пойти на смертельный риск, другое — согласиться на смерть.

Я хочу, чтобы ты стал веткой дерева и был у него в подчинении. Хочу, чтобы ты гордился своим деревом.

Смертельный риск — подарок, который ты даришь только себе. Тебе нравится дышать полной грудью, слепить девушек блеском своей победы. Согласившись рисковать собой, ты непременно расскажешь, как это было, — риск для тебя товар, и ты хочешь обменять его. Так бахвалятся мои капралы. Восхваляют они только самих себя.

Одно дело — поставить на кон свое достояние, взять его все целиком и зажать в руке, осязаемое, вещественное, такое в эту секунду зримое — с копнами соломы, убранным в амбары зерном, волами на пастбище и деревнями, выдыхающими горьковатый дым, свидетельство живой жизни, и совсем другое — ощутить как ненужные и отказаться от тех же амбаров, волов, деревень и продолжать жить дальше. Одно дело — рискуя своим достоянием, придать ему весу и ощутить всю его драгоценность, другое — устранить его, как устраняет одежду купальщик, не глядя, скинул он и сандалии и торопится слиться с морем.

Ты, чтобы слиться с морем, должен умереть.

Ткать и ткать полотно своей жизни, подобно тем древним старухам, что ослепли, расшивая церковные пелены, которыми они одели своего Господа. Они сами — одеяние Господа. И чудом их рук льняная нить преобразилась в молитву.

Ты — путь, кладь, повозка, ты жив только тем, что преображаешь. Дерево преобразует землю в ветви. Пчела — цветы в мед. Твои труды — черную землю в золотое зарево зерен.

Мне важно, чтобы твой Бог стал для тебя явственней хлеба, который ты кладешь себе в рот, чтобы, чувствуя Его рядом, ты томился желанием слиться с ним целиком, чтобы брак ваш был браком по любви.

Но ты все порушил, разметал, растратил, ты забыл, что значит сотворить праздник, и решил, что сделался богаче, день за днем истребляя готовое. И случилось это потому, что ты не понял, что же такое время. Набежали историки, логики, критики. Они ощупали, перетрогали вещи, предметы и факты, не умея видеть сквозь них, посоветовали тебе наслаждаться ими. И ты отказался от поста, без которого нет праздничного пиршества. Отказался пожертвовать частью зерна, но только жертва — сожженная в день праздника, окружает его сияющим ореолом.

Ты погряз в выгадывании по мелочам и не догадываешься, что миг может вместить в себя целую жизнь.

СХСИ

И вот я стал размышлять о согласии принять смерть. Логика, историки, критики отдали первенство материалу, из которого будет строиться часовня (ты поверил, хотя красивый серебряный кувшин больше скажет уму и сердцу, чем из чистого золота некрасивый). Не ведая, что утолит тебя, ты вообразил, будто счастье в обладании, и теперь изнемогаешь, стаскивая в кучу камни, что могли бы стать прекрасной часовней и одарить тебя счастьем. Ибо достаточно и одного-единственного камня, чтобы согреть душу и сердце, но на камне должен быть лик твоего божества.

Ты похож на человека, что, не умея играть в шахматы, копил золотые и слоновой кости фигурки, смотрит на них и скучает, зато другой, кому божественные правила открыли тонкость игры, наслаждается ее блеском, двигая грубые чурочки. Пристрастие к счету не позволяет тебе оторваться от вещей, ты не видишь картины, которая из них составлена и значима прежде всего. Потому ты и привязан к жизни, как к накапливаемой толще дней, а будь твой храм строен и чист линиями, неужели ты сокрушался бы, что на него пошло так мало камней?

Не стремись удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом, сколько пастбищ и голов скота в твоём поместье, сколько драгоценностей у твоей жены, сколько у тебя любовниц. Сколько — меня не интересует. Я хочу знать, какой ты выстроил дом, усердны ли работники твоего поместья и радостен ли их ужин после дневных трудов. Я хочу знать, какую любовь ты пестуешь и на что более долговечное, чем ты сам, тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Хочу судить о тебе по делам твоих рук, а не по ненужной делу вещности, которая так возвышает тебя в собственных глазах.

Заговорив о смерти, ты вспомнил об инстинкте самосохранения. Мы инстинктивно страшимся смерти, и ты неоднократно наблюдал, как любое животное стремится выжить во что бы то ни стало. «Стремление выжить, — твердишь ты мне, — берет верх над любым другим стремлением. Дар жизни бесценен, и мы спасем его любыми средствами». Если так, то для тебя естественно стать героем, защищая свою жизнь. Ты будешь мужественным в осаде, завоевании, грабеже. Тебе

вскружит голову хмель силы в тот миг, когда поставят на кон твою жизнь. Но ты никогда не согласишься умереть незаметно, безмолвно, унеся с собой тайну, полученную как дар.

Однако посмотри: отец бросился в морскую бездну, потому что в ней тонет его сын, личико его мелькает время от времени на поверхности, бледное, словно луна в просвете облаков. Я спрошу тебя: «Что же, над этим человеком инстинкт самосохранения не властен?»

— Властен, — ответишь ты. — Но инстинкт — вещь сложная. Действует он и в отце, и в сыне. И в военном отряде, который посылают на смерть. Но отец привязан к сыну...

Ответ твой путан, изобилен словами. Но вот что скажу тебе я:

— Конечно, инстинкт самосохранения существует. Но он только часть инстинкта более могущественного. Главное в нас — инстинктивное желание жить вечно. Тот, кто живет телесной жизнью, печется о теле. Тот, кто жив любовью к ребенку, печется о ребенке, продлевая им свою жизнь. Тот, кто живет любовью к Богу, ищет вечности, поднимаясь к Нему. Жаждешь ты не неведомого — жаждешь обрести то, что значимей, прочнее и долговечнее тебя, и для каждого самым значимым становится что-то свое. Каждый любит что-то свое и посвоему. И я могу обменять твою жизнь на то, что для тебя любимей и значимей, ни в чем тебя не обездолив.

СХСII

Ибо что ты знаешь о счастье, полагая, будто дерево живет ради самого себя — дерева в плотном кольце коры? Нет, дерево — источник крылатых семян, от поколения к поколению оно преобразуется и становится все краше. Оно двигается, но не так, как ты, — как пожар по воле ветра. Ты сажаешь кедр на вершине горы, и вот твой кедровый лес век за веком разбредается в разные стороны.

Чем считает себя дерево? Корнями, стволом, листвой. Ему кажется, ради себя ветвит оно свои корни, но оно — путь и повозка. С его помощью земля принимает к солнечному меду, пускает почки, раскрывает цветы, растит семена, а семья переносит жизнь, словно огонь, незримый до поры до времени.

Если я засеваю ветер, я пускаю по земле пожар. Но ты медленно переводишь взгляд. Видишь неподвижную листву, мощь крепких веток, и дерево кажется тебе оседлым, живущим самим собой, созревающим внутри себя. Близорукий скудоумец, ты видишь все наоборот. Отойди на несколько шагов и прибавь скорости маятнику дней, ты увидишь, как семечко вспыхивает языком пламени, от него загорается другое, и бежит огонь, высвобождая из шелухи будущий лес, ибо лес и в тишине пламенеет. Ты уже не видишь дерева — этого, того. Ты понимаешь, что корни не служат ни тому, ни этому, а только пожирающему и созидающему огню, понимаешь, что густая сень листвы, одевшая твою гору, — сама земля, оплодотворенная солнцем. И селятся зайцы на лужайках, и гнездятся птицы на ветках. И ты уже не знаешь, кому из них служат корни. Они — ступенька и переход. Почему же ты считаешь дерево тем, чем не считаешь листву? Ты никогда не скажешь: «Семя живет собой. Оно завершено. Стебель живет собой. Он завершен. Цветок, в который он преобразуется, живет собой, он завершен. Семечко, которое он выносил, живет собой, оно завершено». И еще раз ты повторишь все то же о новой поросли, что упрямо пробивается сквозь камни. На чем ты остановишься? Где завершение? Я вижу только, как земля тянется и тянется к солнцу.

Незавершен и человек, незавершен мой народ, и я не знаю, куда он идет. Закрываются амбары, запираются двери с приходом ночи.

Спят дети, спят старики, старухи, что я знаю об их пути? Так трудно нащупать его и обозначить в переходе от лета к осени, — прибавилась еще одна морщинка у старухи, несколько слов у ребенка, чуть-чуть изменилась улыбка. Совершенство и несовершенство человека осталось неизменным. И все-таки я вижу, оглядывая поколения, что ты, мой народ, — мало-помалу пробуждаешься и узнаешь сам себя.

Само собой разумеется, каждый думает о своем. Так оно и должно быть. Важно, чтобы чеканщик сосредоточился на кувшине. Геометр на геометрии. Король на управлении. Ибо каждый — это возможность двигаться дальше. У кузнецов свой ритм, своя песня, у плотников своя, хотя те и другие трудятся, строя корабль. Но корабль с надутыми парусами им должна подарить поэзия. Они не разлюбят ни гвоздей, ни досок, напротив, оценят их еще дороже, если поймут, что сбудутся и завершатся в крылатом лебеде, питаемом морским ветром.

Самая высокая твоя цель не мешает тебе подметать поутру комнату, бросить в землю еще одну горсть ячменя после стольких уже посеянных, учить сына еще одному слову, еще одной молитве, делать еще и эту насущную работу, вот и воздушный корабль поможет тебе не пренебрегать привычными досками и гвоздями, а любить их. Я хочу, чтобы ты ощутил: еда, работа, молитва, ребенок, праздник в домашнем кругу, вещи, которыми украшаешь дом, — только путь, только повозка. Настаивая на том, что они — возможность, средство, я поощряю в тебе не пренебрежение к ним, а любовь: повороты дороги, запах шиповника, камни и спуски дорожке тебе и роднее, если они не загадочный лабиринт, неведомый, неуютный, а знакомая, радостная дорога к морю.

Я запрещаю тебе ворчать: «На что мне подметать, тащить эту тяжесть, кормить ребенка, читать книгу?» Как нет плохого в мечтах моего дозорного об ужине, а не о царстве, так нет плохого и в постоянном приуготовлении себя к озарению — визиту, о котором не предупреждают заранее, но на миг оно обостряет твой взор и слух, преобразив скучное подметание в служение высокому, смысл которого не уместится в слове.

Каждое биение твоего сердца, страдание, желание, вечерняя печаль, еда и работа, улыбка и усталость в череде дней, пробуждение и сладкое погружение в сон имеют смысл только благодаря божеству, что мерцает тебе за ними.

Вы ничего не найдете, если превратитесь в оседлых, веря, будто сбылись и завершены, сами запас среди накопленных запасов. Нет на земле запаса — тот, кто перестал расти, умирает.

СХСIII

Равенство губительно. Ты говоришь: «Разделите эту жемчужину. Каждый из ловцов мог найти ее».

И море перестало быть чудом, сокровищницей тайн, предуготовленной судьбой. Погружение в воду уже не магический обряд сродни священному паломничеству, не поиски таинственной черной жемчужины, что посылается раз в столетие.

Да, я требую: урезай себя на протяжении года, экономь, собирая и копя припас к празднику, но дело совсем не в том, что праздник — главное, праздник длится считанные секунды, праздник — взрыв, победа, улыбка князя; дело в том, чтобы, готовясь к нему, предвкушая, вспоминая о предыдущем, ты оживил, одухотворил каждый день. Хороша только та дорога, что вывела к морю. Опасаясь взрыва, ты роешь убежище, но смысл не в убежище, бьются не ради битвы — ради победы, и целый год ты готовишь дом к посещению князя. Я не

хочу, чтобы ты равнял себя с тем или с другим во имя умозрительной справедливости, тебе не стать равным ни старику, ни подростку, равенство всегда прихрамывает. Дележка жемчужины никого ничем не одарит. Прошу, откажись от причитающейся тебе ничтожной доли, и пусть тот, кому достанется жемчужина целиком, вернется домой, сияя улыбкой, ответит на вопрос жены: «Догадайся!», томя ее любопытством и наслаждаясь тем счастьем, которым одарит ее, едва только разожмет кулак...

Погляди, все стали богаче. Поверь, в ловцы жемчуга идут не только из желания заработать. Легенды о любви, что рассказывают тебе мои сказители, приучают тебя любить любовь. Легенды прославляют красоту, и в каждой женщине появляется что-то от красавицы. Ибо если существует на свете хоть одна женщина, ради любви которой стоит умереть, облагорожены и окутаны прелестью все женщины на свете, в каждой может таиться необычайное сокровище, будто черная жемчужина в море.

К каждой ты будешь подходить с бьющимся сердцем, будто ловец жемчуга к коралловой лагуне, в которую предстоит погрузиться.

Конечно, будни кажутся тебе несправедливостью по сравнению с праздником, ожиданием которого ты живешь. Но поверь, будущий праздник окутывает будние дни особым ароматом, и ты становишься богаче. Конечно, ты несправедлив к себе, откатавшись от доли в жемчужине соседа, но его находка наделяет волшебной притягательностью твои будущие поиски, — так озаряет пустыню серебро родника, далекого оазиса, о котором я тебе говорил.

Ах! Твоя справедливость хочет, чтобы один день походил на другой, один человек на другого. Если твоя жена кричит слишком громко, ты можешь развестись с ней, чтобы взять другую, которая не будет кричать. Ибо ты — шкаф для подарков и пока еще не получил своего. Но я хочу длить и длить любовь. Любовь существует только там, где выбор бесповоротен, ибо для воплощения нужны границы. Радость засады, охоты, ловли иная, чем радость любви. Ты осуществился как охотник. Женщина для тебя добыча. Вот почему, попав тебе в руки, она больше ничего для тебя не значит, — ты ее уже поймал. Что для поэта написанное стихотворение? Значимо для него еще не написанное. Но если я запер двери дома за новобрачными, им придется искать свой путь. Твое назначение теперь — быть мужем. Назначение твоей возлюбленной — быть женой. Я наполняю это слово весомым смыслом, и ты говоришь: «Моя жена...», чувствуя всем сердцем его значимость. Ты откроешь для себя иные радости. И иные страдания тоже — как без этого? Твои страдания — залог твоих радостей. Ради своей жены ты можешь умереть, потому что она — это ты, так же как ты — это она. Из-за добычи ты умирать не станешь. И верность твоя — верность верующего, а не усталость охотника. От верности из усталости веет скукой — в ней нет света.

Конечно, есть ловцы, которые так никогда и не выловили жемчужины. Есть мужья, которые обретут только горечь в постели, которую для себя выбрали. Но и нищета неудачников — залог волшебного свечения моря. Оно драгоценно для всех, и для тех, кто ничего не нашел, тоже. Несчастье несчастливых в браке — необходимое условие волшебного свечения любви, а оно драгоценно для всех, и для тех, кто несчастлив, тоже. Ибо вдохновение, горечь и тоска живущих в любви драгоценней тупости вола, для которого любви не существует. Разве, мучаясь от жажды в пустыне, ты хочешь забыть о воде? Нет, ты хочешь представлять ее и сожалеть о ней.

Вот она, тайна, которую мне открыли. Есть и другая: всегда получаешь то, ради чего старался. Ты можешь бороться «за», можешь — «против». Но если воюешь из ненависти к божествам своего врага,

то будешь стремиться уничтожить врага и сберечь себя. Себя ты сбережешь, войну проиграешь. Сражаются беззаветно и принимают смерть только из любви к своему божеству. Облагораживает, питает, воодушевляет то, что пленило и держит в плену, ибо ты жаждешь этого, добиваешься, плачешь.

Состарившись и перестрадав свое горе в улыбку, мать жива памятью о любви к умершему ребенку.

Если я, желая избавить тебя от страданий, уничтожу условности, помогающие существовать любви, что я тебе подарю? Пустыня без колодца — лучше ли она для тех, кто сбился с тропы и умирает от жажды?

Поверь, родниковая вода, ставшая стихами и зазвеневшая в твоём сердце, утешит тебя и тогда, когда ты, обручившись с пустыней, приготовишься сбросить брентную свою оболочку, она прольет на тебя мирный свет, источаемый не вещностью, а ее смыслом; ты улыбнешься мне, если я тебе напомню о сладостном журчании воды.

Как же тебе не последовать за мной? Я — тот, кто придает тебе значимость. Жаждой я одухотворяю для тебя песок. Открываю любовь. Из благоухания строю царство.

СХСІV

Я хочу открыть тебе глаза, — ты не видишь, в чем значение обряда. Несущественное дополнение, красивая оболочка — так ты его воспринимаешь. Тебе кажется: правила сковали влюбленного, правила, что установил какой-то взбалмошный Бог, тут он поощрил тебя, тут урезал, будто глядя из своей вечной жизни, для которой не нужны твои чувства, но нет, становление по правилам формирует тебя, понуждая быть таким или этаким; препятствуя тебе, тебя творят, ибо только обретя границы, ты начинаешь существовать. Ведь и дерево задано силовыми линиями семечка. И картина, если она пленила тебя, тоже принуждение. Она становится новой точкой зрения, той точкой, откуда ты увидел все по-новому она всему задавала иной тон. И теперь ты по-иному воспринимаешь пищу, отдых, молитву, игру, любовь. Нет отдельностей, ты не сумма различных частиц, ты неделимая их взаимосвязь. Я пожелал изменить нос в лице, которое изваял мой ваятель, но должен был изменить и ухо, точнее, я изменил впечатление от носа и впечатление от уха тоже. Так вот, если я принуждаю тебя раз в год совершить паломничество и поклониться пустыне, воздав честь журчащему водой оазису, что спрятался среди складок ее барханов, ты ощутишь таинственное воздействие своего странствия и на свою жену, и на работу, и на дом. Распахнув перед тобой звездное небо, я изменю тебя, и ты будешь совсем по-другому относиться к своему рабу, королю и к смерти. Ты корень, рождающий листву, и если возникают изменения в корне, меняется и листва. Я ни разу не видел человека, которого изменили бы логические доводы, не видел, чтобы его изменил пафос косяглазых пророков. Но, прикоснувшись к самой сути человека с помощью условностей обряда, я обнажаю ее для лучей моего света.

Во имя любви ты отметаешь запреты, которые ее сковывают. Но эти запреты и помогли родиться любви. Жажда любить, что возникла в тебе по милости запретов, уже любовь.

Жажда любви и есть любовь. Желать того, чего в тебе нет, ты не можешь. Если нет уклада, нет семейной иерархии, поощряющей братскую любовь (любовь не рождается от тесноты за обеденным столом), никому и не жаль, что он мало любит своих братьев. Ты можешь мучиться прошлой любовью, страдать из-за женщины, что от тебя ушла, но никогда не впадешь в отчаяние, поглядев на случайную прохожую и подумав: «Как я был бы счастлив, если бы полюбил ее. . .»

Если ты плачешь о любви — любовь в тебе родилась. А правила, запреты, созидающие любовь, помогают понять, что плачешь ты именно о ней. Но тебе кажется, что любовь воспламенила тебя сама собой, хотя воплотилась любовь в запретах и правилах, ставших для тебя ее муками и радостями, — так родник в пальмовой роще сделал для тебя невыносимой жестокость бесплодных песков; отсутствие родника — сестра его присутствия. Ты не оплакиваешь того, чего не можешь себе представить. Создав родник, я создал и пустыню. Подарив тебе бриллиант, создал и нищету. Черная жемчужина, которую находят раз в год, толкнула тебя на бесплодные поиски. И вот чужая находка кажется тебе несправедливостью, грабежом, обидой, и ты хочешь уничтожить черные жемчужины, желая избавиться от их власти. Но пойми, ты стал богаче, узнав, что они существуют, и что тебе за дело, в чьих они руках? Подумай, с каким чувством ты смотрел бы в бесформенную пустоту моря?

Они обнищали, возжелав равенства у кормушки в хлеве. Пожелав, чтобы им служили. Если твой идеал — толпа, в каждом из людей ты укореняешь присущее толпе. Но если ты чтишь в каждом человека, то человека ты и укореняешь, и вот уже люди следуют дорогой божества.

Мне больно, что люди извратили в себе истину, ослепли и не видят очевидности, а она в том, что море рождает корабль и то же море — деспот для корабля; принуждения и запреты — оковы для любви, но они же рождают любовь и ее поддерживают, оковы, мешающие тебе стремиться вверх, стремят тебя вверх. Ибо нет взлета без преодоления сил тяготения.

Но те, что двинулись в путь, говорят: «Мы идем вверх, но нас теснят, нам мешают!» Они разрушают препятствия, и пространство лишается перепадов. Разрушив замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла, они бестолково топчутся на ярмарочной площади.

Потому и стали они толковать о духовной пище, которую необходимо включить в рацион, чтобы оживить душу, облагородить сердце. Кормя людей из кормушки, они превратили их в волов на привязи и развевали человека в прах. Поступили они так из любви к человеку, стремясь освободить его, снять с него оковы, возвеличить, исполнить света и благородства, и, увидев коросту, одевшую душу и сердце, ужаснулись. Но что другое извлечешь из разброда, который ты создал? Желая встряхнуть бездушных, ты запоешь песню галерника, бледные призраки былого забрежат в них, и они пригнутся, опасаясь удара. Смутным эхом отзовутся в них и твои стихи, звуча все глуше и глуше, пока не замрут. Пройдет еще время, и песню галерника они не услышат, позабыв о давних ударах бича; покой в хлеве пребудет нерушимым, потому что ты отнял у моря его власть. Глядя на стадо, тупо жующее свою жвачку, ты затоскуешь об осмысленной жизни, о смерти — вечной тайне, пробуждающей дух. Ты станешь искать потерю, словно вещь среди прочих вещей. Напишешь несколько гимнов во славу пищи и будешь наслаждаться, повторяя: «Я ем, вот я ем. . .», но вкус хлеба останется тот же. Откуда тебе знать, что твою потерю не найти, словно вещь среди прочих вещей, что не возместить ее воспеванием самой добротной вечности, ибо нет в дереве места, где помещалась бы его суть; тот, кто ищет суть в чистом виде, имеет дело с пустотой.

Неудивительно, что ты изнемог, отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых, — ее нет.

«Заронить желание совершенствоваться, — говорил мой отец, — значит разбудить жажду. Остальное придет само собой». Но ты снабжаешь готовым пойлом сытые животы.

Любовь — это зывание к любви. Совершенствование — тоже. Основа его и есть жажда. Но как поддерживать жажду?

Мы хотим одного: пьяница тянется к водке. Не из-за пользы: водка несет ему смерть. Возвращенный определенным укладом, будет тянуться к нему. В нас заложено инстинктивное стремление к постоянству, оно сильнее инстинкта выживания.

Я не раз видел, как умирали крестьяне, оторвавшись от своей деревни. Видел газелей и птиц, умиравших, попав к людям.

И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, погасить огонек, которым ты жил, — он светил тебе даже сквозь стены — может случиться так, что ты не захочешь жить.

И тогда, желая спасти тебя, мне придется позаботиться о царстве духа, в нем возлюбленная будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живешь и живешь, ибо нет предела терпению. Дом, которому ты принадлежишь, в помощь тебе и в пустыне. Возлюбленная всегда тебе в помощь, пусть далекая, пусть спящая.

Непереносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твое божество. Оно питает тебя жизнью. И жив ты только тем, из-за чего готов умереть.

Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать ее из поколения в поколение. Научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вечности, царство — в дробности гор, домов и стад, ибо только царство и возможно любить.

Невозможно умереть во имя вечности. Долг смертью платится не тебе — ты путь, кладь, повозка, — а царству. Ты тоже в подчинении у царства. И если царство воплощено, ты готов умереть, защищая его целостность.

Ты готов умереть ради смысла книги, но не за чернила и бумагу.

Ты и сам связующий узел, значимо не твое лицо, тело, достояние, улыбка — то, что возвращается тобой, та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься. Ты творишь ее целостность, она — и есть ты сам.

Редко когда говорят о своей картине: нет таких слов, чтобы, обозначив, передать ее другому. Трудно говорить и о возлюбленной. Ты назвал мне ее имя, но именем не пробудить во мне любви. Я должен ее увидеть. Обозначить, выявить твое царство могут только твои труды. Не слова.

Но ты видел кедр. Я говорю: «Кедр» — и передаю тебе ощущение его величия. Я окликнул кедр в тебе, и он встрепенулся смолистой хвоей.

Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь — иного средства я не знаю. Но когда кормежку приносят в стойло, какому богу ты захочешь служить?

Бога знают и мои старухи, тратя глаза на снование иголки. Ты велел им беречь глаза. Глаза им больше не в помощь. Ты остановил преображение.

Но во что преобразятся те, кого ты так старательно кормишь?

Ты можешь пробудить в них жажду обладания, но иметь не значит преобразиться. Можешь пробудить страсть к вышитым пеленам. И они сделаются сундуком, хранящим пелены. Как пробудить в них жажду к снованию иголки? Только такая жажда — жажда по-настоящему жить.

В молчании моей любви я пристально наблюдал за моими садовниками, за пряхами. Я заметил: дают им мало, спрашивают с них много.

Будто на них, и только на них, возложены судьбы мира.

Я хочу, чтобы каждый дозорный был в ответе за все царство. Дозорный и тот, кто обирает гусениц у себя в саду. И та, что вышивает

золотой ниткой, свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего Господа, и Господь в расшитых одеждах бдит над ней и оделяет ее Своим светом.

Я знаю один только способ взрастить человека: нужно научить его сквозь вещество вещиности различать целостную картину. Длится жизнь богов. В чем прелесть игры в шахматы? В подчинении правилам. Но ты хочешь снабдить игроков рабами, которые бы выигрывали за них.

Ты хочешь подарить каждому по любовному письму, потому что видел: получая их, люди плачут или смеются, — но ты удивлен, почему к твоим письмам люди так равнодушны.

Мало дать. Нужно сотворить того, кто получит. Чтобы шахматы радовали, нужно взрастить игрока. Чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Принуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство.

СХСV

Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе все, даже мускулы. Поэзия — мое священнодействие.

Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года — тоже поступки, только другого рода.

Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преобразования и позволив на него надеяться.

Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не почувствовать, ничего не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в рост. Душевная скупость легко отстранится от благородства, таящегося в обряде.

Я совсем не рассчитываю, что в каждый свой час ты будешь мне послушен, как не рассчитываю, что мой дозорный в каждый свой час будет исполнен усердия к царству. Мне достаточно, если среди многих часов один будет моим. И может случиться, что дозорного, от которого я не требую неустанного усердия, в час, когда он мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно, иначе ты ослепнешь, но морю придает смысл черная жемчужина, неведомо кем и когда найденная, году придает смысл праздник, а жизни — смерть.

Что мне за дело, если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце? Во время военных походов я видел, как черный колдун, обуянный жадностью, заставлял свое племя приносить дары деревянной палке, выкрашенной в зеленый цвет.

Что мне за дело, если колдун роняет свой сан? Скульптор, смяв глину, сотворил жизнь.

СХСVІ

Человек этот требует благодарности: он сделал им то, сделал это. . . Но можно ли от дарения ждать урожая, снять его и сложить про запас? Одаряя вновь и вновь, ты одушевляешь и лишь привязанность. Если ты не даришь больше, ты уже как будто и не дарил никогда. Ты говоришь: «Я дарил вчера, и со мной благодарность за эту заслугу». Я отвечу: «Заслуга эта была бы твоей, если б вчера ты умер. Но ты жив. Весомо лишь то, с чем уходишь в смерть. Из благородного чело-

века, каким ты был вчера, ты сделался сегодня скупердяем. Сегодня умрет скупердяй».

Ты — корень, питающий дерево, оно живет благодаря тебе. Ты связан с этим деревом, оно сделалось твоим долгом. Но вот ты, корень, говоришь: «Больно много я потратил соков!» А дерево засохло. Так ли уж лестна корню благодарность от смерти?

Если дозорный устанет всматриваться в горизонт и заснет, умрет город. Не может дозорный ходить по стене про запас. Не складывает в запас биения твое сердце. Житница не запас — перевалка. Ты удобряешь землю и вместе с тем ее обираешь. И ошибаешься относительно всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляется тебе музейным залом, полным творений. В тот же зал ты хочешь поместить и свой народ. Но нет вещей, нет творений самих по себе. Вещь зависит от языка того, кто о ней говорит. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговца черная жемчужина — три разные, непохожие друг на друга вещи. Алмаз — драгоценность, когда ты его нашел, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме, украшая праздник. В череду будних дней алмаз — та же галька. Об этом прекрасно знает владелица алмаза. Она запирает его в шкатулку и прячет далеко-далеко, — пусть спит. В день рождения короля она достанет его. Он будет олицетворением ее гордости. Она получила его в день свадьбы. Он был олицетворением любви. Когда-то он был олицетворенным чудом для старателя, старатель разбил породу и увидел алмаз. Цветы радуют глаз. Но самые прекрасные цветы я бросил в море, поминая погибших. Их не увидел никто.

Этот человек стал говорить со мной от имени своего прошлого. Он сказал: «Я тот самый, кто...» Будь он мертв, я согласился бы почтить его. Никогда мой друг, единственный подлинный геометр, не перечислял своих заслуг. Он был служителем при треугольниках, садовником в саду символов. Однажды вечером я сказал ему: «Ты должен гордиться своими трудами, ты столько дал людям...» Помолчав, он ответил: «Разве дело в том, чтобы давать? Дающие, получающие — что мне до них? Разве восхищает ненасытность князя, который требует и требует себе жертв? Восхищают те, кто согласен стать жертвой? Получается, что величие князя попирает величие подданных. Получается, что нужно выбирать между одним величием и другим. Но если князь меня унижает, я презираю его. Тогда как если я принадлежу дому князя, его долг возвышать меня. Величие моего государя в моем величии.

Что я мог дать людям? Я такой же, как они. Малая их частичка, что размышляет о треугольниках. С моей помощью люди думают о геометрии. А я с их помощью ем каждый день хлеб. Пью молоко их коз. Обуваюсь в кожу их волон.

Я отдаю что-то людям, но все, что имею, получил от них. Как распознать, чего больше: отданного или полученного? Чем больше я отдаю, тем больше получаю. И царство мое становится все благороднее. Грубый торгаш — и тот не минует дарения. И он не в силах замкнуть свою жизнь собой. Он находит себе куртизанку, дарит ей бесценные изумруды. Куртизанка блистает. И он чувствует себя в ореоле ее блеска. Ему приятен светящийся ореол. Но он мало чем обогатился, став слугой куртизанки. Другой отдал себя королю. «Чей ты?» — «Королевский». И воистину просиял».

СХСVII

Я знал человека, который жил только собой, не снисходя и до куртизанок. Я говорил тебе уже о дородном министре с пухлыми веками, том самом, что предал меня и под пытками отрекался и клятво-

преступничал, предавая и самого себя тоже. Да и как ему было не предать и себя и меня? Если ты принадлежишь дому, царству, Богу, ценой собственной жизни ты спасешь собственную суть. Скупец так принадлежит своим сокровищам. Редкостный бриллиант стал для него божеством. Он умрет, защищая его от грабителей. Но не таков обширный чревом. Как божество он чтит самого себя. Бриллианты принадлежат ему и ему прибавляют чести, но он им не принадлежит. Он — черта, стена, тупик. И если ты грозишь ему смертью, во имя какого из богов может он умереть? У него только и есть что живот.

Любовь, выставляющая себя напоказ, — низменная любовь. Любящий молча созерцает свое божество и говорит с ним безмолвно. Ветка нашла свой корень. Губы — грудь. Сердце — слова молитвы. Что мне до чужих мнений и оценок? Скупец тоже прячет от всех свое сокровище.

Любовь молчит. Толстая мошна бьет в литавры. Да и что такое избыток, если не выставить его напоказ? Что за кумир, если нет поклонников? Расписная доска, прикрытая тряпкой на стене хранилища.

Мой дородный министр с пухлыми веками всегда говорил: «Мое царство, мои стада, мои дворцы, мои золотые шандалы, мои женщины». Он всем был необходим. Обогащал обожателей, что простирались перед ним ниц. И бестелесный ветер чувствует, что существует, клоня колосья. «Я есть, — думает он, — потому что клоню». Но мой министр не довольствовался благоговением, — наслаждался он и ненавистью. Вдыхал — будто аромат, ибо и она твердила: «Ты есть. Ты существуешь, раз заставляешь страдать». И он катился по телу народа, словно карета.

Он был бурдюком, раздутым от низкопробного словесного ветра. Чтобы быть, нужно растить дерево, в котором сбудешься. Ты — путь, кладь, повозка. Чтобы поверить в тебя, я должен увидеть твое божество. Мой министр был ямой для накапливания запасов.

И я сказал ему:

— Долго слышал я от тебя: «Мой... мой... мой...» — и по доброте своей обернулся на бой твоего барабана, подозвал и смотрю. Вижу склад всевозможных товаров. Что принесло тебе твое богатство? Ты кладовка, сундук и в той же мере, как они, полезен и существуешь. Тебе приятно слышать: «Сундуки ломаются», но сам ты что, собственно, такое?

Если я прикажу отрубить тебе голову из удовольствия посмотреть на выражение твоего лица, что переменится в царстве? Сундуки твои останутся на месте. Что прибавляешь ты к своим богатствам? Чего они без тебя лишатся?

Толстяк не понял вопроса, обеспокоился и засопел. А я продолжал:

— Не подумай, что я пекусь о справедливости, которая всегда относительна. Сокровища, скопленные в твоих подвалах, великолепны, но не они меня заботят. Да, ты ограбил мое царство. Любое семечко грабит землю, силясь вырастить дерево. Покажи мне дерево, которое ты вырастил.

Меня не тревожит, что шерстяной плащ и хлеб, пропитанные потом пастуха и пахаря, достались ваятелю. Пот их преобразился в каменное лицо статуи, и неважно, увидят они эту статую или не увидят. Грабит житницы и поэт, он ест хлеб, но не жнет и не сеет. Он питает собой поэзию. Ради своих побед я отнимаю жизни у сыновей моего царства. Но я сотворил царство, и в нем они — сыновья. Покажи мне, чему ты служишь — статуе, дереву, поэзии, царству. Ибо ты — путь, кладь, повозка...

Тверди хоть тысячу лет «мое... мое... мое...» — что узнаю я о твоей дороге? Как послужил ты своим поместьям, драгоценным кам-

ням и золоту? Не подумай, что я растапливаю ледник, заботясь о болоте. Никогда я не попрекну зерно жадностью, с какой втягивает оно в себя соки. Оно будоражит почву, оно не помнит себя, и дерево, которое оно высвободит, ограбит его. Ты награбил, но что проросло и ограбило тебя?

Прекрасна королева далекого царства. Алмазы, выстраданные ее народом, украсили ее корону. Бродяги и нищие ее царства, забредя в чужую сторону, издеваются над тамошними бродягами. «Ваша королева — ободранка, — говорят они. — А вот наша сияет, будто лунный свет и яркие звезды. . .» Но ты сложил в одну кучу жемчуга, бриллианты, поместья только для того, чтобы прославить свое толстое брюхо. Ты воздвиг кумирню, но она жалка, ей не облагородить пошедшего на нее материала. Ты совместил все в одно, но не возвысил, а принизил. Жемчужина на пальце беднее манящего обещания моря. Я уничтожу твой узел, он возмущает меня, твою кумирню я превращу в унавоженную землю для растущих деревьев. Но что мне делать с тобой? Что делать с семечком от дерева, которое обезобразило землю, как обезображивает тело язва?

И все же мне не хотелось бы, чтобы тошую справедливость путали с той высотой, которой служу я. Я говорю: «Случилось так, что взяточничество, воровство, всяческая низость собрали сокровища, которые иначе были бы рассеяны и ничему не служили. Сокровище возвышает своего обладателя, но гораздо важнее, чтобы обладатель возвышал свое сокровище. Я могу его отобрать, разделить и превратить в хлеб для моего народа, но народ мой многочислен, и мало чему поможет один сытый день. Если дерево выросло и оно добротное, я превращу его в мачту моего корабля, но не пушу на дрова ради часа тепла. Что он даст, этот час? Зато спуск корабля на воду будет для всех великим праздником.

Вот и это сокровище я хочу превратить в чудо, что радовало бы сердце многих. Я хочу вернуть людям вкус к чудесам. Благо, если нищий ловец жемчуга — не так-то просто достаются эти жемчужины со дна моря — поверит в чудодейственность жемчужного зерна. Все ловцы станут куда богаче от той единственной жемчужины, что мягко светится в чьих-то руках раз в году, скудная прибавка к трапезе по справедливом разделе всех жемчужин мало их обрадует. Манит в морскую зыб чужая жемчужина».

СХСVIII

Я ищу высокой справедливости, ищу высокого применения низостью скопленному сокровищу, ибо всегда стою за храм, а не за отдельный камень. Не хочу вместо ледника — лужи, вместо храма — кучи камней, не хочу разграбления сокровища. Единственное ограбление, которое я чту, — ограбление земли семенем, семя ограбит и себя и умрет ради дерева. Я не стремлюсь обогатить каждого на кроху, прибавив одну жемчужину — куртизанке, меру зерна — пахарю, козу — пастуху, золотую монету — скупцу. Ничтожно это обогащение. Я хочу, чтобы уцелела полная сокровищница. Все вокруг тогда засветится ее отблеском, словно море, манящее жемчужиной. Сотворив божество, не делишь его, каждому оно достается целиком.

Но ты оскорблен в своей жажде справедливости.

— Бедны и пастух, и пахарь, — говоришь ты. — По какому праву лишаешь ты их достояния? Во имя каких выгод должны они отказаться от него? Во имя какого бесполезного для них божества? Я должен распорядиться плодами моих трудов. Захочу — накормлю сказителя. За-

хочу — отложу излишек для праздника. Но по какому праву, вопреки моему желанию, на моем поту и крови ты собираешься построить часовню?

— Твоя справедливость, — отвечу я тебе, — призрачна и недолговечна, она пригодна лишь для этой ступеньки. Разве спрашиваешь ты у земли, хочет ли она растить зерно? Земля не знает, что такое зерно. Она — земля, и только. Ты тоже не можешь хотеть тебе неизвестного. Ты равнодушно смотришь на проходящую женщину. С чего тебе в нее влюбляться? Хотя, возможно, она и есть твое счастье.

Кто сожалеет о том, что ему неинтересны треугольники? Не сожалеет никто и о своем несожалении. И справедливо, потому что сожаление это было бы нелепо. Дело зерна прибавить значимости земле. Она становится землей, рождающей пшеницу. Не собирается и зерно преобразаться в стремительность мысли, сияние глаз. Оно — зерно, и только. Дело человека питаться хлебом, претворяя его в усердие и вечернюю молитву. Вот и мой пахарь не собирается поливать своим потом землю, возвращая поэзию, геометрию, архитектуру, он ничего не смыслит в них, они для него чужие. Свой труд он захочет потратить на усовершенствование плуга, и это естественно: он — пахарь.

Но я оберегаю не камни, а храм, не землю, а дерево, не плуг пахаря, а постижение. Я чту творческое начало, пусть, на первый взгляд, оно — сама несправедливость, ибо притеснило камень во имя храма. Но вот храм построен, теперь ты видишь, что он — смысл камней и возданная им справедливость? Видишь, что дерево — это облагороженная земля? Видишь, что от геометрии перепало что-то и работяге, ведь и он человек, хоть и не задумывается об этом.

Я пекусь о человеке не с помощью обессмыслившихся припасов и не при помощи равенства, что чревато ненавистью. Солдат и капитан равны у меня перед царством. Бездарный ваятель трудится наравне с даровитым ради прекрасного шедевра гения, плохие работы — ступеньки лестницы, ведущей к хорошим.

Но тебя все же мучает ограбление пахаря, который ничего не получает взамен. Ты мечтаешь о царстве, где каменотес, грузчик, кочегар вдохновлены поэзией, геометрией, ваянием и добровольно отдают тебе излишки, чтобы ты кормил своих поэтов, геометров, ваятелей.

Мечтая, ты спутал цель с путем ее достижения. Да, конечно, я хочу облагородить грубого, необразованного работягу. Да, будет прекрасно, если он взволнуется геометрией. Но, близорукий скудоумец, ты захотел все успеть за короткую человеческую жизнь, ты не понял, что должен проложить дорогу, чтобы задуманное тобой осуществлялось, шагая по ступенькам поколений. Вот оно, главное твое заблуждение.

Теперь ничего не остается, как воспеть погибших в борьбе с морем, — хрупок был парусник, на котором они отправились искать для своих сыновей царство островов. Ты сделал главным бескорыстие погибших, вместо того чтобы продолжать искать пути и понемногу завершить начатое. Нет, ты воспеваешь и воспеваешь солдат, погибших на крепостной стене и ничего не получивших взамен своей отданной жизни. Воспеваешь старца, что сажает кедр, хотя ему самому никогда не посидеть в его тени.

Да, и пахари и пастухи другого поколения утешатся твоей песней. Медленно пускает корни в сердце поэзия, тень от кедра предназначена сыновьям. Я рад, если жертвы окупаются, но не требую, чтобы воздаяние стало правилом. Жертвенность всегда путь к благородству и признак его. Вот уже третий год я строю и оснащаю мой корабль. Запах древесины, стук молотков не великое воздаяние. Торжество настанет еще не скоро. Есть корабли, которые быстро не оснастишь. И если ты перестал поощрять в людях жертвенность, — значит, доволен построенными кораблями, усвоенными познаниями, посаженными деревьями, соз-

данными статуями, значит, ты счел, что настало время обжить чужую раковину, осесть в ней и потреблять наготовленное.

А я тогда поднимусь на самую высокую из своих башен и пристально всмотрюсь в горизонт: близок час приближения варваров.

Я уже говорил тебе: нет сделанного, нет запаса. Есть устремление, путь, подъем. . . Пахари когда-нибудь догонят геометров — и возместят себе пролитый пот, — тогда, когда геометры перестанут творить. Если ты догоняешь друга, а идете вы с одинаковой скоростью, другу нужно остановиться, если он хочет, чтобы ты его догнал. Но я уже говорил тебе: равенство, остановка — всё наступит в час смерти, дальше идти бесполезно, и накопленное послужит тебе, ибо Господь убирает зерно в житницу.

Потому мне и кажется справедливым не делить сокровище.

Есть только одна справедливость: спасать то, чем ты жив. Справедливость к твоим божествам. Но не к отдельным людям. Бог в тебе, и я спасу тебя, если твое спасение послужит Его величию. Но я не могу спасти тебя, пожертвовав ради тебя божеством. Ибо ты и есть твое божество.

Если будет нужно, я спасу ребенка, пожертвовав матерью, ибо по началу он был частью ее, теперь она его часть. Спасу сияние царства, пожертвовав пахарем, спасу зерно, жертвуя землей. Буду спасать черную жемчужину, — досталась она не тебе, но благодаря ей для тебя замерцало все море, — спасать от тебя, вопреки твоему желанию разделить ее, потому что богатство твое окажется смехотворным. Буду спасать смысл любви, чтобы ты мог приобщиться ей, вопреки твоему пониманию любви, — она для тебя что-то вроде приобретения или покупки товара, — такая любовь оставит тебя нищим.

Буду спасать источник, который тебя поит, а не тебя, жаждущего, телесно или духовно, даже если ты умираешь.

Что мне до слов? Они дразнятся и показывают друг другу язык. Они создают впечатление, будто я пытаюсь одарить тебя любовью, отнимая ее, приобщить тебя жизни, навязывая смерть, это неправда, словесное противопоставление запутывает суть, тшась ее выразить. (Приходит время великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть «за» или «против».)

Так вот, мне не кажется справедливым обратить сокровище в прах и вернуть каждому украденное у него: жемчужину — куртизанке, козу — пастуху, меру зерна — пахарю, золотой — скупцу; справедливым, мне кажется, возместить душе то, что было отнято у плоти. Это возмещение ты получаешь, когда, весь в поту, напрягая мускулы, режешь камень и вот наконец совладал с ним, одержал победу, — ты отряхиваешь руки, отходишь, наклоняешь голову, прищуриваешься, смотришь, и тебя обжигает улыбка Бога.

Конечно, грубую и простую дележку можно облагородить. Жемчужину, козу, меру зерна, золотую монету, что сами по себе не великая радость, ты мог бы получить в день праздника как дары, увеличивающие торжественный ритуал. Малоинтересные вещи стали бы даром короля, даром любви. Я знал владельца розовых плантаций, который пожертвовал бы всеми своими розами ради одной увядшей, которую носил у сердца в полотняном мешочке. Но кто-то из моих подданных может обмануться, простодушно поверить, будто радуется само по себе зерно, коза, золотой и увядшая роза в мешочке. И мне хочется все расставить по местам. Могу и я заменить сокровище воздаянием. Вот я пожаловал дворянство: генералу — за победу, садовнику — за новую розу, врачу — за лекарство, строителю — за корабль. По сути, мы все тут заняты куплей-продажей, оправданной, справедливой, внятной для разума, но ни-

чего не дающей сердцу. Если в конце каждого месяца я выплачиваю тебе зарплату, излучает ли она свет? Поэтому мне и кажется, что возмещением несправедливостей ничего особого не дождешься. Ты вознаградил преданность, почтил гения, смотришь и говоришь: «Теперь все правильно». Ты привел все в порядок и снова вернулся к своим делам. Никто не получил и лучика света, потому что так оно и должно быть; несправедливость исправлена, преданность вознаграждена, гений почтен. И если жена спрашивает тебя вечером у порога: «Ну, что нового в городе?» — ты, обо всем позабыв, отвечаешь: «Ничего». Не сообщаешь же ты ей, что солнце освещает дома, река впадает в море. . .

Я не верю в раздобывание. Тебе не раздобыть ни радости, ни здоровья, ни подлинной любви. Не раздобыть звезд. Не раздобыть храма. Я верю в храм, который грабит тебя. Верю в храм, который растет, выжимая из людей пот. По городам и весям рассылает он своих апостолов, и они хранят тебя во имя своего Бога. Верю в храм жестокого короля, который вмуровывает в камни свою гордыню. Он забирает всех мужчин к себе на стройку. И надсмотрщики с бичами превращают их в повозки для камней. Верю в храм, который пьет твой пот и пожирает плоть. Но взамен он обращает тебя в свою веру. Только вера может стать тебе истинной платой. Ибо камневоз жестокого короля тоже получает право на гордыню. Он стоит, горделиво скрестив руки, у форштевня каменного корабля, который стал грозной преградой пескам в беспешной реке времен. Величие храма служит и камневозу тоже. Ибо Бог, единожды явленный, открыт каждому, и открыт целиком. Я верю в храм, рожденный радостным ощущением победы. Ты оснащаешь корабль для вечности. И каждый, кто строит этот храм, поет. Храм тоже будет петь.

Я верю в любовь, что приняла обличье храма. Верю в гордыню, что сделалась храмом. Поверил бы, если б ты смог его построить, в гневный храм. Ибо я видел деревья, чьи корни питались любовью, гордыней, хмелем победы и яростью. Они вытягивали из тебя сок, питались и росли. Но ты предлагаешь жаждущим корням скудную пищу — ты предлагаешь им золото. Золотом умеет насыщаться лишь склад с товарами. Пройдет век, ветреный, дождливый, и склад исчезнет.

Так отверг я сокровище как возможность обогащения, отверг как возможность воздаяния, отверг как возможность построить каменный корабль, но так и не нашел лучезарной картины, в которой оно могло бы преобразиться, облагородив людей, и задумался в тишине.

«Оно что-то вроде навоза и удобрения, — решил я. — Глупо было бы искать в нем чего-то другого».

(Окончание следует)

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

В. Г. Короленко

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ

*По неопубликованным письмам
В. Г. Короленко к родным (1892—1919)*

Письма к родным считались в недавнюю пору чем-то второстепенным: положено было интересоваться общественным поведением писателя, а не его частным обликом. При этом проводилась весьма односторонняя селекция, граничащая с фальсификацией, — в печать шло «идеологически созвучное» и отсекалось все «ошибочное», по советским нормам. Поэтому, в частности, из 800 писем Короленко к жене опубликовано около 150; из 170 писем брату — около 20.

Подробности бытовые, семейные, домашние или — Боже сохрани! — денежно-материальные обходились. Хотя без них не живет человек, даже такой сверхобщественный, как Короленко. Более того, в домашнем ракурсе личность раскрывается порою лучше, чем в рассуждениях о политике. А детали бывают красноречивее иных картин.

«Эпистолярный портрет» дан в виде монтажа. Напечатанные целиком письма Короленко к родным заняли бы несколько томов. Такой возможности в обозримом будущем не предвидится.

Две темы — Россия и судьба журнала «Русское богатство», с которыми Короленко был связан четверть века, — пронизывают семейную переписку, и она вырастает в панораму русской жизни, изображенную без черного или розового идеологического тумана. Политика самодержавного окостенения, чуждая реформаторскому духу, заставила Короленко признать трагическую неотвратимость русской революции, но не сделала его революционером. В этом читатель убедится сам. Короленко был миротворцем по натуре и сохранял независимость даже от своих товарищей по редакции, когда их чересчур заносило в политической борьбе. «Не раздувайте вражды!» — вот главный его девиз. В разгар революции 1905 года он взял на себя смелость утверждать в печати: «доля истины» есть и в анонимном черносотенном послании, наполненном «безобразными ругательствами и угрозами», «а истина имеет свою цену, где бы она ни попадалась...».

В 1885—1895 гг. Короленко жил в Н. Новгороде, так как после ссылки был лишен, как тогда говорили, «прав столиц и университетских городов». В январе 1896 года, по настойчивому зову редакции «Русского богатства», переехал в Петербург, сначала один, на пробу. Вскоре к нему присоединилась вся семья. Столичная жизнь быстро опутала его всякого рода «непроизводительными пустяками» в виде писательских союзов, комиссий, судов чести и т. п. Осенью 1900 года Короленко укрылся в тихой Полтаве в надежде «разложиться на досуге с беллетристическим багажом». Дважды в году — весной и осенью — он приезжал в Петербург для участия в делах редакции. Однако и в Полтаве местные и всероссийские интересы вскоре настигли его и не покидали до конца жизни, когда больной и старый человек обивал пороги чрезвычайек, чтобы выхватить из кровавого месива хотя бы одну-единственную жизнь.

Письма адресованы матери Эвелине Иосифовне, жене Евдокии Семеновне, братьям Илариону (Перчику) и Юлиану, сестре Марии (в замужестве Лошкаревой, шутовое домашнее прозвище — Машина, Машинка), дочерям Софье и Наталье и др. Постоянно упоминаются имена: Николай Константинович Михайловский, редактор журнала «Русское богатство»; Николай Федорович Анненский, ближайший друг и соредактор по «Русскому богатству»; Александр Иванович (шутливое — Александрёр) Иванчин-Писарев, заведующий конторой и секретарь редакции при Михайловском; Федор Дмитриевич Батюшков, приятель, член редакции журнала «Мир Божий»; Сергей Дмитриевич Протопопов и Владимир Адрианович Горинов — нижегородские приятели.

Даты даны по старому стилю, за исключением 1919 года, когда Короленко некоторое время ставил две даты. Адресат письма указывается в том случае, когда нет обращения в тексте.

Письма хранятся в фонде Короленко (Отдел рукописей РГБ).

12 ноября 1892, Петербург.

Дорогая моя Дуняша. Получил, наконец, и здесь одно-одинешенькое письмо. Спасибо и на том, хотя... грешна ты, бедняга, видимое дело, паче меры. Нет тебе никакого прощения! Ну, погоди ужó, приеду — утешу (надо писать через Ъ, моя милая супруга!). Соскучился я, признаться, изрядно и совсем уже было собрался нынче уезжать. Да нет, не вышло.

В том письме писал я тебе, что был в департаменте¹. Не хотел тогда тебя огорчать, но думал было, что только испортил дело. Нарочно пошел еще в другой раз, чтобы хоть в Нижний-то они не прислали отказа. Но вчера разговор принял совсем другой оборот. Дурново был очень мил, и, по-видимому, вопрос разъяснился в твою пользу. Ответа еще нет, ибо многое зависит от Москвы, но, очевидно, департамент явится твоим ходатаем. Вот видишь, Дуняшка, что значит муж, защитник и повелитель, — живи, как за каменной стеной! Зато припасай, смотри, «благодарность», приеду — буду принимать «дани». Давай да и только! Подробности свидания с Дурново очень интересны, но писать долго — расскажу при свидании. <...>

Засим крепко тебя обнимаю, так крепко, что если правда внушение на расстоянии, то ты обязана это почувствовать сию минуту. А наконец — до свидания. Жди и надейся. Твой Влад. Короленко.

12 марта 1893. Н. Новгород. Е. С. Короленко.

Сегодня получил утром из Петербурга телеграмму, которая меня удивила и смысл коей мне не вполне ясен. Содержание такое: «Exsel-sior!* Михайловский, Семевский, Анненский» и т. д. (всех 11 фамилий). Подана в 2 ч. ночи. Очевидно, добрые друзья пировали и вспомнили обо мне. Иначе — объяснить себе не могу. Может быть еще, что цензура пропустила статью.

29 июня 1893, Петербург.

Дорогая моя Душа. <...> Надо тебе рассказать маленькую историю, случившуюся перед отъездом. Полиция в Нижнем точно сбесилась: все зачем-то разыскивают Богдановича² и участковые мудрецы решили, что он почему-то — у нас. Вероятно, потому, что осенью оставался и прописывался в нашей квартире. Я ходил к губернатору и объяснял, что Богд. не думает скрываться, наоборот, сам обращался в Казань с запросом, зачем он нужен, и оттуда ответили, что ни за чем

* Выше! (латин.)

его не надо. Губернатор при мне распушил Косткина за назойливость, да еще такую странную, полиции, а на следующий день Ольга рассказала мне, что к ней приходил утром жандарм, топал на нее ногами и грозил, что ей достанется за то, что она скрывает — все того же Богдановича! Я поехал к Познанскому, очень сердитый, и просил его унять свою свору. Тот, по-видимому, искренне рассердился и присылал ко мне своих жандармов для опознания. Одного Ольга не узнала, хотя и было на него подозрение. Теперь есть догадка, что это сделал выгнанный жандарм, чтобы подслужиться полиции. Я уехал, а эта дурацкая история продолжалась. Может быть, после этого, наконец, хоть немного уймутся.

18 октября 1893, Москва. После смерти годовалой дочери Елены.

Дорогая мамахен. Простите голубушка, что так долго Вам не писал. Вы видите, что прежде я писал много, и если так трудно мне братья за перо теперь, то на это есть свои причины. Как это ни странно, но всего труднее теперь писать самым близким людям. Как возьмешься за перо, так горе, точно совсем новое, всплывает опять с первоначальной свежестью, и после этого чувствуешь себя ослабевшим для сношений с посторонними. От этого Дуня еще ни разу не писала ни вам, ни Саше³. В первый же раз, как взялась за перо, — разрыдалась так сильно, что я не позволил ей писать, запечатал и отослал письма. Из Одессы мы дали вам телеграмму, и вы ее получили. Я все собирался писать, но все не писал. Что делать. По той же причине мы замедляем еще приезд в Нижний: мне хочется, чтобы время притупило хоть несколько остроту чувства у Дуни. Она встретила известие сравнительно твердо, не было слишком болезненных припадков, но зато на нее мало подействовало время, и по временам она сильно ослабевает, как будто все начинается сызнова.

9 мая 1894, Н. Новгород.

Дорогая Дунюшка. У нас все по-прежнему, за исключением комаров. Такого их количества «не запомнят старики». Маруся⁴ ходит с опухшей рожницей, Наталка все жалуется на них ночью — вообще, кусаются, подлецы, как собаки. Кроме этого — ничего нового. Савина кончает гастроли при очень плохих сборах. Третьего дня, в мое отсутствие, приезжала какая-то дама — по всем признакам, Савина. Сегодня думаю сходить к ней. Я посещаю театр каждый вечер. Сначала она мне совсем не понравилась, но затем в пьесе «Фру-фру» и «*Dame aux camelias*»* — она меня совсем победила. А кроме того, по вечерам до нас доносится музыка из цирка на площади, — публики видимо-невидимо, толпится полиция, стоят на всякий случай пожарные трубы, и городовые гоняют серую публику... Настоящее торжество по сравнению с бедным театром.

10 мая 1894, Н. Новгород.

Дорогая моя Дунюшка. И сегодня все обстоит благополучно. Имею честь доложить только, что вчера во время происходивших Николая Федорова Анненского именин было изрядно выпито, от чего и я не уклонялся, а поелику присутствовал и коньяк, то... несколько был навеселе, что, однако, не помешало мне совершить пешую экскурсию на Щолоков хутор. Было весело изрядно.

22 мая 1894, Н. Новгород.

Вчера явился mister Crane (Крэн), мой добрый знакомый из Чикаго, о котором я тебе рассказывал. Этнограф и фольклорист. Идет

* «Дама с камелиями» (франц.).

вниз по Волге и намерен добраться до Индии и далее. Вчера и сегодня — отдаю ему, завтра уезжает. <...> Ну, милая моя жenuшка, крепко обнимаю тебя и — иду показывать американцу наши достопримечательности. Вчера были в ночлежном приюте Бутрова, ходили по Миллионной, сидели очарованные на кремлевской стене, любясь необыкновенно красивым закатом, ужинали на пароходе «Кавказ и Меркурий», над заснувшей и потемневшей Волгой, да еще — лазали по узким переходам старого Архангельского собора.

От Михайловского получено письмо: просит непременно примкнуть к «Русскому богатству» в качестве члена Комитета, куда я избран; но тут условие: постоянный сотрудник должен обещать исключительное сотрудничество, т. е. не может работать в «конкурирующих органах» (вероятно, журналах) без согласия Комитета. Михайловский очень убеждает не отказываться — ему, бедняге, очень теперь нужны свои люди в Комитете, и Александр Иванович едет тоже говорить об этом и убеждать. Напиши, голубушка, что ты об этом думаешь, я еще не знаю, на что решусь. Это мне очень неприятно, и если я соглашусь, то разве только на время, пока уладятся внутренние неполадки «Русского богатства». Но мне нужно при решении вопроса знать и твое мнение.

25 октября 1894, Москва.

Дружище Перчик. <...> Спешу перекинуться с тобой несколькими словами. Во 1-х, о злобе дня. 20 и 21-го я был в Питере, куда ездил для редакционного собрания «Русского богатства». Таким образом, я имел случай наблюдать впечатление первого известия о смерти Государя в столице. К удивлению, приходится констатировать, что Петербург изменился весьма мало. С утра 20-го бюллетени стали являться чаще обыкновенного и в них то и дело попадала фраза «деятельность сердца слабеет». Всем было ясно, что конец близок. Около новых бюллетеней толпились кучки читающих — более обыкновенного. В 6½ часов я пробрался к бюллетеню на углу Невского и Владимирской. В нем сообщалось, что «Государь сподобился приобщиться св.<ятым> таин. Сознание полное». Но в это время уже слышалась всюду фраза: «умер в 2 часа». Это сообщили проходившие от Думы и Публичной библиотеки, где только что появилась краткая телеграмма: «Ливадия. 20 октября. В 2 часа 15 минут Государь Император в Бозе почил». Через ½ часа, т. е. около 7 часов, я опять ехал по тому же месту. На Невском движение было заметно оживленнее, чем обыкновенно. Очевидно, всех тянуло на улицу узнать последние известия. Не доезжая еще Невского, я заметил густую кучку народа, окружившего газетчика. Я пробился туда и сунул гривенник, но газетчик внезапно вырвался из толпы и выбежал с панели на улицу; у него было уже два-три разорванных листа. Здесь я все-таки купил большой плакат в формате газетного полулиста. Оказалось, что это «Петербургская газета» делает ловкую аферу... В сущности, на листе не было ничего, кроме той же телеграммы: «тихо в Бозе почил». Остальное состояло из заглавия «Плачь, Россия!» и двух больших статей, напечатанных, очевидно, заранее, может быть, за несколько дней, когда исход можно было предвидеть далеко не безусловно. Таким образом, публика платила гривенник за телеграмму, которая в то время висела уже на всех перекрестках. Это скоро заметили, и, кажется, газета со своим «плачем» ошиблась в расчете. Часов около 10-ти уже газетчики не только не вырывались от публики, но стояли с кипами «плача» и тщетно зывали: «Последние известия о смерти Государя». Все взглядывали на крупную надпись «Плачь, Россия!» и проходили мимо. В 12 часов и в 2 часа ночи я опять проходил по Невскому, нарочно, чтобы посмотреть на его физиономию. Она была совершенно обычная. На следующий день — несколько больше грохо-

та экипажей. Кареты у Зимнего дворца, у Синода, у Сената, у Главного штаба. Это уже производил свое движение официальный Петербург.

Ты спросишь — а то, что описывается в газетах: плач, молитвы на улицах и проч. Могу сказать одно: я этого не видел. Два-три раза видел снятую шапку и торопливое крестное знамение, два-три раза кто-нибудь начинал читать громко «Плачь, Россия!», но, слыша обычные газетные пошлости, заготовленные ловким аферистом, дерущим гри-венник за копеечный листок, — публика расходилась и сам читающий складывал плакат и шел дальше. Говорят, кое-где плакали в церквях, и Велина Шура⁵ возвращалась заплаканная из гимназии. В обоих случаях топла заражалась настроением: в первом — священника, во 2-м — классной дамы, которые объявили известие с рыданием и плачем. В общем, новое царствование началось спокойно и без излишнего возбуждения. Что будет дальше? Слухов много, но Петербург сам не знает ничего. Все новости еще в Ливадии. А пока крепко обнимаю тебя.

22 ноября 1894, Н. Новгород. И. Г. Короленко.

В день свадьбы⁶ полиция в Питере совсем отсутствовала, — что пишут и в газетах. Однако перемен более существенных пока еще никаких нет, хотя говорят много. Между прочим, все взоры обращаются к старому Малютину, который во всех церемониях занимал место из ряду вон. Его прочтат в канцлеры. Затем сильно говорят об отставке Ванновского, Дурново и Победоносцева и поговаривают о других — даже Витте и Муравьева. Но это еще впереди. Пока же в Манифесте даны огромные милости дворянству и поменьше крестьянству (дворянам, по вычислению газет, сбавлено около 40 милл., крестьянам — 57 милл. недоимок). Затем, политическим преступникам, кроме общих с уголовными льгот, даются еще сверхсметные, — по представлению министра, в случае, если «по роду вины или доброму поведению» они заслуживают облегчения, превышающего те, которые даются п. IV Манифеста для всех уголовных. Вообще же, в Манифесте старые течения смешаны с новыми, и первых еще гораздо больше. Хорошо, однако, уже и то, что пробивается все-таки что-то мягкое и более гуманное. <...> Ну, проживем — увидим, что будет дальше. <...> Говорят, в Петербурге охрана снимается. А у нас она недавно введена (месяца 1^{1/2}) — и письма вскрываются безбожным образом.

3 декабря 1894, Петербург.

Дорогая Дуня. Вчера было у нас решительное собрание пайщиков — довольно-таки бурное, но, в общем, благополучное. Я избран по баллотировке пайщиков единогласно и участвовал с правом голоса (против этого, впрочем, т. е. против участия в этом же заседании, — Кривенко⁷ возражал), так же и Лесевич⁸. Но и до этого большинство уже определилось против Кривенка. Он вышел из редакционного Комитета, причем, по моему заявлению, поддержанному Н. К. Михайловским, внесено в протокол единогласное мнение, что мы отнюдь не считаем его выбывшим из пайщиков журнала, если только он пожелает остаться. То же и относительно сотрудничества. Большинство пайщиков и часть тех, которые сначала воевали, ударили отбой и, вероятно, останутся. Кривенку очень жаль, но нужно сказать, что он проделал некоторые совершенно непозволительные штуки, чтобы повредить противникам, да и журналу. Когда выеду из Петербурга, еще не знаю. Сегодня иду в департамент полиции, хочу расспросить и поговорить о Паше⁹. В понедельник, вероятно, повидаюсь с Феоктистовым¹⁰, если есть прием, хотя все-таки говорят, что еще ничего не определилось, и недавно одному довольно влиятельному «ходатаю» за какого-то гонимого человека ответили: «Теперь нельзя думать и заниматься этими

делами. Каждый занят вопросом: останется ли он сам на месте». Все еще неопределенно, туманно, неизвестно. Только заграничная печать утешает.

5 декабря 1894, Петербург.

Дорогая Дуня. < . . . > Я из твоих писем вижу, что тебе необходимо поличиться: они коротки и проникнуты чем-то таким, из чего я увидел бы, что ты нездорова, если бы ты и не писала об этом. Кроме того, на письме Сонички, написанном очень хорошо, я заметил, что некоторые буквы расплылись от слез. Значит, ты была недовольна и раздражалась. А причины, кажется, не было, потому что, повторяю, написано хорошо. А Наташенька даже и не дописала — только «НА» написала сама. Я отсюда ясно вижу по этому письмецу вас всех и всю картину, как вы пишете. Дети стараются, мама сердится и торопит. А может, я и ошибаюсь — тем лучше.

Теперь сообщу тебе результат моего свидания с департаментом полиции: Манифест еще не применяется, ждут отзывов местного начальства, к кому применить в какой мере. Пройдет еще месяца 2—3 в переписке. Значит, наши опасения о возможности зимнего пути куда-нибудь в Якутку — пока преждевременны. Я говорил о технике применения Манифеста и о поспешности, которая иногда наносит вред вместо смягчения участи, затем указал и на то, что у Паши ребенок и т. д. Вице-директор Зволянский все это выслушал очень внимательно и записал.

17 декабря 1894, Н. Новгород.

Дружище Перчик. < . . . > Что тебе сказать нового? Когда я вернулся из Петербурга, нижегородцы так и надели на меня, точно клопы на свежего человека: новостей, новостей! Но беда-то в том, что новостей нет совсем. В Петербурге теперь царит настроение, описанное Щедриным: «погодить надо». И все «годят», все чего-то ждут, и ждать уже надоело, а жизнь и не двинулась с места. «Победоносцев, Дурново, Ванновский — уходят». Таковы были первые слухи. «Победоносцев, Дурново, Ванновский — остаются», — говорили потом. А теперь — не то уходят, не то остаются — погодить надо. До коих пор — неизвестно.

Свадьба прошла при необычайном энтузиазме, вызванном тем, что на время торжества убрали полицию. Но, разумеется, без полиции невозможно, и теперь полиция опять всюду на своих местах. Ни одна административная щепка еще не передвинулась в России со своего места. Недавно штунда объявлена особо вредною сектой, недавно же сожгли сочинения Елисеева, изданные Солдатенковым, в самое последнее время в Москве арестовано и разослано несколько десятков студентов. Эпизод этот довольно интересен. Проф. Ключевский (говорят, мечтает стать Победоносцевым) прочитал лекцию об Александре III. Сей историк полагает, очевидно, что история начинается с первого дня после смерти, и потому прочел студентам необыкновенно витийственный дифирамб покойному Государю. Студенты, которые, очевидно, держатся иных исторических взглядов, ошкаркали будущего Победоносцева. Это во 1-х, а во 2-х, сделали еще хуже. Когда вышла вслед печатная (или литографированная) «лекция» Ключевского, то кто-то, скупив экз. 200—300, — прибавил к ней на 1-й странице известную басню Фонвизина, недавно изданную в полном собрании сочинений, кажется, «Нивой». Заглавие — «Лисица-казнодей», содержание — похвальная речь Лисы над гробом Льва, а конец заключает очень резкую сентенцию: «Чему дивишься ты, что сильному. . . льстят подлые скоты». Вся эта история раздражила московское начальство, и потому — при первых признаках какой-то студенческой петиции — университет наполнили полицией, переписали — и разослали: кто говорит 40 чел., кто 200.

Как видишь, все по-старому, — что будет дальше? Тверское земство, кажется, одно попробовало подать адрес в либеральном духе. Начинается он словами: «В знаменательные дни служения Вашего русскому народу», а кончается пожеланиями, чтобы законы исполнялись одинаково как со стороны народа, так и представителей власти, чтобы «права отдельных лиц и учреждений незыблемо охранялись», чтобы была «возможность и право для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, чтобы до высоты престола могло достигать выражение потребностей и мысли не только представителей администрации, но и народа русского». И т. д. Все это очень скромно, но все-таки это попытка выразить честное мнение общества. Говорят, из 55 гласных — 11 земских не подписались, но большинство приняло адрес. Разумеется, встретятся большие затруднения при передаче.

Ну, что же еще? Кажется, все, а с остальным — «погодить надо». Что будет в новый год, а там — что будет 15 января (прием депутатий с хлебом-солью), а там — еще и еще. Вот поляки — те все-таки хоть чего-нибудь дождалась: Гурка¹¹ убрали. Известие об этом пришло в Варшаву 6 декабря, и в тот же вечер Варшава иллюминировалась необыкновенным образом: даже в беднейших квартирах стояли в окнах свечи. Правда, что это совпало и с именинами нового Государя, но, кажется, значительная часть торжества принадлежала Гурку.

25 января 1895, Н. Новгород.

Дорогая мамахен. <...> У нас все по-старому: газета «Нижегородский листок» все редактируется А. А. Дробышевским и, надо сказать, редактируется довольно бесцветно и плохо. Фельетонистом выступает А. Н. Ульянов, доказывая только еще раз старую истину, что хороший человек и даже отличный педагог может быть очень плохим фельетонистом. Впрочем, что будет дальше? <...> Недавно был огромный пожар на мельнице Башкирова, по поводу него фельетонист «Листка» написал, что он «глядел с чувством, близким к отчаянию, как гибнет в пламени произведение человеческого гения», а затем тут же прибавил, что не может одобрить затеи велосипедистов учиться фехтованию; «непременно повыколют друг другу глаза — и перессорятся». Думаю, Машина сразу угадала бы, кто это написал: педагог, педагог! А. А. Дробышевского совсем не видим: все сидит в редакции и все чик-чик-чик — кроют вдвоем с Ульяновым из чужих больших листов свой маленький листочек. Цензор опасается, как бы от такой усердной работы не вышла в Нижнем революция, и потому из маленького листочка все делает еще меньший. Добра-то, добра-то из-за этого сколько пропадает — страсть: начинают вырезок — ан половина-то и не годится. Сергей Дмитриевич пытается им давать кое-что (и таким образом, кроме вырезок, являлось изредка и кое-что свое). Но не может выносить цензорского юмора. Написал раз статью об Александровском банке. Алексей Алексеевич (большой политик!), чтобы задобрить цензора, поставил от себя подпись: «Дворянин». А цензор и приписал против этой подписи: «Скоро будет дворянское собрание. Господин дворянин может высказать все это на собрании». Чирк и кончено. Устинья Ивановна¹² унывает, утешаясь только при получении жалования. Получит (рублей 120 в месяц!) — и видит, что еще месяц прошел, и устремляет свои взоры к будущей полудке, как пловец на углой ладье — смотрит на туманный берег. Ой, доплывет ли? А по сторонам ходит благонадежный Ермилов¹³, злобно щелкает зубами и грозит, что он с губернатором за такие опасные занятия упекут всю эту анархическую компанию в Сибирь и даже дальше. Таковы наши делишки.

25 января 1895, Н. Новгород. Ю. Г. Короленко, приславшему свои стихи.

Ты, конечно, понимаешь, что невозможно постороннему склеивать эти варианты — это работа автора. Я могу только сказать, что мне кидается в глаза в целом, что я и сделал. Когда же ты завалил меня кирпичами, из которых делаешь свою постройку, я просто теряюсь, целое ускользает от взгляда, варианты летают кругом, как муха, и, ей-Богу, я не в силах собрать их воедино. Да и ты не давай им такой воли. Выбери один, поставь на место — и кончено, и потом заботься только о целом. А то выходит какая-то анатомия поэтического вдохновения, портящая свежесть и непосредственность впечатления.

28 марта 1895, Н. Новгород.

Дружище Перец. Теперь уже я оказываюсь виноватым перед тобою. В то время как твои письма удовлетворяют здесь нас всех и в количественном и в качественном содержании, — мы отвечаем плохо и редко. Ну, брат, не взыщи. Сначала было ужасно много работы. В январе я хворал, или, вернее, кис, инфлюэнцией или черт еще знает чем, а в феврале пришлось сразу кончать рассказ. Сидел до начала марта дни и ночи, выбегал обедать на минутку и опять скрывался в своей комнате. Написал недели в 1½ около 4-х печатных листов. Потом пошли проводы Ник. Федоровича, оставившего Нижний для Петербурга, — ну и ты можешь себе представить, как и сколько времени мы его провожали. А так <как> мы с ним в последнее время даже природные имена переменили и стали зваться Петрами Ивановичами Добчинским и Бобчинским, то всюду, где его провожали, неизбежно должен был быть и я. Вот тебе смягчающие вину обстоятельства. <...> Дуня, как тебе, вероятно, известно, собирается подарить меня в сентябре наследником имени или новой девицей. Вперед прошу любить и жаловать. Это отсрочивает мой отъезд из Нижнего, а то и я за Анненским собирался бросить этот город перлюстраций, валящихся зданий и шпионства.

Ну, брат, до свидания. Благословляю тебя жениться в Сибири, но на следующих неперемненных условиях: особа лет 28—30, не меньше, недурная, но не красавица, нрава серьезного и чтобы питала к тебе нежность, без элементов безумия и пылкости. Тебе непременно нужно иметь семью и детей.

2 апреля 1895, Н. Новгород.

Дорогая мамахен и все. <...> У вас теперь настоящий праздник, а у нас здесь далеко не настоящий. Так себе, просто неприсутственный день — и кончено. А почему именно, тому следуют пункты. 1) По Полевой улице хоть не ходи, — пустые окна дома Владимирского наводят уныние, как некогда окна нижней квартиры¹⁴. Даже почтеннейший Барбос не облаивает прохожих напрасным лаем. 2) Внезапно, в конце Страстной седмицы, на самую на Страстную субботу, невзирая даже на то, что проводил я, грешный, оную седмицу в посте и молитве, — нечистый улучил меня пострелом в поясницу. Повело меня на бок, на правую сторону, и тако, в искаженном виде, провел первый день Пасхи весь у себя дома. Хотя же вчера А. Ю. Фейт искусным массажем и принес мне значительное облегчение, так что сегодня я уже сам надевал сапоги, но окончательное подобие Божие и прямота стройного моего стана еще ко мне не вернулись. 3) Посему-то даже не мог вам послать ни письма, ни телеграммы своевременно, ибо при единственной прислуге и послать некого. И как отправлю это письмо, Бог ведает. 4) Вследствие всех сих причин впал в ожесточение и, забыв милость Божию, погрузился в чтение «Братьев Карамазовых», коих в два дня уже и одолел половину. Ежели бы, по великой все-таки Божьей ко мне милости, старец Зосима не изгиб и не провонял, то уже и не знаю, что бы

со мной, грешным, было дальше. А теперь все-таки и старец преставился, и пострел помаленьку из меня вылезает. А ежели еще дамы нынче посетят меня, болящего, по объявлению («Христосуясь, по болезни, на дому»), то, может быть, как-нибудь и исцелю. А пока — напишите нам все вместе несколько утешительных слов. <...> Нижегородская «политика» (охрана тож) к празднику, кажется, дала себе роздых, да и шпионы отчаялись уследить за всеми визитерами, а перлюстраторы за всеми визитными карточками. Есть случаи, когда искусство человеческое признает себя бессильным!

26 мая 1895, Петербург.

Дорогая моя Дунюшка. Вот до какой степени соскучился, что каждое утро первым делом сажусь писать тебе письмо, не зная даже, в сущности, что напишу, так как, разумеется, за ночь ничего нового не случилось. Писал уже тебе, что получена бумага с утверждением меня издателем¹⁵. Вчера по этому случаю была небольшая пирушка, весьма умеренная, но все-таки у Палкина, и вернулись мы с Ник. Фед. уже среди белого дня, часа в 3. Сегодня встал я, как всегда в таких случаях, ранее обыкновенного и тотчас же отправился «к тавру», взял холодную душу и сегодня чувствую себя обновленным. А это и нужно, потому что предстоят дела, визит к цензору и г. д., а вчера у меня трещала голова с утра. <...> Предстоит еще одно деловое совещание — и я свободен. И уж покачу же я отсюда, яко камень из пращи!

8 ноября 1895, Петербург. Е. С. Короленко.

Меня очень тянут в Питер, да это и нужно. Ввиду того, что в принципе и мы с тобой уже решили возможность переезда, я не очень и упирался. Будь что будет. Под лежащий камень вода не потечет. Довольно нижегородских интересов. А журналу, несомненно, нужно теперь присутствие всех сил. Итак, с января я обещал приехать, оглядеться и — подыскивать квартиру и прочее. Январь и февраль поработаю здесь один. Относительно лета вырешим в Нижнем. Пока этим ограничивается мое обещание, данное «Русскому богатству». Остальное потолкуем и вырешим вместе.

14 ноября 1895, Петербург. Е. С. Короленко.

Почему ты так поняла мое письмо, что я уже категорически обещал переехать в Петербург? Нет. Я имею в виду сначала пожить здесь (январь — февраль) один, присмотреться, увидеть, что я здесь буду делать, и только тогда решить окончательно. Что я здесь нужен не на одни побегушки — это несомненно, да побегушек-то и немного (до сих пор, например, еще никуда не бегал). Работы довольно и без этого. Журнал — дело серьезное, и этот год — критический. Нужно сосредоточить все силы. Таким образом, я не сомневаюсь, что я нужен и что дело будет. Если я не решаю окончательно и совсем перебраться сюда, то лишь потому, что не знаю, насколько эта работа удовлетворит самого меня и захочу ли я продолжать ее и далее. Мне пока кажется, что в Петербурге я буду работать живее и больше: здесь атмосфера, возбуждающая и мысль, и воображение. Но, во всяком случае, пока я обещал лишь приехать на два критических месяца, и, во всяком случае, окончательное решение примем уже сообща. Не сердись, не волнуйся, будь здорова.

10 января 1896, Москва.

Дорогая моя Дунюшка. <...> Отрываюсь постепенно от нижегородских впечатлений. В поезде увез с собою такое ясное воспоминание о прощании, что, кажется, все лица еще и теперь стоят в глазах, как живые. В Черном в мой вагон вошел Горинов и перетащил к себе. Против меня и рядом в первом вагоне сидела какая-то французская

компания. Когда я почти уже вышел за Гориновым, меня вдруг окликнула какая-то молодая французская дама, остановила в проходе, объявила, что она *charmée de me voir**, и протянула руку на прощание, назвав себя: Thoa (Терезина Туа). Я с узлами в руках имел, должно быть, довольно смешной вид и едва нашелся сказать, что и я в свою очередь *enchante***, как звонок напомнил мне, что поезд стоит одну-две минуты. Дальше я ехал с Гориновыми, значит, совсем в нижегородской атмосфере (даже в пикетик с кумой перекинулись). На вокзалах в Гороховце, Вязниках, Павлове — всё нижегородские встречи, рукопожатия, пожелания. Потом Москва. Я стоял, ожидая багажа, и смотрел, как мимо меня нижегородская толпа вливалась струйкой в московское море. Лица несколько усталые, озабоченные, все торопятся, садятся на извозчиков, уезжают. На дороге я обогнал m-lle Туа, которой поклонился. Она ответила тем же, но лихач быстро обогнал меня опять — и это была последняя фигура, мелькнувшая передо мной из нижегородского поезда.

15 января 1896, Петербург.

Сегодня с утра я уже в своей собственной комнате, за своим письменным столом, и вот, как видишь, обновляю его этими первыми строчками к тебе. Хотя в жизни мечты редко сбываются, но на этот раз я устроился именно так, как мечтал, уезжая из Нижнего. Правда, стоило мне это нескольких дней отчаянной беготни по разным улицам, переулкам, дворам и лестницам. Пересмотрел массу комнат, массу хозяев и хозяек, в одном месте какой-то плохо выбритый господин в халате чуть не швырнул меня с лестницы. Оказалось, я не заметил, что на билетике написано: «для одинокой». «Вы разве дама?» — зарычал на меня господин в халате. «Как видите, — говорю, — не дама, а солидный господин, ищущий комнаты». — «Читать умеете?» — «Читаю, ничего!» — «Так спуститесь вниз и прочитайте, что написано на билетике!» Благодарю за хороший прием, спускаюсь, читаю, что комната назначается для одинокой, и иду дальше, от души желая небритому господину найти себе какого-нибудь дьявола в юбке под парю. Наконец, после многих исканий, останавливаюсь на двух проектах: две комнаты на Лиговке, в доме артиста Сазонова, настоящее весьма изящное гнездышко, уставленное безделушками. Ход отдельный, внизу, комнатки уютные, но, во 1-х, 35 рублей в месяц, во 2-х, почти без прислуги, так как дворник (за особую плату) может приходиться раз или 2 в день! Все это не особенно привлекательно, и потому решаю обратиться к другой находке. На Невском, недалеко от тех мест, где мы когда-то жили, близко от Анненских (минут 8 ходьбы), у почтенной старушки с утиным носом, большая, светлая комната в 4 окна, особенно понравилась мне мебель: старинная, солидная, прочная, видно, что стоит давно на одном месте. И действительно, оказывается, что моя хозяйка уже 35 лет занимает эту квартиру. Я водворился в этот насиженный уголок и чувствую себя настолько хорошо, насколько могу в разлуке с вами всеми и в Петербурге. Это не меблированные комнаты, из которых положительно меня что-то гонит вон. Сюда, наоборот, тянет, тянет к столу, к конторке (есть и конторка, над которой я прибил уже ваши портреты), вообще — тянет, точно в собственный рабочий кабинет. Итак, дорогая Дунюшка, поздравь меня с новосельем в очень симпатичном уголке. Справа у меня какая-то старая дама или дева, слева — опять старая дева, дочь хозяйки; одним словом, старый дом, старинная комната, старая мебель — кругом старые девицы. Рай да и только.

* рада меня видеть (франц.).

** очарован (франц.).

19 января 1896, Петербург.

Дорогая, милая моя Дунюшка. Не знаю, приехал ли уже Влад. Адрианович в Нижний в то время, как ты читаешь это письмо. Если приехал, то уже, наверно, с большим юмором рассказал тебе, как разлетелись мои мечты об идеальной комнате. Да, увы! Видимо, идеалы на сем свете не сбываются. Немка моя оказалась «шельмец», по пророчеству Влад. Адриановича, настоящий Гарпагон в юбке, скупая на дрова до невероятности. Что всего хуже, от этого и комната холодна, как сарай, так что даже в теплые дни приходится топить два раза. Из-за этого у нас с немкой идет война, и только угрозами потребовать обратно деньги и съехать я добился того, что теперь топят два раза. Таким образом, конечно, можно здесь жить и даже работать, но все-таки я уже присматриваю себе другое помещение.

В остальном — все хорошо. Здоров, начинаю входить в петербургскую жизнь, а главное — ко мне здесь решительно никто не ходит. Я «принимаю» два раза в неделю, по 2 часа в «Русском богатстве», а зато у себя совершенно уединен и свободен. Редакционной работы не мало и не много; кажется мне, что работать будет можно по всем частям. Беда только, что меня уже наметили в члены Литературного фонда, но, кажется, для первого раза еще отобьюсь, — в ревизионной комиссии уже вчера заседал. Впрочем, времени все-таки остается достаточно. День мой проходит так: встаю часов в 8 утра, еще при лампе. Работаю, потом пью чай, потом слегка воюю с хозяйкой из-за топки печи, причем она указывает на то, что на дворе тепло, и просит ее сколько-нибудь пожалеть, а я указываю, что в комнате холодно и что жалеть ее не желаю. Намекаю на санитарный надзор и требую обратно деньги. (Сегодня, впрочем, обещал специально на дрова прибавить 2 р., авось обойдется без войны.) Потом опять работаю, если не нужно идти никуда, до 5 часов. В 5 часов отправляюсь к Анненским, обедаю, сижу до 7—8 часов — и опять домой. Так идет, так и будет идти мое время. Повторяю: работать можно.

30 января 1896, Петербург.

Милая моя Дунюшка. Ты уже знаешь, что я опять переехал после того, как моя проклятущая немка угостила меня угаром. <...> Кажется, могу сказать, что наконец нашел себе приют. Вчера переехал, сегодня уже вечер — и еще никаких неудобств квартиры не проявлялось. Большая комната, очень хорошая мебель, большое венецианское окно, в которое видна длинная полоса ничем, кроме облаков, не закрытого неба. Тепло достаточно, печь изразцовая, угару нет, хозяева очень, по-видимому, милые. Что меня особенно удручало в прежней квартире, так это присутствие отвратительного человека в лице хозяйки, скупой, сварливой и дрянной. Можешь себе представить, что она доказывала мне на замечание о холоде и угаре, что я, заставляя ее топить два раза (на свой счет), развел ей в квартире сырость! Утешаюсь одним, что мой внезапный отъезд, по-видимому, все-таки ее несколько обескуражил.

Теперь хозяева очень милые, какая-то большая семья, две молодые дочери (одна вдова), сын юнкер, маленькая внучка, еще какая-то девочка побольше, — одним словом, появляются из недр квартиры все новые лица, точно из отроившегося улья. Все до такой степени имеет семейственный характер, что даже горничная, которую все зовут Марьей Ивановной, ходит на сносях. Ко мне все относятся необыкновенно предупредительно и любезно, сегодня даже угощали блинами. Не то что подлая немка, которая, даже узнавши откуда-то, что я писатель, сделала из этого оружие против меня: по ее мнению, хороший писатель всегда позволяет закрывать печку с угаром и никогда не позволит себе из-за таких пустяков огорчать хозяйку, а тем паче съезжать с квартиры! Одним словом, совсем теперь не то, хорошо, насколько возможно одно-

му. Портреты ваши расставил на зеркале, так что стоит чуть-чуть повернуть голову — и вы смотрите на меня втроем. Тихо, прилично, мирно. < . . . > Не поверишь, как я теперь жду письма и как влюблен в твой почерк, право, не преувеличиваю нисколько. Да, вот что значит разлука: избалуется человек долгой невозмутимой жизнью и не думает о том, что он счастлив.

3 февраля 1896, Петербург.

Дорогая моя Дунюшка. < . . . > Квартирой пока доволен вполне и не знаю, могут ли в будущем проявиться в ней какие-нибудь неудобства. Здоров, чувствую себя изрядно, только вчера выбрали меня в члены комитета Литерат. фонда (на 3 года!). Правда, выбор довольно лестный, так как я получил из 8 кандидатов (выбрано 4) наибольшее число голосов, но это угрожало тем, что меня могли сейчас запрячь в секретарство, а это все-таки немало труда. ОтбилсЯ пока тем, что я человек новый и что еще не окончательно устроился в Питере.

Да, Питер тянет в свою грохочущую жизнь, приходится то и дело вспоминать о времени, о тех или других срочных часах и т. д. Зато он же как-то и возбуждает. Думаю, что здесь работать буду все-таки гораздо больше, но лишь тогда, когда окончательно отделаюсь от мултанства. То и дело — дергают меня с разных сторон. Как раз в разгаре беллетристической работы пришла статья Смирнова (профессора) в казанском «Деятеле» — статья бездарная и дурацкая, а все-таки разбила настроение. В феврале же буду, вероятно, делать доклад в антропологическом обществе, а пока все-таки отбиваюсь на время от мултанства и сижу за очерком, который, может быть, появится в феврале.

Ты спрашиваешь, как идет подписка? Идет отлично, я положительно не рассчитывал на такой успех, принимая все-таки во внимание появление нового и близкого во многих отношениях журнала¹⁶. Если бы удержали хоть прошлогоднюю цифру, и то, конечно, следовало бы признать удачей. Но оказывается, что уже на 1 февраля мы имели почти столько, сколько в прошлом году; все остальное (весь февраль и март) — уже будет излишек.

6 февраля 1896, Петербург. Е. С. Короленко.

Вчера, между прочим, приехала Строева¹⁷, вернувшись из Кронштадта. Так как она дала кому-то только рубль, то и благодати получила на копейку. С нею рядом стояла дама, давшая 25, — чудотворец с нею ласково беседовал и брал за подбородок, другую (15 рублей) брал за нос (верно, она сама рассказывает с большим сокрушением). А она напрасно взывала: «Батюшка, батюшка!» Стоя рядом, чудотворец даже не посмотрел на бедного Паню. Зато Склифосовский, представь, подает надежду и сказал, что, если Домберг с ним согласится, тогда — операция и (его слова) «дело в шляпе».

10 февраля 1896, Петербург. Е. С. Короленко.

Моя петербургская жизнь выясняется, и переезд перестает пугать. Я решил только, что лучше за квартиру заплатить хоть на 20 р. дороже, но необходимо, чтобы была отдельная комната, т. е. совершенно отдельная, как теперь у меня. В таких условиях, уверен, что заработаю вдвое больше. Тут главное вот в чем: с утра и до обеда (до 5 часов) я сижу в своей комнате и мне нечего делать больше, как только сидеть и работать. Ничто не отвлекает, никто не приходит не вовремя, и — главное — никуда из комнаты не тянет. Конечно, это потому, что под боком нет детишек, ни Лельки, ни тебя. Дома услышишь — захохотала Соня или Наталка — и хочется узнать, в чем дело; Лелька заплакала — опять тянет посмотреть. Так вот, и нужно будет такую комнату, куда не проникали бы эти соблазнительные звуки. После обеда — свобода и лоно

семейства, все утро до обеда — работа, таков теперь идеал моей жизни, идеал, как я вижу, вполне осуществимый. Ты скажешь: а редакция? Вспомни: в Нижнем я читал 10 газет и ничего за сие не получал. Кроме того, почти каждый день ходил в редакцию¹⁸, не считая, что читал еще рукописи.

Теперь остались одни рукописи и — только 6 часов в неделю в редакции. <...> Что сообщить тебе нового? Вчера было очень бурное заседание Вольного экономического о-ва, которое я посетил в первый еще раз, освободившись от статьи. Интересно: это что-то вроде борьбы марксистов с чиновниками, хотя нужно сказать, что из этой борьбы после упразднения Комитета грамотности, никаких осязательных результатов ждать нельзя. Вчера, например, борьба кипела главным образом около упразднения секретаря, действительно полного негодяя, но все-таки это вопрос чисто личный. Другой вопрос — об издании (вместо теперешних трудов) экономического журнала. Если даже журнал и будет, то... едва ли будет много толку! Тон борьбы очень ожесточенный. Марксисты, несомненно, элемент более живой, но, в общем, не совсем понятно, почему молодые чиновники, вроде Касперова, так яро нападают на них. У марксистов есть теперь союзники, вроде Головина¹⁹ (из «Русского вестника»), а по некоторым штрихам всеподданнейшего отчета министра финансов можно, пожалуй, и Витте причислить к марксистам. Вчера Зимин говорил мне, что в городском банке решено сократить отдел мелкого кредита — это тоже многие марксисты только приветствуют. Вообще, в В. экономическом обществе, где, конечно, ни о каких «пропагандах среди рабочих» не может быть и речи, — марксисты являются в значительной степени «министерской партией» по существу и оппозицией лишь по недоразумению, истекающему, кажется, из того, что это народ живой, бойкий, смелый и приличный настолько, что не может ужиться с разными мерзавцами, пишущими доносы, вроде упраздненного секретаря, и стоит за просвещение. Чиновники же (Касперов, Сазонов и пр.), по долгу службы и (опять недоразумение!) якобы по народническим симпатиям, — не прочь ужиться и с донощиками, не прочь посочувствовать теснению и упразднению Комитета грамотности. Вчера же видел своего однофамильца — С. А. Короленко. Ну мурло! Не старый еще, брюхан, отяжелевший физически, но, впрочем, нервный и шустрый, курчавый, вроде меня, но более лысый, лицо какое-то крепостнически сальное, голос как из бочки. Таков портретец моего однофамильца и отчасти сотоварища по профессии (тоже писал и даже пострадал за правду: месяц тюремного заключения за клевету в «Гражданине»).

Ну, заболтался, а сегодня редакционный день. Скоро идти!

16 февраля 1896, Петербург. Е. С. Короленко.

В нашем литературном мире — эпизод из скандальной хроники. В «Северном вестнике» напечатаны в феврале воспоминания Огаревой-Тучковой, и в них разоблачены любовные истории Шелгуновой²⁰. Шелгунова теперь жива, ее сыновья все это читают, вообще гадость необыкновенная. Один из этих сыновей явился в редакцию и спросил Флексера²¹. Вышла m-lle Гуревич и сказала, что его нет, а она может ответить за него. Тогда Шелгунов плюнул ей в лицо! Конечно, напечатана гадость ужасная, но и этой бедняге Гуревич досталось в чужом пиру похмелье, ее положение ужасно: у нее от Волынского двое детей, а этот негодяй, говорят, уехал за границу с женой Мережковского, декадентской писательницей Гиппиус, которая недавно, в разговоре с интервьюером одной петербургской газеты, заявила, что она — не женщина и стоит выше своего пола. Этот кружок вообще — это положительно сумасшедший дом. Теперь представь себе положение этой бедняги Гуревич, оплеванной в буквальном смысле, с двумя детьми и ра-

зоренным журналом на руках. «Северный вестник», говорят, совсем не идет, а долгов куча. Вот каков гусь оказался этот проповедник философского идеализма в применении к фактам реальной действительности. И представь, что это по наружности — плюгавейший субъект. «О женщины!» — сказал, как известно, Шекспир.

Ну, а пока мою милую женщину Евдокею крепко обнимаю.

2 мая 1896, Петербург.

Ну, Машинка, и чадушко же твой Муратов: я его свел с нашим издателем Вольфом, и он тотчас же, вместо чисто деловых отношений, — занялся обучением его высшей нравственности. Разумеется, уже рассорился. Несомненно, что человек он честный, но чувство справедливости развито у него до размеров сутяжничества, это тоже верно. А что всего хуже: занял у меня денег для совершенно определенных целей, а вместо того ухлопал их на безнадежные объявления и теперь опять сидит без копейки. В большом количестве, вообще, человек невыносимый.

13 сентября 1897, Петербург. Е. С. Короленко.

Доктор Черемшанский живет на 11 версте, в больнице Всех скорбящих, и мне пришлось ехать туда около 1½ часов по петергофскому шоссе, тому самому, по которому доктор Крестьян Иванович Рутеншиц некогда вез беднягу Голядкина (у Достоевского). Черемшанский мне очень понравился — человек серьезный, как будто даже несколько угрюмый, но под этим чувствуется доброта и расположение. Что мне понравилось еще более — это то, что он не удовольствовался первым визитом, а сказал приезжать еще. Денег, которые я попытался положить на стол, не взял, а положил их мне, смеясь, обратно в руку, сделав это как-то так просто, что ни он, ни я не почувствовали неловкости. Попросил прислать мои книги. Одним словом — человек простой и хороший, и когда он приступал к исследованию меня, то я не чувствовал себя отвратительным куском говядины, как в присутствии этого мясника Мочутковского. Результаты исследования те же: сердце действует нормально, пульс хороший, мускулатура здоровая и т. д. <...> Физическая организация здоровая и до сих пор нисколько не уступила болезни²². Он надеется, что можно поправиться без крайних мер, вроде отъезда из Петербурга.

21 декабря 1897, Петербург.

Дорогая мамашенька. <...> Подписка у нас идет отлично. Очень только нас всех взволновало закрытие «Нового слова» — тем более, что это случилось как раз в разгар полемики с нами. Правда, на эту полемику мы не шли довольно долго, и они сами все задирали, но все же очень неприятно, когда оказываешься в таком союзе. Да и само по себе — жалко и неприятно. Я лично в очень хороших отношениях с Туган-Барановским и Струве. Оба они — славные малые, и я за них очень огорчен. Припадок мой повторился после долгого промежутка именно в тот день, когда я узнал об официальном закрытии. Наиболее тяжело отразилось это на бедной А. М. Калмыковой, которой придется расплачиваться с долгами журнала. Говорят, Семенов (издатель официальный) хочет жаловаться в Сенат. У нас, в Союзе писателей, тоже очень волнуются этим делом (кстати сказать — я состою председателем юридической комиссии при этом Союзе. Положение немного странное, так как в комиссии членами состоят: Таганцев, Спасович, Арсеньев и другие признанные юристы. Меня выбрали именно как не юриста). <...> «Слепой музыкант» весь вышел, и я переносу издания в «Русское богатство», о чем уже писал «Русской мысли». Впрочем, они давно знают, что у меня нет более оснований издавать свои книги при

чужом журнале. Подписка у нас в этом году пока значительно лучше прошлогодней, и «Новое слово» марксистское отражалось на нас гораздо меньше, чем «Новое слово» народническое.

25 марта 1898, Петербург.

Мне теперь тоже много лучше в отношении общего состояния здоровья: бессоница прошла, отчасти благодаря небольшому постороннему эпизоду, или даже, можно сказать, приключению: дело в том, что во время одной экскурсии на велосипеде — меня сшиб какой-то дьявол, проехавший по улице. Я упал и несколько зашиб ногу, так что дни три не вставал с постели, — более, впрочем, по требованию докторицы, чем по своему желанию. Сегодня уже встал. Но эти три дня полного спокойствия, без движения и работы, нагнали на меня такой сон, что теперь иногда сплю даже днем. Я мог бы Вам, мамахен, и совсем не упоминать об этом приключении, но уж так — обещал всегда писать правду. Что же касается до моей велосипедной опытности (я выдержал экзамен в обществе велосипедистов и признан «опытным») — то должен сказать, что она нимало не посрамлена, так как рысак наехал и толкнул меня сзади — чего никто предвидеть и избежать не может. Лечила меня массажем докторица, сестра А. А. Ольхина (покойного). Вот пока и все наши новости. Пожалуйста, мамахен, не преувеличивайте моего маленького приключения, которое, право, послужило мне только на пользу.

7 июля 1898, Геленджик.

Дорогие мои растяпники²³. Сейчас вернулся из Криницы, еропкинской колонии²⁴, где прожил 2 дня и переночевал две ночи. Ночлег мне отвели на балконе пустой (на лето) школы. Очень поэтично, можно было, засыпая, глядеть прямо на звезды и слушать шорох леса, но не очень спокойно: сильный горный ветер то и дело трепал надо мною брезентовую занавеску, а в лесу выли шакалы, привлекая к моему приюту всех криничанских собак, вступивших с непрошеными гостями в очень оживленную перебранку. По совокупности этих причин, одну ночь я провел довольно плохо. Сказать правду, к этому присоединилось и очень грустное впечатление от колонии. По видимому — все хорошо, даже порой умирительно, но все-таки чувствуется, что несколько хороших жизней потрачены на ошибку. Разговорился я по душе, ночью, с одним из заправил, высказал ему свои сомнения и, оказывается, попал в самую точку... А люди хорошие, и энергии затрачено масса.

7 января 1899, Петербург.

Дорогой Перчина. <...> Получил я от Мери Вас. Швецовой ихнюю газетную конституцию, которую, как она пишет, и ты одобрил. По-моему же, это — совершенная чушь от первого слова и до последнего, и я никак не могу согласиться участвовать в такой пустяковине. Устраивают какую-то фикцию контроля, который, как это всякому ясно при внимательном взгляде, никак не может быть осуществлен. По большинству голосов (которое по всякому вопросу пришлось бы собирать в Петербурге, Красноярске, Иркутске и т. д.) могут быть установлены «взгляды», обязательные для Швецова, т. е. как раз то, что никогда и никаким большинством установлено быть не может. Что же касается до фактического применения этих взглядов, т. е. того, что единственно и может служить предметом контроля, то в это никто из нас и не должен по «конституции», и не может фактически вмешаться. Швецова пишет, что я хорошо знаю Швецова и знаю, что для фактического вмешательства поводов не будет. Допустим, что так. Но я все-таки не хочу, чтобы в случае, если возникнет (основательно или неосновательно) какой-нибудь повод для контроля, — публика имела

право сказать, что я взял на себя роль какого-то чурбана и декорации. Это просто нехороший прецедент в общественном деле. Наконец, кроме всего этого, ты хорошо знаешь и Швецова, и Марию Васильевну. Что Швецов не изменит «прогрессивным» взглядам, я уверен. Но дело редактора газеты — не в общих формулах, а в их применении к запутанным обстоятельствам, событиям и лицам. С этой стороны я Швецова не знаю, что же касается Марьи Вас., то и ты хорошо знаешь, что она человек узкий, кружковый и способна перемешать в этой области личное и общественное в очень сильной степени. А между тем в самое ведение газеты, в отношении Швецова к статьям и сотрудникам мы не имеем права вмешиваться. Что же это за роль? Потом, наконец: нас делают «представителями» уже имущественных интересов какого-то коллективного целого, называемого общим именем «сибирских писателей», но и в имущественную сторону этого дела фактически мы вступаться не можем. Хорошо «представительство». И ты, деловой человек, одобрил такой «договор»! Эх ты, Перчина, Перчина! Боюсь, что ты опять впутаться и в это дело, как в дело «Степного края», а между тем сомневаюсь я, чтобы это дело пошло как следует. Будет провал, как и в «Степном крае». Мне ясно, что люди принимаются за дело с одним «благодушием» и какими-то туманно-принципиальными комбинациями.

13 января 1899, Петербург.

В январской книжке будет мой очерк («Смиранные»), который я начал в Растяпине. Кроме того, написал еще вещицу, как говорится, веселыми ногами, но эта едва ли скоро увидит свет²⁵. Прочитаю как-нибудь при свидании. Это уже моя прежняя работа, без всяких рефлексивных примесей. Значит — восстанавливаюсь. Эх, мамахен, если б еще Вы были молодцом, во было бы хорошо, и сколько еще хороших дней придется тогда провести вместе.

28 мая 1899, Петербург.

Милостивая государыня Софья Владимировна. Прошу простить, что по рассеянности вскрыл письмо к Вам от некоторого молодого человека. Оказалось, однако, что в письмо он вложил еще и цветок, обладающий столь клейкими свойствами, что развернуть письмо очень затруднительно, как изволите усмотреть и сами (советую подмочить с противоположной стороны листа). <...>

Остаюсь любящий престарелый родитель Ваш Вл. Короленко.

P. S. Должен Вам сказать, что, не отвечая молодому человеку на его любезные письма, Вы поступаете по-свински.

20 ноября 1899, Петербург. Е. С. Короленко.

Книга у нас выйдет числа 23-го. Сегодня ходил в цензуру. Моя заметка (программная, которую начал при тебе) — разрослась в печатный лист, значит, превратилась в статью²⁶. Цензура, по-видимому, пропускает все, с незначительными исключениями. Сегодня меня пристыдил кн. Шаховской (председатель Цензурного комитета). Мою небольшую заметку (страницы 4) в хронике (о суде над полковником Сташевским, убившим редактора) Елагин не пропустил целиком. Я вел с ним переговоры и сделал некоторые уступки, как вдруг, совершенно случайно, Шаховской увидел меня в дверь, пригласил в кабинет и заявил, что он находит заметку цензурной, с исключением одного только места. Елагин не согласился, тогда Шаховской, просмотрев по-марки, которые я сделал сам, сказал, что это даже более, чем он думал, и что он даст подписать другому цензору! Таким образом, в этом месяце пойдут 3 мои статейки. Но... но все-таки за настоящую работу еще не засел.

25 ноября 1899, Петербург. Е. С. Короленко.

Наташка написала тебе ложный донос²⁷. Барышня, которую я от- тановил, действительно, — была нижегородка Карпова с письмом от Сергея Дмитриевича. Я ее узнал и пригласил. Отличаются или не от- личаются приемные дни от остальных — мы увидим: карточка пове- шена только вчера. <...> Одно Наталка написала правду: скучаю.

7 декабря 1899, Петербург.

Дорогая мамахен. <...> Не знаю, сообщил ли Вам кто-нибудь о скандале, который учинили наши добрые знакомые в Самаре. Как-то в прошлом месяце я получил письмо от милейшего Панова, в кото- ром он сообщал, что они (Панов, Ульянов, Зеленский, Матов) решили сойтись с неким Реутовским, издававшим «Самарский вестник». Этот господин сначала издавал газету в ретроградном духе. Потом сошел- ся с марксистами и Гариным²⁸. Газету приостановили на 8 месяцев, и между Гариным и Реутовским возник спор: Реутовский взыскал с Гарина и одной барыни по векселям, данным на ведение газеты. Га- рин звал Реутовского в третейский суд, а Реутовский ответил, что век- сель есть документ бесспорный, по которому и всякий суд взыщет. После этого он пытался вести газету опять в духе ретроградном, но выпустил такую глупость, что после нескольких №№ газета погибла от всеобщего смеха. Даже столичные газеты перепечатавали курьезы из «Вестника». И вот Панов пишет мне письмо и просит, чтобы я под- держал их затею и написал Реутовскому письмо с рекомендацией Панову и т. д. Я, разумеется, ответил, что не только Реутовскому не стану рекомендовать своих знакомых, но и своим знакомым рекомен- дую с ним не связываться. Прибавил к этому, что после строгого «про- теста» против Дробышевского отказываюсь понимать снисходитель- ность к Реутовскому, который вдобавок, по словам Панова, хотел быть у них фактическим редактором. Получив мое письмо, Панов про- читал его своей мудрой компании, которая и решила, что я не прав и «не знаю Реутовского». В «хороших руках» — он будет хорош. Реши- ли только связать его подписками и обязательствами. Оказалось, ко- нечно, что Реутовский их водил за нос все время, имея в предмете — набить цену на газету, которую в то же время продавал Костерину. 26 ноября, когда вся мудрая компания собралась для заключения ус- ловия, — он через лакея по телефону объявил, что он не придет и газе- ту издавать не будет. Озадаченные компаньоны разбрелись и стали придумывать «форму порицания Реутовскому». Но Ульянов, не участ- вуюя в этих разговорах, придумал форму сам: встретил Реутовского в театре и дал ему пощечину! Скандал огромный. Говорят, будто Улья- нова вышлют из Самары. Бедняга Панов огорчен сугубо и написал мне длинное, взволнованное письмо. Очевидно, и теперь он не может вполне разобраться в этом сумбуре и очень негодует, что Реутовскому выражают сочувствие и посылают адреса. Сами три дня назад счи- тали Реутовского хорошим человеком, но когда он осмелился на- дуть их, то вся Самара обязана негодовать против того же Реутовско- го. Жалко беднягу и досадно на все эти глупости.

26 мая 1900, Петербург.

Наша петербургская квартира начинает понемногу принимать вид руины: вещи в Уральск уже отосланы²⁹, сегодня уже внесены ящики, начинаю укладывать книги, тетя тоже все хлопочет. <...> Вчера мы справляли последний четверг³⁰. Обедало человек 10 (в том числе По- таповы со своим мальчиком: всех сбил с ног), чай пили еще больше. Был, конечно, Фед. Дмитриевич. Напоследок он подарил мне... что бы ты думала? Три фуфайки и... велосипедный картуз. Из фуфаек я оставил одну (нельзя было), очень похожую на власяницу (нитяная,

вроде рыбацкой сети с прежесткими узелками), а от велосипедного картуза отпрашиваюсь всемерно. <...> Денег, Дунюшка, идет тьма. Приходили укупорщики с Апраксина. Знаешь, сколько хотят за укупорку (со своими материалами?) — 50 рублей! Тетя чуть не упала в обморок. Успокойся: мы решили обойтись своими средствами, тем более, что ящики и рогожи есть. <...> Тороплюсь, мечусь, читаю рукописи, заготавливаю материалы и чувствую, что придется уехать, не все закончивши. Ну, да уж это в порядке вещей.

29 мая 1900, Петербург. Е. С. Короленко.

Укладываемся! Тетя хлопочет уже несколько дней, я настоящим образом тронулся только сегодня, но зато, как только я тронулся (вместе с Алексеем и Василием), квартира сразу стала окончательно руиной. Шкапы стоят без дверей, книги в тюках (уже их 7, будет еще 2 или 3), всюду набросано, всюду беспорядок и — изо всех углов все-таки смотрит тоска расставания с насиженным местом. Не думал, что будет так скучно покидать Петербург. А может, это и не Петербург, а все-таки кусочек жизни остается назади. Ну, будем ждать лучшего и — вперед!

4 июня 1900, Петербург.

После целой недели возни и укладки вчера, наконец, все вещи отправлены в Полтаву. Оказалось 84 места, 217 пудов, стоимость отправки 321 р., не считая укупорки, перевозки и прочее. Уложено хорошо и почти все. Приедем и прямо разложим все старое. Отлично! Теперь квартира пуста, все комнаты подметены, пишу я на кухонном столе. Только моя комната еще завалена: рукописи, рукописи, рукописи! <...> Эх, Дунька, Дунька! Что же ты не пишешь, где, как и сколько у тебя вытащили? Или боишься сказать цифру? Так ведь мне главное, что ты не повесилась, а уж я-то вытерплю. Тем более, что и у самого здесь деньги так и пылят! Только держись. Живы будем, наживем!

12 ноября 1900, около Мценска.

Еду. Приключений никаких. Впрочем, в Харькове было. Ждать пришлось 2 часа. Я ходил по вокзалу, пил чай, подходил к буфету, потом пошел покупать себе свечку — это в полуверсте от вокзала. И только возвращаясь обратно по снегу, заметил, что я без калош (представляю себе испуганное лицо мамашеньки). Оказалось, что я их забыл в вагоне. Обратился к жандарму. Он повел меня в дежурную, представлявшую что-то вроде жандармского лагеря. Накурено, натоптано, во всех углах в разных позах сидят жандармы, и все углы завалены разными забытыми вещами. Тут оказались и мои калоши. Интересно, однако, как русские люди забывчивы. Даже из одного нашего поезда набралась целая горка: связка клеенки, плетеная корзинка, другая корзинка, узелок и жестянка, по-видимому, с сахаром. Получив свои калоши, я дал двугривенный. Жандарм сделал очень строгую физиономию, на коей изобразил строжайшую неподкупность, и даже спросил: «Что это?» Но, увидев, что это двугривенный, взял его и быстро сунул в карман. Впрочем, на лице его сохранялось то же строгое и неподкупное выражение.

Вот и все. Интересно, что на плацкарте (3 р. 55 к.!!) вовсе не было обозначено место, и мне пришлось искать самому. Сначала вышло место наверху, но, к счастью, мой сосед не выдержал страшной жары, решил, что во 2-м классе неудобно, и перешел в 1-й. Тогда я спустил верхнее сидение, открыл рычажок, на котором написано «воздух» (научил меня какой-то офицер), и устроился отлично и в прохладе. Спал всю ночь так крепко, как не спал давно. На соседней скамейке над

изголовьем висит шляпка с бантом, на полу — пара дамских башмаков, и из-под пледа видны ноги в чулках. Соседка у меня — какая-то дама бальзаковского возраста... Так как она сняла башмаки, то и я счел себя вправе снять сапоги и пиджак... Наутро оказываем друг другу соседские услуги. Оказалось, что, пока мы спали в полутьме вагона, мои сапоги отправились в гости к ее башмакам и обратно. Наутро ее левый башмак оказался с моим правым сапогом под моей скамьей, а другая пара — под ее. Она любезно светила спичкой, а я разыскивал беглецов, и потом мы мирно обменялись пленниками. Дама — «умная», даже, кажется, ученая. Читает «Русские ведомости» и на столике оставила книжку «Былое и думы»...

Вот пока и все. <...> В Москву-то, оказывается, приедем около 6 часов! И в баню не сходишь! Вот тебе и скорый поезд, и плацкарты! Нет, черт бы его побрал, — закаюсь.

Ну, до свидания. Надеюсь, у вас все хорошо, все здоровы и все слушаются Вавочку³¹, которая недаром от меня вооружена жезлом. <...>

Ваш сын, муж, племянник, отец — Вл. Короленко.

Наталья, не реви, София, не кашляй, Евдокея, пей воду и держись козырем, мамахен, держите всех в строгости, и будьте все благополучны и веселы.

14 ноября 1900, Петербург.

Пишу вам, дорогие мои, уже из Петербурга. Приехал сегодня утром, побывал у Ник. Фед., у Ник. Константиновича, а теперь сижу за столом у Фед. Дмитриевича, в отдельной комнате, и пишу вам это письмо. Было со мной небольшое приключение, закончившееся, впрочем, вполне благополучно. В вагоне почтового поезда мне сначала пришлось устроиться на боковом месте, куда я положил и чемоданчик. Потом очистилось другое место, более удобное, а тут лег один из пассажиров. Чемоданчик лежал над ним. Потом и он перешел на другое, более удобное место... Чемоданчик остался в одиночестве, над пустой скамьей, у самой двери. За станцией Тверь я прилегу, зажег себе свечку и стал читать, намереваясь после устроить себе порядочную постель и перенести все вещи в одно место. Но тут наскочил на меня сон (еще немного раньше я устроил изголовье из шубы, которая прежде висела рядом с чемоданом). Я погасил свечу и сладко заснул. Проснулся я уже около Любани, вышел на минуту на платформу, полюбавался на звезды и вернулся. Глядь, на полке, где был чемоданчик, — пусто! Стал искать — нет! Можете легко представить мое приятное настроение: в чемоданчике рукописи редакционные, адрес Михайловскому, мои записные книжки и... черновая последних моих двух рассказов... Заявил в Любани жандармам, пошли телеграммы, в вагоне все пассажиры приняли участие в моем приключении и, разумеется, рассказали сотни подобных же случаев, из которых следовало, что иногда пропажи отыскиваются, но чаще пропадают без следа. Среди очень грустных размышлений прибыл я в Питер, где меня ждал Фед. Дм. Мы сделали еще одно заявление и — печально поехали к Фед. Дм. пить чай. Потом я отправился к Ник. Фед., а с ним еще раз на вокзал, чтобы справиться, нет ли извещения о находке. Оказалось, что нет, есть только извещение из Любани о похищении. Мы уже готовились уйти, когда случайно вошедший жандарм, прислушавшись к разговору, спросил: «Вы приехали с № 16?» — «Нет, с 3-м, почтовым». — «У вас пропал чемодан. Какой именно?» — Я описал. — «Похожий чемодан кем-то забыт в № 16-м (поезд, который шел на полчаса позже). Он сдан в контору. Не ваш ли?» Мы пошли в контору, там стали открывать шкаф за шкапом. В одном — нет, в другом, третьем... Наконец в четвертом — вынимают. Он!.. Отворяю. — почти все

на месте. Исчез только портфель, подарок Фед. Дмитриевича. У меня сначала замерло сердце — книжечка с черновиком была в портфеле. Роюсь, гляжу — положена в чемодан. Паспорт тоже вынут из кожаного портфеля и положен отдельно. Оказывается, этот превосходнейший вор, украв мой чемодан, сошел с поезда, выждал $\frac{1}{2}$ часа, сел в другой поезд, вскрыл чемодан, увидел, что ошибся, взял только две кожаные вещи, а остальное бережно уложил обратно. Внимательность его простерлась до того, что даже несколько писем, лежавших в портфеле, он вынул, сложил в один листок и положил в карман чемоданчика. Это ли не благородство? А ведь можно было думать, что рассердится на свою ошибку и швырнет всю эту дрянь из чемодана куда-нибудь в снег! Тем более что ведь ему, бедняге, пришлось, вероятно, брать другой билет, прямо себе в убыток. Впрочем, по-видимому, заботясь о сохранности моих бумаг, он не забыл и о себе: в том же поезде № 16, где нашелся мой чемодан, у одного пассажира пропала шуба...

Так вот какая вышла было история. Из этого вы видите, в каком печальном настроении я приехал в Петербург. Зато же и обрадовался я при виде своей книжонки и рукописей: все целехонько! После этого я стал еще лучшего мнения о человеческой природе вообще и о природе воров — в частности. Правда, пассажир, у которого пропала шуба, может быть, думает иначе.

Завтра торжества в честь Михайловского³². Из Одессы прислали адрес с 1500 подписей! Во главе — городской голова Зеленый. Адрес был напечатан в двух газетах, но затем началась история: полиция стала его разыскивать и даже на почте, говорят, получилось распоряжение о том, чтобы его «приостановить». Адрес, однако, был уже отослан. Вообще — идет по этому поводу большая глупость: газетам (в столице) воспрещено печатать объявления и сообщения о юбилее. Саратовский адрес захвачен и говорят: «отдадим *после 15-го*!» Тоже подписей множество. Телеграмм, писем, адресов — бесчисленное множество, самых разнообразных, от разнообразнейших кружков, лиц и учреждений. Из самых отдаленных мест — Сибири, Кавказа, из самых глухих углов — группы и одиночки шлют письма, прозу, стихи. Трудно было ждать такой огромной волны общественного внимания. И главным образом — провинция! Что-то будет завтра? Вечер 21-го уже запрещен. Вечер 16-го (где, впрочем, не сказано, что в честь Михайловского, а только с его участием) — под сомнением. Отчетов о юбилее, по-видимому, не будет; говорят, это распоряжение Сипягина из Ливадии. Выход сборника — под сомнением³³.

15, утром (приписка к предыдущему письму).

8 $\frac{1}{2}$ часов. В квартире холостяков на Литейном все еще спят, только Харитон (ты, Дуня, его, наверное, помнишь) — тихими стопами ходит по коридорам и комнатам, тихонько обирает платья и сапоги и приводит их в порядок. Мои сапоги тоже блестят, как зеркало, что и требуется в столь торжественный день. <...> Как проснулся, сейчас посмотрел на свою книжечку, которая пропадала и нашлась, умерла и воскресла. Молодец вор, ей-Богу!

24 ноября 1900, Петербург.

Фед. Дм. третьего дня устроил, по своему обыкновению, вечер. Позвал моих знакомых и своих, было скучновато вообще, а в частности мне — просто тоска. Ни к чему это, и если когда-нибудь еще остановлюсь у него (теперь в следующий раз непременно у Анненских, они и то немного рассердились) — то попрошу убедительно никаких «вечеров» не делать. По своим знакомым обегаю сам, и нет никакой надобности сводить всех воедино. Например, Анненские и Каменские

только на этом вечере и встретились, и, конечно, обстановка была не особенно удобна для прочного знакомства... Вообще — тоска. Федора Дмитриевича люблю и иногда даже терял необходимые посещения других мест из-за удовольствия посидеть и побеседовать с ним. Но — это представительство совсем не по мне. Для этого надо привычку, как и для рубки дров. Он привык с детства, это его обычный режим, и он не может понять, что мне-то много легче рубить дрова. Кроме того — опять купил сундучок, обитый жестью, с букетиками и цветочками, очень красивый. Это для того, чтобы рукописи отдать в багаж. А, по-моему, такой-то сундучок в багаже и украдут... А ведь давал мне слово — все эти подарки прекратить. <...> Итак — прислуга у нас новая. Ну что ж. С Катериной особенно было-таки несколько опасно. А что касается инцидента... Дело простое. Все люди, и всякому хочется хоть иллюзии жизни. Не сердись, Дунюшка, и все-таки помоги Катерине.

Вчера — огромный скандал в Малом театре Суворина: ставили пьесу Литвина (Ефрона) и В. Крылова. Ефрон — выкрешенный еврей, Крылов — переводчик «Натана» (Лессинга), а пьеса, прежде называвшаяся «Сыны Израиля», — грубая антиеврейская стряпня, вызывавшая уже в провинции нападки публики и скандалы. К сожалению, режиссером Малого театра теперь — Карпов, который, вместо того чтобы прямо отказаться режиссировать эту дрянь, пошел на какие-то уступочки: изменил заглавие («Контрабандисты»), приделал глупо антисемитальный конец и т. д. Публика не могла, впрочем, и оценить этих стараний, так как сразу же начались шиканья и скандал. Карпов опять, вместо того чтобы ограничиться ролью подневольного режиссера, вышел к рампе и стал острить: «Извините, что я вас перебиваю» (т. е. перебивает свистки и т. д.). Кончить пьесу все-таки не пришлось: скандал вышел огромный. Теперь, говорят, Суворин готовит пьесу опять к постановке, и все билеты взяла редакция «Нового времени», чтобы составить «свою» публику. Таким образом, пьесу все-таки хотят ввести понемногу. Что бы из этого ни вышло, во всяком случае роль Карпова очень прискорбная и бедная, должно быть, чувствует себя отвратительно. Не очень умную роль сыграла и Яворская: сначала, по-видимому, добивалась себе роли героини, потом отказалась с большой помпой. Сегодня в Петербурге только и говорят, что о вчерашнем скандале.

21 декабря 1900, Полтава. Э. И. Короленко.

Вчера меня, впрочем, вызывали к мировому в качестве свидетеля. Судили почетного гражданина Ал. Орловского за буйство в пьяном виде. Я, конечно, показания несколько смягчил, за мной и остальные свидетели. Приговор: 5 р. штрафа или два дня ареста. У судьи почетный гражданин плакал и все утирал глаза платочком.

28 апреля 1901, Петербург. Всему семейству.

Подарский³⁴ разнес в мартовской книжке Суворина, его юбилей и «Новое время». А так как Подарский подписывается В. Г. Подарский, то Буренин вообразил, что это непременно я (в этом его, вероятно, поддержал кто-нибудь из цензуры, так как, чтобы статья прошла легче, мои товарищи в цензуре намекнули, что это действительно писал я). Вследствие этого Буренин и накинулся на меня, уверяя, что В. Г. Подарский, как и я, «учился в семинарии», одним словом, намекает прозрачно, — что это Влад. Гал. Короленко. Хотел еще что-то писать, но вдруг прекратил и заговорил о другом. Между прочим, удивляется, какие это (разумей, глупые) критики хвалили «Слепого музыканта». Если бы стоило, я мог бы указать, что этот глупый критик был сам Буренин. Но, разумеется, я отвечать не буду.

Сегодня было заседание Академии. Я был потому, что получил письмо К. К. Арсеньева, который хотел поднять вопрос о цензуре (когда-то возбужденный Соловьевым). Но сегодня не успели, потому что Корш стал читать длинный и скучный доклад о неведомом поэте неведомого народа, который был дважды влюблен в неведомых девиц и писал по этому поводу стансы, сонеты и «газели».

2 мая 1901, Петербург. Е. С. Короленко.

С Фед. Дм. было приключение: наскочил на извозчика и смял переднее колесо (велосипеда). К счастью, сам не пострадал и уже — увы! — успел устроить «дамский вечер» (на субботу), несмотря на то что я всячески и Христом Богом просил заранее — не устраивать!.. Бедовый человек, да и только.

5 мая 1901, Петербург. Е. С. Короленко.

В Петербурге много говорят, во 1-х, о стачке и драке рабочих с полицией на стальном заводе (на Выборгской стороне), а во 2-х, об очень ловком побеге из больницы св. Николая некоего Пилсудского. Это поляк, демократ, очень деятельный революционер. Его арестовали, но боялись держать в Варшаве, опасаясь попыток к освобождению. Привезли в Петербург. Здесь он стал проявлять признаки помешательства, почему его и посадили в больницу. Туда поступил (по рекомендации, говорят, Клейгельса) молодой врач, Мазуркевич. И вот на днях большой вышел, одетый в форму врача, в шинели Мазуркевича. Мазуркевич, конечно, вышел свободно и без шинели. Теперь получены известия, что их с большими овациями встречали в Стокгольме.

17 мая 1901, Куоккала. Е. С. Короленко.

Теперь здешние новости, которых мне сразу вывалили кучу в Петербурге: полиция, оскорбленная разными «петициями», в которых жаловались на ее действия 4 марта³⁵, теперь сводит свои счета: начались высылки из Петербурга. Велено выехать Никонову (адвокат, помнишь: он же и конькобежец «на прудках»), обоим Муриновым, старику Ермолаеву, В. А. Поссе и... вот уж не угадаешь — Лесгафту! Я не перечисляю всех, потому что и сам не знаю, но, говорят, высылаемых много и еще предстоят новые высылки. Особенно говорят, разумеется, о высылке Лесгафта, что, конечно, является косвенным закрытием его курсов. Вот тебе и «сердечное отношение»...

Вчера прочли мы с Ник. Федоровичем статью Подарского, которая, кажется, является последней для майской книжки. Сегодня она идет в цензуру... Пишет он хлестко, но редакции требует ужасной.

19 мая 1901, Куоккала. Е. С. Короленко.

Новости другого рода: во 1-х, твой животный друг³⁶ произвел большую браваду. Узнав за границей о подробности обыска у него в квартире (я тебе об этом писал), он написал министру Сипягину очень резкое письмо: «Чего Ваши клеветы у меня искали? Бомбы? Но их гораздо легче Вы могли бы теперь разыскать в охране. Заговор? Но теперь вся просвещенная Россия в одном только заговоре: все говорят, что Вы не на своем месте, а Победоносцев не святой». Все письмо (надо заметить, написанное очень горячо) — в этом же тоне. Кончается оно так: «Примите уверение, что в обычное мое время, в конце мая, я явлюсь в Россию». Теперь все ждут с интересом, как поступит Сипягин с автором этого письма. Я еще, вероятно, узнаю. Говорят, что-то он еще напечатал в зарубежных газетах. Может быть, то же письмо. Впрочем, не знаю.

Идут высылки. «Приказано» выехать из Петербурга: Поссе, Ермолаеву, С. А. Венгерову. Особенно поразила всех предполагавшаяся вы-

сылка... Лесгафта! Сегодня, однако, я слышал, что эта нелепость отменена. Затем, увы! — сильно поговаривают также о... Н. Ф. Анненском. Это, однако, едва ли, так как слух, кажется, идет от Фальборка, человека малоосновательного. Во всяком случае, место жительства предлагают на выбор (только высылают из столицы), и тогда пока что он хочет остаться в Куоккале, если бы эта нелепость случилась³⁷.

24 мая 1901, Петербург.

Глупое письмо супруге моей Евдокее (она ж Душа). <...> Не получаю писем дня три и уже что-то скучаю. Говорю всегда: испорченный человек! Особенно теперь, когда уже осталось лишь несколько дней доживать и дорабатывать в Петербурге, начинаю поддаваться нетерпению, нервности и совершенно излишней для делового настроения любви к моей Дуньке. На сне и здоровье это пока не отражается, но все-таки... чувство на сей раз, при необходимости усиленно работать, — излишнее, которое гоню всячески. Но... прогнать не могу и всюду — на улицах, в фигурах незнакомых дам, проходящих или проезжающих мимо, в Куоккале, в зеленых аллеях, — все вижу свою Дуньку, и мне даже как-то не верится, что еще так недавно, в Москве, на Патриарших прудах, мы были так близко вместе!.. Сегодня, как только приехал в Петербург (редакционный день!), — сейчас бросился в редакцию. Нет письма? Нет! А уж я ждал! Все-таки хоть что-нибудь от тебя и от детишек. Посмотришь знакомый почерк, прочтешь знакомые слова, встретишь знакомые ошибки и, признаюсь в своем малодушии, иной раз целуешь и эти слова, и эти милые мои, дунькины опечатки. Легче от этого и не легче, а все-таки приятно.

Ну, вот и написал целый листок глупостей. Что делать? — глуп, как мальчишка, и влюблен в мою Дуньку, как студент. И хоть страдаю в разлуке, а хорошо. Вспоминаю тебя, слова, разговоры в разные времена, близкие и дальние, потом пойдут глупости, потом опять самые хорошие и даже умные вещи — и... одним словом, пылаю и полон тобою, моя голубка, Дунюшка, Душка, милая моя жонка. Весна? Конечно, весна — солнце, свет, зелень, запах распустившихся кустов и деревьев и моя к тебе любовь, которая, право, все растет с годами, и уж не знаю, во что вырастет... Ну, словом, из всех этих глупостей, которые я пишу в редакции, пока в соседней комнате говорят о политике, — ты поймешь мое настроение: глуп и... ей-Богу, влюблен... Теперь мечтаю, что ты разберешь эти каракули и у тебя тоже хоть немножко заколет в сердце... Пострадай хоть немного, как я здесь из-за тебя сохну (впрочем, не опасайся, за неделю-то все-таки не высохну).

27 мая 1901, Куоккала.

Огорченный супруг твой спешит поделиться новой журнальной невзгодой. Последствия едва ли могут быть особенно серьезны, но передряга все-таки довольно неприятная. У нас раза три печатались стихи некоей Галиной (помнишь, раз приходила, гражданская супруга Дрягина). Эта неумная дама подписалась под заявлением 44 писателей³⁸, причем в *открытом* протесте подписалась, как оказывается, псевдонимом. Теперь департамент полиции занялся своего рода библиографией — стремится раскрыть псевдоним этой интересной протестантки. А так как у нас она печаталась (хотя уже раньше ее имя попадалось много раз в печати), то на основании ст. 135 цензурного устава к нам обратился Главный управление по делам печати с категорическим требованием сообщить: звание, имя, отчество, фамилию и даже адрес автора, печатавшего свои стихи под именем Глафиры Галиной. Само собою разумеется, что если бы она была тут, то самое лучшее, что она могла бы сделать, это — пойти самой и заявить, что Галина она и что ее зовут так-то. Никаких оснований скрываться у нее нет и никакой

надежды остаться неизвестной — тоже. Но ее, оказывается, в Петербурге нет, а мы, конечно, не можем сделать то, что могла бы сделать она. Формально требование Главного управления правильно, хотя по существу — черт знает что: стихи Галиной самые невинные, и департамент полиции, конечно, ищет ее не по поводу того, что она печатала у нас. И вообще мы — в самом дурацком положении. Завтра я иду к Шаховскому разговаривать по этому предмету. Мы тоже ответим формально: в переписку с авторами стихов редакция не вступает, г. Галина являлась со стихами лично. Адреса ее нет, другой фамилии ее не знаем. И это даже верно: убей меня сейчас — я ее фамилии не помню. Но... одним словом, неприятность, и все это тем глупее, что дней через 5-6 сама Галина объявит себя, наверно, хотя бы затем, чтобы снять с себя какие-то, наверно, пустяковые обвинения.

Но это еще не все: у нас, в типографии, всегда лежат в запасе набранные и пропущенные цензурой стихи. Уже около полугода лежало и стихотворение Галиной «Мотылек». Его теперь как раз и тиснули. Не желая, разумеется, как раз теперь совать ее в глаза, мы с Ник. Фед. распорядились перепечатать четверть листа с этими стихами, чтобы их вынуть. Но тут типография проявила замечательную сообразительность: вместо того, чтобы перепечатать лист 12-й, вынув стихотворение «Мотылек» (и стихотворение-то невиннейшее, самое мотыльковое!), типография перепечатала конец 10-го листа... Так-таки прямо взяли 4 страницы, набрали вновь *без всяких изменений* и нажарили вторично. Потом брошюровщика заставили с прежних листов эти страницы вырезать, а новые вставлять, просто здорово живешь, без всяких перемен в тексте. А «Мотылек» прикорнул себе на 12 листе и... и вылетел в свет вчера, 26-го, вместе с книжкой! Глупее всего, что на обложке мы его не поставили, таким образом, выходит, что «Мотылек» у нас прошел какой-то контрабандой, как бы спрятанный от цензуры... Удивительная история, не правда ли? Если сказать кому-нибудь: смотрите — вот стихи, из-за которых «Русское богатство» перепечатало в 10 тыс. экземпляров $\frac{1}{4}$ листа и которые не упомянуты даже в заголовке, то-то публика кинется. И увидит просто, что мотылек летает около свечки. Больше ничего.

21 апреля 1902, Полтава. И. Г. Короленко.

У нас тут были сильные бунты крестьян. Насилий над людьми не было (только в одном месте, говорят, убили приказчика), но был захват хлеба, картофеля и сена. Основная причина — страшное малоземелье и голод. Были, впрочем, раскиданы прокламации на малороссийском языке, призывавшие народ к борьбе силой. Не думаю, чтобы они имели существенное значение в происшедшем. Были (в одном месте) выстрелы солдат, убитые и раненые. Затем — пошла жестокая и совершенно незаконная порка уже усмиренных. Так что собственно усмирению, как всегда, гораздо свирепее и безобразнее самого бунта. А главное — оно вызвало страшное ожесточение в народе.

12 мая 1902, Куоккала. Е. С. Короленко.

... Именины Ник. Фед. прошли очень весело и при чудеснейшей погоде, но на следующий день стало туманно и прохладно. В именины я даже, по старой памяти, немного клюкнул, играли в мяч, бегали... Этот приезд вообще как-то я себя чувствуя много крепче. Ни разу даже признаков настоящей бессонницы не было. Дело ограничилось только несколько более ранним просыпанием. А ведь причины все-таки были. Заседание академии меня почти не взволновало⁹⁹. Только 10 минут, когда я говорил и старался изложить свой взгляд в ответ на общие уговаривания, — я почувствовал волнение. Остальное время (а продолжалось часа 2 $\frac{1}{2}$) — разговаривал совершенно спокойно.

В заключение я сказал, что выслушал с полным уважением мнение своих товарищей, но считаю себя не связанным, тем более что и заседание частное (маленькая хитрость А. Н. Веселовского). Ждать же решения до осени не могу. На том и разошлись. Теперь остается спокойно обдумать и составить последнее заявление, которое пошлю уже из Полтавы.

18 октября 1902, Полтава. Е. С. Короленко.

Носятся еще разные слухи о «направлениях», борющихся в высших сферах. Говорят о неудовольствии против Витте и об его близкой отставке (даже!). Близка также, говорят, отставка Зенгера (министра народного просвещения). Интересно также, что министр внутренних дел вступал в переговоры с Д. Н. Шиповым по поводу съезда земских деятелей в Москве, обещая узаконить совещания земцев разных губерний... Любопытно, что об этих неразрешенных съездах уже пишут в газетах, приводя некоторые их постановления! Все это порождает очень разнообразные толки, но... ничего все-таки определенного в этих волнах не видно и не может быть видно. Что положение Витте колеблется — это несомненно. Но он (что так же несомненно) очень умен и, вероятно, вывернется.

Это все высшая политика. А вот тебе новость полтавская. Ионик женился! Попросил себе отпуск на 10 дней, никому не сказавши, в чем дело, поехал в деревенскую церковь и вернулся оттуда женатым. Совсем как мистер Уэмик у Диккенса: «Кажется, это церковь? Зайдем в нее. А, да здесь девица такая-то? Женимся на ней!» Вчера уже вступил в должность. Я его еще женатым не видел.

8 марта 1903, Петербург. Е. С. Короленко.

Сегодня — «обед литераторов»⁴⁰. Здесь большая потребность в литературной среде в некотором общении. Она вызвала периодические обеды, за очень дешевую плату, на которых бывает человек по 100. Умеренно вкушают пищу и говорят. Один из таких обедов, на котором говорили Ник. Фед., Семевский, Гессен (из «Права») и некоторые другие, — попал даже в «Таймс». Корреспондент подробно и, говорят, довольно правильно изложил содержание речей, озаглавив статью — «Реформаторская партия в России».

Кстати, о «Таймсе» и иностранной печати. Оказывается, что отзывы иностранных газет о Манифесте 26 февраля⁴¹ совершенно фальсифицированы «Новым временем» и «Российским агентством». Я сам видел газету «Standard» (английскую), в которой огромных две полосы замазаны типографской краской, а в статье, пропущенной цензурой, было такое выражение: «беспомощный преемник порядка, при котором ни один народ не может пользоваться благоденствием». Это допущено. Легко можно представить, что было в статьях непропущенных.

21 июня 1903, Полтава.

Дунюшка, дорогая моя. (<...>) Вчера был у Сосновского. Он принялся писать статью «о В. Г. Короленко» (для «Всходов», что ли). Боялся я немного этой статьи, а теперь, признаться, боюсь много. Начал он мне вчера читал. Ты знаешь преобладающий тон нашего Михаила Ивановича: «милый Володя» растет, окруженный любовью матери, тети Лизы, тети Анели... Столько любви и столько теток, что уже вперед можно сказать: ничего путного из мальчишки не выйдет. Хотел я сказать Михаилу Ивановичу, что все это фальшиво и неверно и что нельзя так писать биографии. Вместо внешних фактов — это попытка изобразить историю души. И сразу же неверно, сантиментально, слащаво. «Первое глубокое детское горе постигло Володю, когда

тетя Аня вышла замуж». Трагедия! А между тем мы же рассказывали Мих. Ив-чу, что я выменял эту невесту на палку! Вообще — собираюсь переговорить с Мих. Ив. сегодня или завтра, что это все так нельзя.

«Юбилей» мой грозит обратиться в какую-то затяжную болезнь. Продолжают приходить поздравления. Я тебе писал, что «Вольнь» доказала справками в метрических книгах, что я родился будто бы 15 июня. Между тем мои бумаги еще в банке, и я не мог проверить этого по своему метрическому свидетельству. Во всяком случае, в июле предстоит «повторение», и если я не удеру до этого времени к вам, то меня могут застигнуть чествованием и в Полтаве. Вчера в «Русских ведомостях» напечатано, что меня избрали почетным членом в Невском о-ве народных чтений. Прислали на днях диплом от Киевского литературно-художественного кружка. Приходят и теперь письма и даже телеграммы. Придется благодарить в газетах. А в июле придется благодарить второй раз. Выходит что-то вроде Сквозника-Дмухановского, гоголевского городничего, который был именинником и на Антона, и на Онуфрия!

23 июня 1903, Полтава.

Мошеницы вы, дрянное короленковское семейство. Собрались там все вместе с Петром⁴² и сидите. Обещали написать еще одно письмо, да «так и дóсць пынуть». А я тут сижу как сыч в пустой квартире с престарелой теткой и каждый день напрасно жду письма, встречая почталиона с надеждой и провожая с разочарованием. Правда, я не думал, что засижусь так долго и не поеду в Чернигов. <...> В Чернигов я не поехал по двум причинам: первое — не справлюсь с делами, а 2-е — прочел в газетах, что там уже меня ждут и намереваются «чествовать». Ввиду этого отложил до осени. Зато другую экскурсию ни за что не отложу⁴³. <...> Решил совершить путешествие (недели 1½), ни на что не взирая, кончу или не кончу все — все равно в известный день укладываюсь и еду. Давно не бывал в тех местах и не дышал воздухом большой дороги. <...> С Мих. Ивановичем говорил и убедил его писать «посуше», держась более области фактов, а поменьше — чувствительности. Теперь он начинает сначала уже в другом тоне.

Не думал я, признаться, что столько будет шуму с моим юбилеем. Правда, шум более газетный, но все-таки... Посылаю при сем — один из фельетонов «Вольни». Я уже писал, что получил от думы телеграмму с приветствием и в 4 школах основаны стипендии «имени писателя Короленко». По-моему, это для думы очень много. Но, как видно из фельетона, местная газета недовольна. Они надеялись сделать из этого дня какой-то всенародно-житомирский праздник. И, разумеется, разочаровались.

А вы, мошеницы, оставляете юбиляра даже без писем! Пишите, хоть кратко, тете, я буду узнавать от нее. Сам буду писать все равно, исполняя завет Св. Писания: «будьте как солнце, которое светит на добрых и злых».

25—26 июня 1903, Полтава.

Раз уже ты, Соня, прочла у Андреева «Ложь», один из худших рассказов, то прочти уже лучше «Жили-были», «Большой шлем» и «Молчание». Мне не хочется, чтобы у тебя осталось только одно это впечатление от Андреева. Спасибо, что не читала «Бездны». И не читай, ничего не потеряешь. Не читай также «Стену».

Так как ты пишешь, что книг у вас мало, то посылаю тебе Брандеса, те книги, о которых я тебе говорил. Прочти, думаю, что тебе будет интересно, а уж полезно во всяком случае.

Спасибо, Наталочка, за письмо, но... второй раз извинить никак не могу! Ник-ким образом! Это свыше всякой моей возможности, так как я знаю вину, а вены — дело совсем другое.

Сегодня снимаю с себя у Хмельницкого ландшафтик (как говорил один купец), который уже привезу с собой.

4 ноября 1903, Полтава. И. Г. Короленко.

Я послезавтра еду в Петербург, где предстоит мне, между прочим, воспринять еще одно «чествование». Разумеется, поездка вызвана не этим: у нас в ноябре должно произойти окончательное собрание пайщиков (проект договора уже разослан всем). Это во 1-х, а во 2-х, есть еще неприятное дело. В «Мире Божьем» между Ангелом и новой издательницей (М. К. Давыдовой-Куприной) вышли изрядные сусиции. По существу, кажется, прав Анжело, но в какие формы он эту свою правоту облек, — это ты можешь себе представить. И вот — третейский суд, и я в качестве судьи!

21 ноября 1903, Петербург. И. Г. Короленко.

Пишу, как видишь, из Петербурга, где нахожусь вместе с Дуней. 14-го воспринял главную порцию юбилея, которую вынес мужественно. Из газет ты уже знаешь, что утренний прием депутатов в зале Тенишевой был отменен «по непредвиденным обстоятельствам». Эти обстоятельства состояли в требовании полиции, чтобы допускать в зал одни депутации, но — ни студентов, ни рабочих. Ввиду этого, избегая возможных столкновений, а пожалуй, и свалки, — распорядители утреннюю часть программы отменили. Вечером, у Контана на ужин, записались свыше 400 человек, да еще самовольно явились человек 150... Тут же и читали утренние адреса и говорились речи... В общем — вышло нечто очень внушительное, было немало и интересного, но... слава Богу, что это уже назади. Между прочим, адрес московских студентов подписан свыше 1200-ми человек!

Остался я после сего жив и даже не впал в бессонницу, чему даже немного и удивляюсь.

31 января 1904, Петербург. Е. С. Короленко. О похоронах Н. К. Михайловского.

В квартиру дома № 5 едва протискался, и ты поймешь, с каким чувством вошел я в комнату, где мы столько раз обсуждали с ним «состав книжек» и разные другие вещи. Служил молодой священник панихиду, среди шкапов с книгами. Вместо икон со стен глядели: портрет Успенского — с одной стороны, и бюст Шелгунова — с другой... Потом вынесли гроб в Спасскую церковь, напротив, где шла очень долгая литургия и панихида. Народу была масса, в церкви была просто давка, а кругом еще стояла толпа в церковном садике и на улице. Подошел было целый отряд полицейских, что вызвало среди молодежи крики: «долой!», «вон!» и т. д. Но Ник. Фед. уговорил пристава отослать этот отряд, и все обошлось благополучно. С другой стороны, молодежь попыталась изменить маршрут и с Надеждинской повернуть по Невскому вправо (просто так, зря, чтобы идти потом по Владимирской, вместо установленного маршрута), но мы с Ник. Федоровичем уговорили этого не делать. То же случилось и с попыткой затянуть какую-то совсем не установленную для похорон песню... Она тотчас смолкла, и в остальном все обошлось ровно. Толпа была такая, что, говорят, не бывало с похорон Тургенева, которые подготавливались задолго (его тогда привезли из-за границы). Венки везли на трех колесницах, гроб до самого кладбища несли на руках, и все время (очень хорошо) пел импровизированный студенческий хор. Похоронили

у «литераторских мостков», недалеко от Глеба Ив. Успенского. Остальные подробности прочтешь в газетах. <...>

Пока мне, разумеется, придется остаться на более или менее неопределенное время: первое, что приходится сделать, это — мне написать статью о Ник. Константиновиче для февральской книжки. Это — обязательно, и я уже сегодня встал с этой мыслью в 7 ч. утра. Соберу сегодня все газеты и все, что нужно, а завтра, вероятно, сяду уже писать. В январской книжке еще есть статья Михайловского, и даже на письменном столе оказалось 7 страниц новой статьи для февраля... Вот это — смерти! За работой до последней минуты! Смерть застала его внезапно: он вернулся из Литературного фонда, где был очень оживлен и принимал деятельное участие в обсуждении всех вопросов. Придя домой, снял верхнее платье, потом начал раздеваться, сел на постель, чтобы снять сапоги, — и мгновенно умер. <...>

Возвратился я с кладбища часам к 6-ти (до Николаевского вокзала шел пешком — толпа разбирала всех извозчиков). Около вокзала навстречу попала толпа, распевавшая «Боже, царя храни» и кричавшая «ура!». Это, говорят, продолжается уже два дня. В толпе много студентов, членов «патриотического о-ва Денница». Между тем вести с театра войны мрачные. Частная телеграмма «о победе» не подтвердилась, целые сутки от Алексеева не было известий, носятся толки о новом крупном поражении. Вероятно, тоже преувеличение, но, в общем, кажется, плоховато.

3 февраля 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Сегодня в первый раз соберемся в «редакционный день». <...> Внешних затруднений пока никаких не испытываем. Большая часть подписки прошла, и притом очень хорошо: теперь уже на тысячу больше прошлогоднего. Если и убавится несколько вследствие смерти Ник. Конст., то во всяком случае сильно отразиться в этом году не может. Но, конечно, от этого не меньше мы чувствуем пустоту, образовавшуюся с этой смертью... Вчера было общее собрание Фонда, гораздо многочисленнее обычных: спрашивают, чем можно почтить его память. Тон какой-то грустный.

Несколько дней здесь ходили толпы народа: частью студенты, частью люди неопределенных профессий, кричали «ура!» и пели гимны. Теперь их попросили «прекратить» и, кажется, уже разгоняют: из-под «патриотизма» стало проглядывать что-то вроде хулиганства. А с театра войны идут все мрачные вести, и уже ни для кого не тайна, что мы терпим сильные неудачи. Впрочем, и официальные известия не стараются особенно скрыть истину: телеграфное агентство смягчает только запоздалые официальные сообщения о наших потерях «частными известиями» об удачах и победах, которые потом опровергаются... А все-таки, рядом с печальной истиной, эти иллюзии немного подсахаривают горькую действительность.

5 февраля 1904, Петербург.

Пишу тебе в то самое время, когда в квартире Ник. Фед. происходит обыск. Ему уже объявлено о «задержании», мне — о явке в охранное отделение сегодня, к 3 часам дня. Что будет относительно Ник. Фед. дальше — еще неизвестно. Пожалуй, не выслали бы из Петербурга. Я, значит, остаюсь в «Русском богатстве» чуть не один. <...> Как видишь, Дунюшка, обстоятельства трудные. Ну, да бывали мы уже в трудных обстоятельствах! Нужна только бодрость. Во всяком случае, работа по журналу на некоторое время должна меня поглотить и задержать еще здесь.

7 февраля 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Относительно Ник. Фед. все пока по-старому. «Содержится» все в том же доме, где умер Пушкин. Здоров, бодр. Вчера ему послали книги, получилось от него 2 письма. «Недоразумение» еще не разъяснено: гг. агенты, конечно, настаивают на своих показаниях, и хотя писатели единогласно говорят, что Ник. Фед. действительно не говорил ни слова, но... очевидно, агентам пока верят больше. Любопытно, что сыск, очевидно, до такой степени плох, что перевирает то, что происходило среди бела дня, на глазах у 3—5-тысячной толпы. В действительности Ник. Фед. предупредил возможность всяких столкновений во время похорон, убеждая молодежь не делать из этого печального события повод для демонстрации...

8 февраля 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Относительно Ник. Федоровича дело все еще в том же положении. Вчера допрашивали в качестве свидетелей Вас. Ив. Семевского и Ф. Дм. Батюшкова: Семевский сказал, что он говорил речь на могиле Ник. Конст. и что Анненский не говорил ни слова. Полицейский (околоточный) тоже показал, что «говорил вот этот барин», а не тот, которого ему показывали ранее (т. е. не Ник. Фед.). Вообще, по-видимому, с речью дело выяснено: Семевского с его сединой приняли за Анненского, а чье-то восклицание из толпы приурочили к речи. И однако — Ник. Фед. все держат при охране. Допустили свидание Тани⁴⁴ и Ф. Дм. (последнего по делам Фонда). Сегодня я попрошу свидания по делам редакции. Теперь, по-видимому, выдвигается вперед несколько №№ «Освобождения», найденных при обыске... Прежде им не придавали значения... Так мы с теточкой⁴⁵ и коротаем дни вдвоем, все ожидая, что появится и «дядя»... Но теперь ему передали книги, он затребовал белье и платье. Значит, во всяком случае, еще масленицу продержат... Как бы то ни было — еще дня два-три — и дело должно определиться: или отпустят, так как относительно «возмутительной речи» теперь сомнений быть не может. Или... не захотят признать ошибку и придерутся к пустякам⁴⁶. В связи с этим выяснятся несколько и мои ближайшие планы. А пока сижу, читаю корректуры и рукописи, стараясь наготовить материала на ближайшие книжки. За всей этой суетой и нервностью — голова глупа. <...>

Патриотические демонстрации на улицах прекратились совершенно по приказанию свыше. Дня три назад редакторам газет сделано маленькое внушение в Главном управлении по делам печати — за недостаточность патриотического одушевления.

16 февраля 1904, Петербург. С. В. Короленко.

По-видимому, из моих писем вы получили не совсем верное представление о положении дела. Если я писал, что положение трудное, то имел в виду не денежную сторону. Конечно, в конце концов может случиться и это, но пока этого еще нет и не видно, и я об этом думал всего меньше. Мне было очень тяжело и от смерти Ник. Константиновича, и от ареста Ник. Федоровича. Все это приводило меня в нервное состояние <...>. Трудно положение еще и оттого, что журнал теперь на мне, на мне и очень тяжелая ответственность за сохранение этого важного общественного дела, я должен придумать, как вести его дальше, как урегулировать отношения сотрудников и пайщиков журнала. Все это требует моего присутствия здесь неопределенное время, причем я опять откладываю свои собственные работы и планы. Вот это все и создает те трудности, о которых я писал. Остального я не так уж боюсь. Дела журнала пока очень хороши.

17 февраля 1904, Петербург. С. В. Короленко по поводу ее гимназического сочинения.

... Крепостное право помнят не только «очень старые бабушки или дедушки», но и твой родитель, который просто стар, но не очень. Описывая крепостное право, ты смешала самое *право* и злоупотребление им. Никогда, собственно, люди не приравнивались к животным, убивать их не дозволялось, много раз запрещалось продавать жен отдельно от мужей и детей — от родителей. Это, правда, бывало, но лишь как злоупотребление, как и убийство крепостных. Нельзя также сказать, что крепостные крестьяне действительно напоминали животных своей покорностью и т. д. Наоборот, иностранцы, посещавшие в то время Россию, отмечали с удивлением то, что эти «рабы» держат себя с таким достоинством. В Великороссии до сих пор осталось, — что старый мужик (бывший крепостной, значит) протягивает руку даже иному важному чиновнику. Не было такого времени, когда умели писать *одни* монахи!

18 марта 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Вчера у меня, наконец, произошел разговор с Южаковым⁴⁷. Несколькими днями назад, когда я у него обедал и его гости (пьяный Мамин, Скабичевский и др.) разошлись, он довольно решительно поставил свою кандидатуру на роль заместителя Михайловского. Тогда разговаривать было неудобно, но с этим был связан вопрос о сроке собрания: Южаков сказал, что ему необходимо знать, «нужен ли он», — поскорее, так как у него идут переговоры с издателями «Словаря», исход которых зависит от положения его в «Русском богатстве». И вот вчера мне нужно было убедить его, что нам он в этой роли не подходит. Главное, конечно, в том, что он совсем удалился от журнала и не знаком с молодыми сотрудниками, которые составляют теперь его ядро. Между тем поддерживать единство состава очень важно и не так уж легко, как он, быть может, думает. Сначала он покраснел и немного вспыхнул. Потом начал говорить об Ал. Ивановиче и что он понимает, что я, конечно, на его стороне, но... Я остановил его и сказал откровенно, что и я против его кандидатуры по таким-то причинам. Сергей Николаевич еще раз немного вспыхнул, но — оказался все тем же милым Сергеем Николаевичем. Выслушал внимательно и сказал: «Да, я согласен, что при теперешнем положении журнала, — вы правы...» И затем пошел разговор исключительно о предстоящем собрании. На все наши предложения (ввести Горнфельда⁴⁸ и Пешехонова в качестве «помощников редактора», а замещение другого ответственного редактора отложить на будущее, по крайней мере на год) — он согласился. Только настоял, чтобы вводимые члены редакции назывались «помощниками»... Дело, разумеется, не в названии. Он меня и тронул, и привел просто в умиление. Но... когда мы прощались, милейший Сергей Ник. тотчас же и доказал, как было бы плохо, если бы он стал в центре журнала: на место Михайловского в критики журнала предложил старика Скабичевского! Этого было бы достаточно, чтобы поднять всю нашу молодежь на дыбы! Да и по существу это Бог знает что! На мое замечание, что ведь Скабичевский никогда не появлялся при Ник. Константиновиче, он ответил довольно простодушно, что Ник. Константинович всегда под разными предлогами возвращал ему статьи. Итак — на место Мих-го ставить человека, которого Мих-ий никогда не печатал! Ну, да все-таки у меня точно гора с плеч свалилась, когда я покончил этот разговор, и я Южакова после него полюбил еще больше.

2—3 мая 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Наша «ревизия» действует второй день. Начинают с утра: в 4 часа я, Пешехонов, Карышев и Южаков идем обедать к Палкину, часов с 7 опять сидят до 10-ти. Я по большей части бываю тут же, чтобы тоже получить понятие о ходе дела. <...> Пока контора собственно, т. е. Лидия Валер., выдерживает это счетное испытание с честью; если кое-где итоги не сходятся, то в пустяках, в ту и другую сторону. В общем же впечатление такое, что счетоводство велось порядочно и правильно. А ведь тут работают два статистика (Карышев и Пешехонов). Что еще скажут дела книжного склада. Вероятно, тоже все будет хорошо. А затем — это уже вопрос, касающийся Ал. Ив-ча, — сколько окажется в «недохватке». Сначала после моего приезда Лидия Вал. и Ал. Ив. говорили, что окажется не больше 3½—4 тыс. Теперь Ал. Ив. опять мрачен как туча, а у Лидии Вал. заплаканы глаза. Мне ее очень жаль (в чужом пиру похмелье!), но я и сердит: обещала все сделать еще к марту, получила месяц отсрочки, и опять не готово... А от помощников отказалась... Теперь, конечно, устала и нервничает. Прежде, как я тебе и говорил, у меня был некоторый соблазн: если бы выяснилась некоторая нехватка вследствие неаккуратности за 10 лет, — внести недостающую сумму (тыс. 3, что ли) и избавить Ал. Ив. от сраму, а журнал от разговоров, которые все преувеличат и могут быть вредны. Но теперь я так же мало знаю цифру недохватки, как и до своего приезда в Полтаву, и не имею ни возможности, ни желания закрывать пробоину, величина которой мне совершенно неизвестна. <...> О наших редакционных делах — никому!

4 мая 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Дела наши выворачиваются за 10 лет, и это работа трудная и очень неприятная. <...> Сегодня предстоит самое трудное: учет гонорара и сочинений Михайловского. Он никогда никаких счетов не требовал, никаких расписок в получении денег не давал: просто отдался в опеку Ал. Ив-ча и жил, о своих делах не заботясь. Судя по всему, записи его в книжках конторы велись правильно, т. е. ничего лишнего не писалось. Но разобраться теперь во всем этом необыкновенно трудно, а между тем и совершенно необходимо. <...> Над всей конторой тоже нависло что-то вроде тучи: никто не привык, что всевластного Александрера будут таким образом проверять, учитывая все книги, требуя на все расписки и квитанции. Я более присутствую и стараюсь об одном: чтобы ревизия не зарывалась в мелочах, а направляла бы внимание на самое существенное и важное. <...> А пока — от самовластия Александрера не осталось и следа. Мрачен, но смирен. Деньги теперь переведены на меня, для платежей вынужден обращаться ко мне, и вопрос обсуждается «в комиссии». Дальше так уже и пойдет: я буду давать чеки комиссии (из наличных членов редакции), а Алекс. Ив. будет получать авансы под отчет. Можно и Перцу сказать, что «мой Александрер» теперь, наконец, обуздан... Посмотрим только — какой ценой.

11 мая 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

Теперь маленький доклад по делам «Русского богатства». Не стану писать о подробностях, — скажу только, что переворот закончен и от самовластия Алекс. Ивановича не осталось и следа: распоряжение деньгами от него совершенно отошло. В Петербурге образован «наблюдательный комитет» (Южаков — председатель, члены — Пешехонов и Мельшин), который заведует делами. Я оставляю этому комитету подписанные чеки, и уже он отпускает деньги, нужные для платежей. Распоряжение деньгами снято с Алекс. Ивановича (кассир будет особый), а счетоводство с Лидии Валериановны (бухгалтер тоже

особый). Вся распорядительная часть (сношения с типографией, заказы бумаги) — ведется Алекс. Ивановичем под контролем «комитета», а Лидия Валер. заведует конторой, подписными книгами, высылкой книг и т. д. В этом они оба будут полезны.

Самое главное для меня: две трети беллетристики и выбор переводов — с меня сняты! Сегодня первое заседание «наблюдателей» и, значит, — начало нашей новой жизни.

Алекс. Ив., конечно, мрачен как туча, Лидия Валериановна тоже, и оба, кажется, ненавидят меня теперь от души, не понимая, сколько мне стоил этот исход, для них еще слишком мягкий. Правда, что мне пришлось сказать в собрании самые горькие истины по их адресу... Во всяком случае, дело сделано, и теперь, я думаю, даже Ал. Ив. понимает, что возврат к старому уже невозможен.

Самое, может быть, благоприятное во всем этом — это сближение между остальными членами редакции. Южаков уже вошел опять в среду товарищей, а еженедельные собрания комитета (под его председательством) не дадут этой связи разорваться. Петр Филиппович <Якубович> уже приступил к нему с вопросами и спорами, вообще — началось настоящее товарищеское общение.

24 октября 1904, Петербург. Е. С. Короленко.

В Москве — студенческие демонстрации. На Ярославском вокзале проводжали прапорщиков, уезжавших на театр военных действий, — студенты-товарищи и студентки. Ну, были речи, вплоть до «народной поговорки»⁴⁹. После этого на расходившуюся уже молодежь кинулись носильщики, конечно, организованные полицией, и сильно избили, главным образом — девушек. Теперь волнение в университете и на курсах. Ходили по улицам... Кажется, еще не кончилось.

Здесь — «суета». Ходят по рукам проекты «конституции», собрания, собрания, собрания... А пока что — цензура для подцензурных изданий стала еще прижимистой...

Примечания:

1. Короленко хлопотал в департаменте полиции об отмене запрета для жены (участницы народнического движения) проживать в Петербурге и Москве.

2. А. И. Богданович (Ангел, Анжело), сотрудник «Русского богатства», в это время член партии «Народное право»; с 1895 г. член редакции журнала «Мир Божий»; примкнувшего к легальному марксизму.

3. А. С. Малышева (урожд. Ивановская), старшая сестра Е. С. Короленко.

4. М. Н. Лошкарева, племянница Короленко.

5. А. М. Никитина, племянница Короленко, дочь его сестры Эвелины Галактионовны.

6. Имеется в виду бракосочетание Николая II.

7. С. Н. Кривенко, публицист, до ноябрьского раскола 1894 г. соредактор Н. К. Михайловского по «Русскому богатству».

8. В. В. Лесевич, философ, сотрудник и пайщик «Русского богатства».

9. П. С. Ивановская, старшая сестра Е. С. Короленко; как участница народофильского движения, была приговорена к пожизненной каторге, замененной в 1898 г. ссылкой.

10. Е. М. Феоктистов, начальник Главного управления по делам печати.

11. И. В. Гурко, варшавский генерал-губернатор.

12. Жена А. А. Дробышевского.

13. Н. Е. Ермилов, чиновник «по особым поручениям» у нижегородского губернатора, в прошлом судившийся за растрату, редактор «Нижегородского листка» до А. А. Дробышевского.

14. На Полевой улице жил Н. Ф. Анненский, а в нижней квартире до августа 1894 г. — семейство Лошкаревых и мать Короленко.

15. Имя Короленко как издателя появилось в июньской книжке «Русского богатства» за 1895 г. (этого требовал юридический статус); фактически журнал издавался на паях и на деньги подписчиков.

16. С октября 1895 г. группа народников, возглавленная С. Н. Кривенко, стала издавать журнал «Новое слово», который с марта 1897 г. перешел во владение легальных марксистов (П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и др.).

17. Нижегородка М. Н. Строева со слепнувшим сыном посетила протоиерея Иоанна Кронштадтского.

18. В редакцию «Нижегородского листка».

19. К. Ф. Головин, публицист и романист консервативного лагеря, чиновник Министерства гос. имуществ.

20. Л. П. Шелгунова, жена известного публициста Н. В. Шелгунова.

21. А. Л. Флексер (псевдоним — Волынский), критик, редактировал вместе с Л. Я. Гуревич журнал «Северный вестник».

22. После смерти годовалой дочери Ольги 29 мая 1896 г. и переутомления, связанного с Мултанским процессом, Короленко страдал бессонницей.

23. Семья Короленко проводила лето в деревне Растяпино под Н. Новгородом.

24. Толстовская земледельческая колония.

25. Сатирическая сказка «Стой, солнце, и не движись, луна» опубликована впервые в 1927 г., в т. XXII Полного посмертного собрания сочинений Короленко, которое осталось незавершенным.

26. Статья «О сложности жизни» («Русское богатство», 1899, № 8, ноябрь). В 1914 г. получила авторский подзаголовок «Из полемики с «марксизмом» и поэтому ни разу не публиковалась в советские годы, вплоть до наших дней.

27. Н. В. Короленко писала: «Сегодня Папа вывесил дощечку с приемными часами, и одна барышня, увидав дощечку, уже хотела уйти; как только это Папа увидел, он открыл форточку и сказал ей, чтобы не обращала внимания на вывеску, что ее сейчас только повесили и что она ничего не значит. <...> К нам сейчас пришел Сильчевский <библиограф>. <...> Вообще, папины приемные часы и дни не отличаются ничем от прежних. Приходила еще одна барыня».

28. Н. Г. Гарин-Михайловский.

29. Лето 1900 г. семья Короленко провела под Уральском, где он собирал материал для неосуществленного романа о Пугачеве — «Набеглый царь».

30. По четвергам в редакции «Русского богатства» собирались сотрудники и друзья журнала.

31. Мать Короленко, которая поселилась в Полтаве, в его семье.

32. 40-летие литературной деятельности Н. К. Михайловского.

33. Сборник «На славном посту», посвященный Н. К. Михайловскому, был задержан цензурой и вышел лишь в марте 1901 г.

34. Один из псевдонимов Н. С. Русанова, постоянного сотрудника, а с 1912 г. члена редакции «Русского богатства». С начала 80-х гг. до 1907-го жил в Париже как политический эмигрант. Ни Русанов, ни Короленко в семинарии не учились.

35. 4 марта 1901 г. полиция и казаки жестоко разогнали студенческую демонстрацию у Казанского собора в Петербурге.

36. По предположению биографа Короленко А. В. Храбровицкого, это шутовское прозвище земляка Е. С. Короленко — Н. Е. Парамонова, владельца крупной торгово-промышленной фирмы в Ростове-на-Дону и главы демократического издательства «Донская речь».

37. Н. Ф. Анненский был выслан из Петербурга и полтора года жил в Куоккале.

38. Заявление-протест против действий полиции 4 марта 1901 г.; послужило причиной для закрытия Союза писателей и целого ряда высылки из Петербурга.

39. Короленко заявил, что слагает с себя звание почетного академика в связи с кассацией выборов Горького, объявленной властями от лица Академии без согласования с ней.

40. Банкеты в ресторанах были единственной формой коллективных сборищ, для которой не требовалось предварительного разрешения полиции; «эпоха банкетов» продолжалась до революции 1905 г., когда была провозглашена свобода собраний.

41. Высочайший манифест от 26 февраля 1903 г. о ходе преобразований в России упоминал о смуте, «посеянной отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением начальными, чуждыми русской жизни».

42. В. С. Ивановский, старший брат Е. С. Короленко, политический эмигрант, живший в Румынии под именем Петра Александрова.

43. В июле 1903 г. Короленко совершил пешую экскурсию в Саров на открытие мощей Серафима Саровского.

44. Т. А. Богданович, племянница Н. Ф. Анненского.

45. Домашнее прозвище А. Н. Анненской, жены Н. Ф. Анненского.

46. Н. Ф. Анненский был выслан из Петербурга и жил в Ревеле (Таллинне) с конца марта по сентябрь 1904 г.; возвращен по ходатайству Литературного фонда.

47. С. Н. Южаков, экономист и публицист, сотрудник и пайщик «Русского богатства», был редактором Большой энциклопедии, СПб., 1900—1909 гг.

48. А. Г. Горнфельд, критик, с 1904 г. член редакции «Русского богатства».

49. Так именовался лозунг «Долой самодержавие!».

Вступительная заметка, публикация и примечания М. Г. Петровой

(Окончание следует)

«О, КАКИМИ БЫЛИ Б МЫ СЧАСТЛИВЫМИ. . .»

Жиденькая очередь у прилавка с вывеской «Отдел заказов». Поношенные пиджаки, усталое ворчание. . .

А в этой очереди, тянущейся с амфитеатра институтской аудитории, — толчея, возбуждение. Ребята в ковбойках спорят, размахивают руками.

В руках у поношенных пиджаков авоськи; приближаясь к голоистой пухлой продавщице, старики достают из кармана тщательно сложенную пополам бумажку с надписью «Приглашение».

Невелик труд установить даты очередей. Первая, в московском продмаге с «Отделом заказов», — 5 мая 1993 года. Вторая — та, что в одном из столичных вузов, — 22 июня 1941 года, когда после бурного митинга началась запись добровольцев. Сложнее уловить связь между ними. Хотя — чем черт не шутит — возможно, кто-то из тех, в ковбойках, жметя сейчас у прилавка в своем жеваном пиджачке с орденскими планками и мечтательно вспоминает. . . Нет, не о том, как более полувека назад рвался волонтером на передовую. Вспоминает, как в позапрошлом году в «Отделе заказов» по случаю праздника Победы ветеранам Великой Отечественной за гроши продавали немецкую ветчину в банках, сухое, немецкое же, молоко, вкуснейший маргарин, пачки сдобного печенья, всякие другие германские лакомства; сегодня выдают кофейный напиток российского изготовления да кило сахарного песка за 240 рэ.

Избави, однако, Бог от поспешных умозаключений, от высокомерного взгляда со стороны, от пренебрежительной иронии, что вошла в обыкновение. И от другого: казенных открыток, написанных школьниками под диктовку учительницы, от льстивых речей, произносимых по случаю Дня Победы. Избави Бог от короткой памяти.

Они, состарившиеся, грубо отброшенные на обочину, когда-то своей кровью отстояли землю, где родились, они уничтожили смертельную для себя и для нее опасность. Недоумение застыло на их морщинистых лицах, в выцветших глазах: за что же с нами так?

Вряд ли в истории России было поколение с более противоречивой и драматической участью, нежели то, какое принято именовать фронтовым. Оно выкошено сильнее остальных и сильнее остальных заморочено: поставило крест на Гитлере и упрочило сталинизм, прошло пол-Европы, прикладом сбивая замки с нацистских концлагерей, «фабрик смерти», и, вопреки воле своей, закладывая фундамент для новых застенков, прокладывая маршруты на Архипелаг ГУЛАГ. . .

Грех за собственной бедой не видеть чужую. И все-таки, думается мне, «потерянному поколению» Хемингуэя и Ремарка досталось меньше, чем нашему, начавшему себя «терять» еще на исходе сороковых, с наступлением пятидесятых.

Тогда, в пору первого разочарования, люди, только вчера полные надежд и веры, почувствовали свою неприкаянность. Не все, разумеется, отнюдь не все.

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.

«Я понял», — сказал Борис Слуцкий, — «я», но не «мы».

Время не даровало ясности. Скорее — усилило внутреннее смятение, а новые поколения несли свою правду. Или то, что им виделось правдой.

Помню, на берегу пруда в Малеевке вечером завязался спор о только что написанной Александром Галичем песне «Мы похоронены где-то под Нарвой». В первоначальном варианте там было сказано:

Где полегла в сорок третьем пехота,
За дело, не зря, —
Там по пороше гуляет охота...
Трубят егеря.

Молодой физик кипятился: «Зря, абсолютно зря! У американцев на подходе была атомная бомба. Конец войны был предрешен! Кто-то ему пылко возражал. Галич отсутствующе молчал. Когда мы возвращались к себе, в Дом творчества писателей, он заметил: «Надо еще подумать».

В окончательном виде вторая строчка приведенной выше строфы не оставляет сомнений: «Без толку, зазря». В сборнике, изданном по-смертно «Посевом» (Германия, 1981 г.), песня названа «Ошибка».

Одно из стихотворений Александра Межирова начинается едкой насмешкой над «старой развалиной», сохранившей веру в Сталина и классовую сущность бытия. Но тональность меняется:

Были мы с тобой однополчанами,
Сталинскому знамени клялись.

У них единое прошлое — у поэта и у «старой развалины», противопоставлением тут не пахнет. Они связаны пролитой кровью. Однако это и ведет к неожиданному финалу. Первая его строчка спокойна, описательна и вроде бы ничего не сулит:

Шли, сопровождаемые взрывами...

Обычные слова, знакомые детали батальной картины. Но дальнейшее настаивает:

По своей и по чужой вине.

Это какая же «своя» вина, соединенная с «чужой»?

Ни разъяснений, ни попытки определить степень вины, уравнивающей враждующие стороны. Факт просто констатируется. Для поэта он — аксиома, данность. Очевиден он и многим сверстникам-однополчанам. Его трагизм бесспорен, и ни с чем не сравнима кара за вину.

Третья строка, давшая название моим заметкам, «вне контекста» звучит почти романсово. Но лишь вне контекста, а главное — без продолжения, где смерть уподоблена счастью:

О, какими были б мы счастливыми,
Если б нас убили на войне.

Впрямую таких слов я не слышал в очереди у прилавка «Отдела заказов». Но что-то смутно близкое угадывалось во фразах, исполненных горечи, иногда — отчаяния.

Не надо принимать эти речи за конечную истину. Межировское стихотворение не «закрывает» тему. Вообще, на мой взгляд, она за-

крытию не подлежит. Слишком много крови, слишком глубока трагедия.

Только наивные люди, только самовлюбленные, отрешившиеся от мира сочинители воображают, будто между кровью, пролитой народом, между пережитой им страшной бедой и литературой нет связующих нитей. Если их нет — литература мельчает, а то и опускается до «рукоделья от безделья». Пусть это рукоделье достаточно искусно украшено изящными постмодернистскими виньетками, забавно смонтированными цитатами.

Нет ныне, вероятно, более непопулярного слова, чем «долг». Оно опошлено, дискредитировано официальной пропагандой, уродливой большевистской идеологией, претендовавшей на роль высшей воли. От заштампованного некогда словосочетания «долг деятелей литературы и искусства» испытываешь сегодня содрогание, смешанное с отвращением. Насилие над художником, запрет на свободу творчества не могли не вызвать ответного противодействия, в том числе и в крайних его формах, в болезненной реакции, способной сместить нормальные представления.

Литература, искусство не свободны от великого внутреннего, нравственного долга. Да, они самоценны. Но реальность жизни, реальность истории для них не трин-трава. Люди в жалкой магазинной очереди — не десятая вода на киселе.

Истоки нынешних настроений, достаточно прочных в литературной среде, понятны. Понятна их неизбежность и — временность.

К прежнему возврата нет. Даже если кто-то его оплакивает или поддакивает оголтелым коммуно-реваншистам. Литературу не загнать в колхозное стойло, не посадить на идеологический силос. Однако, свободная от директив и удавок, она так или иначе зависима от народной жизни, от давнего и недавнего прошлого. От стариков, уцелевших в смертельном огне и потому не сподобившихся счастья, каким сегодня рисуется фронтовая гибель.

В. Кардин

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

Роман

Перевела с английского Юлия Муравьева

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАБА

Жаб, заживо погребенный в промозглой и вонючей темнице, малопомалу уразумел, что зловещий сумрак средневековой крепости отрезал его от мира, расчерченного ровными, стремительными стрелами дорог, на которых так недавно — такой счастливый! — развлекался он, не зная меры и удержу, будто всю Англию целиком приобрел себе в собственность, — и рухнул на пол, и залился горькими слезами, и предался черному отчаянию. Ах, конец, всему конец (говорил он), по крайней мере, делу жизни Жаба конец — а это ведь одно и то же, — стройного и знаменитого Жаба, богатого и радушного Жаба — Жаба столь непринужденного, грациозного и веселого! Как же надеяться мне на освобождение (говорил он), мне, наказанному по заслугам, справедливо осужденному за наглое похищение такой красивой машины да еще за эту безумную, роковую дерзость, с которой обрушился я на толпу жирных краснорожих полицейских! (И он захлебнулся рыданиями.) О глупец! (говорил он). Теперь суждено мне чахнуть и гнить в ужасном каземате, и те, кто гордился знакомством со мной, забудут отныне даже самое имя Жаба. О мудрый старый Барсук! (говорил он) Гениальный Крыс! Благоразумный, здравомыслящий Крот! Как трезвы были ваши суждения, какое знание человеческой природы и сущности вещей проявили вы! Ах я горемычный, покинутый Жабчик!

Так сетовал Жаб дни и ночи напролет; неделя сменяла неделю, и, хотя мрачный старик тюремщик, осведомленный о приятном содержимом карманов своего подопечного, частенько намекал, что за соответствующую плату можно договориться и, получая с воли все необходимое, жить в относительной роскоши, — он отказывался от пищи и ни кусочка не брал в рот.

Была у тюремщика дочка, девица славная и приветливая; всегда бралась она за посильную работу, с удовольствием помогая отцу. Она обожала животных, держала канарейку, чья клетка, к досаде предающихся радостям тихого часа арестантов, весь день висела на гвозде, вбитом в стену каземата, а ночью, укутанная покрывалом, заботливо водружалась на стол в гостиной; а кроме того — еще и парочку пестрых

мышек, и неугомонную белку с ее колесом. И вот однажды, жалеючи Жаба и сострадая его горю, добрая девушка обратилась к отцу:

— Папочка! Я просто сама не своя становлюсь, когда вижу эту несчастную животинку: от него кожа да кости остались! Можно я займусь с ним? Пожалуйста! Попробую приручить — ты же знаешь, я без ума от зверюшек, — он будет у меня с ладони есть, и служить, и разным другим штучкам выучится.

Тюремщик, сытый по горло Жабьим вечно надутым лицом, его скарденостью и брюзжанием, предоставил дочери полную свободу действий. И в тот же день, послушная голосу милосердия, она уже стучалась в дверь камеры Жаба.

— Что это за плакса лягушенция? — вкрадчиво проворковала она, входя. — Ну-ка, подымайся, вытри слезки поскорее, будь умницей. И поешь хоть немножечко — смотри, чего я тебе принесла: мой собственный обед, прямо с пылу с жару!

Благоухание жаркого с овощами, вместо крышки накрытого тарелкой, наполнило тесную камеру. Сочный капустный дух коснулся ноздрей распростертого на полу страдальца и заставил его усомниться в тщете всего сущего. Тем не менее он продолжал подвывать, и сучил ножками, и никак не желал успокаиваться. Тогда смекалистая девица удалилась — впрочем, запах горячей капусты, как водится, не успел ускользнуть следом; и Жаб в промежутках между всхлипами приняхивался и размышлял, и вскоре совершенно новые, бодрящие думы зароились в его голове: он вспомнил о рыцарях, о поэзии, о подвигах, которые еще только предстоит совершить; о том, как, ласкаемые ветром и солнцем, пасутся стада на бескрайних заливных лугах; об огородах, о ровных цветочных шеренгах, окаймляющих клумбы; о жарких свечах львиного зева, усыпанных пчелами; о сладостном позвякивании посуды в столовой Жабьего Холла; о стульях, скребущих ножками пол, когда гости придвигаются поближе к тарелкам, чтоб заняться делом. Розоватая дымка заколыхалась в спертom воздухе крошечной камеры. Впервые задумался Жаб о том, что друзья его наверняка смогут что-то предпринять; об адвокатах, которые пришли бы просто в восторг от этого случая, — и какого дурака он сваял, что не удосужился нанять хоть парочку. Наконец обратился он мыслью к собственной находчивости и ловкости, к бесчисленным свершениям, на которые подвигнет его могучий разум, — и исцеление было практически завершено.

Девушка вернулась через несколько часов, неся на подносе чашку дымящегося ароматного чаю и тарелку с грудой очень горячих, промасленных гренков — толстых, покрытых с обеих сторон румяной, хрустящей корочкой, и масло сочилось из хлебных пор крупными золотыми каплями, словно сотовый мед. Запах поджаренных гренков без обиняков обратился к Жабу, и голос его звучал уверенно и твердо. Он говорил о натопленных кухнях, о завтраках ясным морозным утром, о том, как славно развалиться у огонька зимой в сумерках, задрать ноги в домашних тапочках, гудящие от долгой прогулки, на каминную решетку; напоминал, как мурлыкают довольные, разомлевшие кошки, как нежно пересвистываются сонные канарейки. И Жаб принял сидячее положение, утер слезы, отхлебнул чаю и с жадностью набросился на гренки. Вскоре он всюю чесал языком, похваляясь собой, своей усадьбой, своими великими историческими деяниями, пред коими склонялись в немом восхищении многочисленные почитатели и друзья.

Тюремщикова дочка, смекнув, что и чай, и поджаренные хлебцы не столь полезительны для здоровья арестанта, сколь сам предмет беседы, решила не охлаждать его пыл.

— Расскажи мне про этот Жабий Холл, — попросила она. — До чего название красивое!

— Ха! Жабий Холл! — промурлыкал Жаб, раздуваясь от гордости. — Жабий Холл — единственно приличествующее истинному джентльмену поместье: изолированное от внешнего мира, абсолютно уникальное — частично датируется четырнадцатым веком, но оборудовано современными удобствами. Канализация, водопровод — все по последнему слову техники. В пяти минутах ходьбы от церкви, почты, площадки для гольфа. Идеально...

— Да Бог с тобой! — расхохоталась девица. — Я ж не собираюсь покупать это твоё поместье. Ты мне его лучше так опиши, чтоб как живое перед глазами встало. Только обожди чуток — я схожу еще чайку принесу и гренок.

Она убежала и тут же вернулась с полным подносом; Жаб, вгрызаясь в румяный, хрустящий хлеб, почувствовал себя совершенно счастливым, и вдохновенные слова полились неудержимым потоком. Он расписывал лодочный сарай, и пруд с рыбками, и чудесный огород, обнесенный старинной оградой, свинарники, конюшни, голубятни и курятник, маслостойку и прачечную, буфеты и бельевые шкафы (они ей особенно понравились), пиршественный зал, и празднества, и застолья, где он, Жаб — блестящий оратор и балагур, всегда в голосе и в ударе, — развлекал гостей, распевая песни и рассказывая байки и анекдоты, — и все веселились до упаду, влюбленные в очаровательного хозяина.

Затем девушке захотелось узнать побольше о его друзьях, их привычках и склонностях — объяснения она слушала внимательно, не перебивая, и, боясь ненароком обидеть Жаба, ни словом не обмолвилась, что зверюшки для нее в основном — просто милые домашние питомцы. Когда стемнело, она пожелала узнику доброй ночи, наполнила кувшин питьевой водой, перетрясла соломенную подстилку, и Жаб, жизнерадостный и самодовольный, почти как в прежние вольные времена, прогорланил пару песенок, из тех, что певал обычно на разного рода торжествах, и, зарывшись в солому, провел ночь в приятнейших сновидениях.

Потом они много и часто болтали, коротая безрадостные дни, и дочь тюремщика проникалась все большим состраданьем к бедному мученику. «Позор, — думала она, — какой позор — засадить в тюрьму несчастную лягушечку, которая не сделала никому ничего плохого!» Сам проступок Жаба казался ей, разумеется, совершенно ничтожным. Жаб же, ослепленный собственным тщеславием, полагал, что сделался предметом нежных девичьих грез — радость победы омрачала лишь мысль о низком происхождении страстно влюбившейся миляшки-служаночки, не оставляющем надежд на будущее соединение.

Однажды утром девушка, как обычно, заглянула навестить подопечного, но вела себя странно: отвечала невпопад, кивала задумчиво и рассеянно — словом, не уделяла должного внимания остроумию Жаба, его шуткам и блистательным каламбурам.

— Жабик, — сказала она наконец. — Послушай, пожалуйста. Моя тетя — прачка.

— Ничего страшного, — милостиво утешил ее великодушный Жаб, — не расстраивайся, выбрось это из головы. У меня тоже есть несколько тетюшек, которым совсем не помешало бы поработать прачками.

— Ради Бога, помолчи хоть минутку, Жаб, — поморщилась она. — Ты такой жуткий болтун — сил нет; думать мне мешаешь — аж голова разболелась! Ну так вот: тетя у меня — прачка, она тут в замке стирает бельишко всем арестантикам, понимаешь, у нас в семье лишние деньги не водятся, а ей неплохо платят. Забирает она стирку утром в понедельник, а приносит в пятницу вечером. Сегодня четверг. В общем, идея такая. Ты богатый, во всяком случае, если не врешь, а они — бедная. Для тебя несколько фунтов пустяк, а ей — целое состояние. И

ежели с умом подойти к делу (по-вашему, по-звериному — уломать ее, что ли?), она отдаст тебе и свое платье, и чепчик, и все прочие причиндалы, и тогда тебя с ней перепутают и преспокойненько выпустят отсюда — не веришь? Честно, вы с ней ужасно похожи, особенно фигурой.

— Ничего подобного! — разъярился Жаб. — При такой наследственности у меня очень даже изящная фигура.

— У моей тети тоже, — отрезала девушка, — при ее наследственности. Ну тебя к черту! Ты гнусная, чванливая, неблагодарная скотина, а я еще тут переживаю, помочь пытаюсь!

— Да-да-да, верно, — заволновался Жаб, — я очень тебе благодарен. Только сама посуди — где это видано, чтобы мистер Жаб из Жабьего Холла разгуливал у всех на глазах, переодетый прачкой?

— Да что ж такое-то! — закричала возмущенная девица. — Ну, пожалуйста, сиди в тюрьме Жаб Жабом — надоел! Ты, видно, считаешься выехать отсюда в карете цугом?

Отдавая должное Жабу, следует отметить, что наш герой всегда охотно признавал свою неправоту.

— Ты умница, лапочка, прелесть что за девочка, — покаянно повесил голову Жаб. — А я и впрямь спесивая да глупая лягушка. Не сердись, прости меня и познакомь со своей тетушкой, достойной и почтенной леди. Я уверен, что мы сумеем найти общий язык и договоримся, к обоюдной выгоде.

Вечером следующего дня прачка с аккуратно завернутой в полотенце и заколотой булавкой свежей сменой Жабьего белья, сопровождаемая племянницей, вошла в мрачную камеру. Девушка заранее разъяснила ей суть дела, и вид золотых соверенов, предусмотренно разложенных Жабом на самом видном месте посередине стола, развеял последние сомнения. Оставалось лишь обсудить кой-какие детали. В обмен на звонкую монету Жаб получил платишко из набивного ситца, фартук, шаль и порыжелый от старости черный чепец. Единственное условие поставила старушка — чтоб ее связали, заткнули кляпом рот и зашвырнули в угол. Таким нехитрым — и, надо сказать, весьма неубедительным — образом, присочинив вдобавок захватывающую историю, она надеялась снять с себя подозрения и не потерять работу.

Жаб пришел в восторг. Теперь его побег из грозного узилища был обставлен достаточно оригинально и незапятнанной оставалась репутация отчаянного и опасного парня. С готовностью бросился он на помощь тюремщицкой дочке и приложил все усилия к тому, чтобы в старой прачке безошибочно угадывалась жертва обстоятельств, над которыми бедняжка не имела — и не могла иметь — никакой власти.

— Теперь твоя очередь, Жабик, — заявила девица. — Давай снимай пиджак — и жилетку тоже, — ты и так очень толстый.

Трясая от смеха, она впихнула его в ситцевое платье, умудрившись даже застегнуть крючки, расправила шаль, придав складкам необходимую естественность и непринужденность, и завязала бантиком ленты порыжелого чепца.

— Ну прямо вылитая — вот умора! — хихикнула она, придиричливо осматривая свое творение. — Ты небось никогда в жизни и близко так прилично не выглядел. Ладно, Жаб, до свидания и желаю удачи. Помнишь, как тебя вели? Иди той же дорогой и, если кто-нибудь к тебе будет приставать, — а чего еще ждать от них, мужиков? — можешь отшутиться, только не забывай, что ты вдова, и одна-одинешенька на свете, и дорожишь своим добрым именем.

Сердце пойманной птичкой трепыхалось в Жабьей груди; стараясь ступать по возможности твердо и уверенно, он направил осторожные шаги туда, где таилось рискованное приключение, где поджидала опасность, а может, и расплата за опрометчивую дерзость. Однако ничего

страшного не произошло, препятствия преодолевались с удивительной, неправдоподобной легкостью; самолюбие Жаба страдало. Ведь причиной столь радушного приема была некая особа жеского пола, нелепое одеяние с чужого плеча. При появлении намозолившей глаза коренастой фигурки в ситцевом платье, словно по мановению волшебной палочки, распахивались мрачные двери, со скрипом отворялись тяжелые створки ворот. Стоило Жабу приостановиться в нерешительности на развилке двух коридоров, как охранник со следующего поста выручил его из беды.

— Проходи живей, у меня чай стынет! — пританцовывая от нетерпения, крикнул ужасный страж. — Не могу ж я тут целую ночь торчать по твоей милости!

Именно сыпавшиеся со всех сторон прибаутки и шуточки, которые надлежало парировать — находчиво, бойко, без запинки — и представляли главную угрозу Жабову мероприятию, потому что обладал он повышенным чувством собственного достоинства и не выносил убогих остроумств простонародья: их плоский, грубый юмор казался ему неприемлемым и совершенно не смешным. С трудом сдерживая закипающий гнев, он отшучивался направо и налево в духе вполне соответствующем предполагаемому прачкиному характеру, стараясь, впрочем, по мере сил оставаться в рамках приличий и хорошего вкуса.

Мучительно медленно тянулось время, но наконец он пересек последний внутренний двор, отклонил назойливые, непристойные приглашения солдат из последней караулки и ускользнул из призывно распростертых рук последнего стражника, молящего с фальшивой страстью о хотя бы одном прощальном объятии. Лязгнув, захлопнулась позади дверца в огромных воротах, свежий ветер открытого мира коснулся озабоченного чела, и Жаб понял, что свободен!

Ошеломленный головокружительным успехом, опьяненный собственной отвагой, он заторопился в направлении городских огней, абсолютно не представляя, что делать дальше, но уверенный в одном: надо как можно скорее убираться из мест, где дама, роль которой ему бесцеременно навязали, пользуется столь бешеной популярностью.

Так, прикидывая и размышляя, шагал он по дорожке, рассеянно глядя по сторонам, и не сразу обратил внимание на мигающие вдали, на окраине города, красные и зеленые огоньки, а заметив, остановился как вкопанный и, наострив уши, прислушался к пыхтенью и фырканию паровозов, к грому ханью товарняков, переводимых на запасные пути.

— Ага, — прошептал он, — вот это повезло! Именно вокзала мне и не доставало для полного счастья. И не нужно тащиться через весь город, нервничать, и унижаться, и отпускать шуточки — хоть и остроумные, и бьющие в цель, — а, однако, ощутимо умаляющие мое самолюбие.

Добравшись до вокзала, он внимательно изучил расписание и обнаружил вполне подходящий поезд, отправляющийся через полчаса. «Везет мне сегодня!» — подумал Жаб и в наилучшем расположении духа побежал к кассе за билетом.

Он назвал станцию, ближайшую к деревне, главной достопримечательностью которой был Жабий Холл, и в поисках необходимой суммы попытался засунуть руку туда, где полагалось находиться жилетному карману.

Но ситцевое платье, сослужившее ему верную службу, доблестное платье, подло, предательски позабытое, преградило путь нетерпеливым пальцам и свело все усилия на нет. В панике хлопал он себя по бокам, шарил по животу, мотал головой, силясь стряхнуть навалившийся кошмар, а жуткая, противоестественная ситцевая штуковина хватала

его за руки, издеваясь и хохоча во все горло. Сзади скопилась очередь, пассажиры, переминаясь с ноги на ногу, высказывали предположения в меру и не в меру разумные, давали советы, полезные и не очень, и вообще весьма ехидно и скептически комментировали происходящее. Наконец, поистине чудом,— он так никогда и не понял, как именно,— преодолев все барьеры и разрушив преграды, он проник в уголок, где испокон веков располагались жилетные карманы. Он не нашел не только денег, но и кармана, надобного для их хранения, и даже самого жилета, без которого невозможно существовать ни одному карману. К ужасу своему, припомнил Жаб, что и пиджак, и жилет остались в тюрьме, а вместе с ними записная книжка, деньги, ключи, часы, спички, пенал — бесценные вещицы, без которых жизнь теряет смысл и которые собственно и отличают многокарманное животное — венец творения — от животных низших, однокарманных или вовсе бескарманных существ, что скачут и суетятся повсюду, бездумно резвясь, неспособные отстоять свое место под солнцем, неприспособленные к настоящей борьбе.

Безмерно раздосадованный, он предпринял отчаянную попытку выпутаться из беды, приосанился и, полагая, что ни один Университетский Профессор и ни один Мировой Судья не сравнятся с ним по благородству манер, жеманно прокудахтал:

— Послушайте, я такая рассеянная, вечно со мной что-нибудь приключится. Кошелек потеряла — вот незадача! Вы знаете что — просто дайте мне билет, а деньги я завтра перешлю. Об обмане не может быть и речи — меня здесь слишком хорошо знают.

С минуту кассир оторопело глазел на порыжелый черный чепец.

— Надо думать! — рассмеялся он наконец. — Эдак развлекаясь, немудрено создать себе репутацию. Потрудитесь отойти от окошка, сударыня, не мешайте пассажирам!

Пожилой джентльмен, давно уже тыкавший Жаба в спину крючковатым пальцем, немедленно вытолкнул его из очереди да в придачу обозвал «любезнейшей» и «мамашей», и слова эти отчего-то сильнее всего разозлили незадачливого беглеца.

Несчастный, опозоренный, ковылял он по перрону вдоль стоящего поезда, и слезы застилали глаза и капали с кончика носа.

— Господи, как горько, — бормотал он, — я был на пороге спасения, чуял запах родного дома — и вдруг все летит в тартарары, к чертовой бабушке из-за пары каких-то идиотских шиллингов, из-за глупой недоверчивости сутяг и бюрократов! Скоро побег обнаружится, начнется погоня, меня поймут, осыпая площадной бранью, закут в тяжелые цепи и, как куль, сволокут обратно в тюрьму; и наказание, и охрана будут удвоены — и... Боже, Боже! — нет! — прочь, ужасное виденье, не хочу даже думать о том, как язвительно усмехнется прелестная девица при моем появлении! Что делать? Ходок я никудышный, а телосложение имею хоть и изящное, но прискорбно заметное.

Он решил, что наверняка сумел бы втиснуться под скамейку в вагоне. Так поступали обычно школьники, растратив на забавы и игрушки деньги, выделенные для путешествия заботливыми родителями. Поглощенный этой идеей, он не заметил, как добрал до паровоза. Машинист, огромный, грузный, зажав в одной руке масленку, энергично орудовал скомканной тряпкой: смазывал, чистил, натирал до блеска — словом, всячески обихаживал своего железного скакуна.

— Здорово, мать! — окликнул он Жаба. — Чего глаза-то на мокром месте? Неужто злые люди обидели?

— Ох, сэр, — простонал Жаб и, всхлипнув, зарыдал с новой силой, — я бедная несчастная прачка, потеряла кошелек, все денежки до последнего пенса, нечем за билет заплатить — как же мне теперь попасть домой? Что делать, что делать? Ой-ой-ой, пропала я, Господи!

— Дело дрянь, — задумчиво покачал головой машинист. — Потеряла деньги, не можешь до дому добраться, а там небось детишки ждут не дождутся?

— Верно, сэр, целая куча, всех не пересчитать, сэр, — запричитал Жаб. — Деточки, голодненькие, — и будут играть со спичками, и опрокинут лампы, бедные невинные крошки! — и перессорятся, и набезобразничают! Ох, беда. . .

— Есть у меня одна задумка, — перебил его добросердечный машинист. — Ты, значит, прачкой трудишься — так это хорошо, это нам очень даже подходяще. Я вот, к примеру, паровозный машинист — да ты, верно, и сама докумекала. Работенка — и нечего тут стыдиться — не для чистюль, прямо скажем, грязная работа — рубахи аж черные делаются, старуха моя все руки себе стерла, стираючи да полоскаючи. Так вот — давай уговоримся: я тебе соберу узелок с бельишком, ты его дома простирнешь и отошлешь взад по почте. А я за это подвезу тебя на паровозе. Согласна? Тогда по рукам. Оно, конечно, супротив правил, но в таком захолустье никто особо придираться не станет.

Не дожидаясь повторного приглашения, Жаб проворно полез в кабину паровоза. Слезы его высохли, сердце сладко замирало от восторга и нетерпения. Разумеется, он в жизни не выстирал ни одной рубашки, не знал, как это делается, да, впрочем, и не собирался вникать в тонкости древнего мудреного ремесла. «Вот попаду домой, — думал он, — и у меня будут деньги, и я туго набью карманы, все карманы, которые попадутся мне под руку, — и тогда отправлю славному парню определенную сумму. . . м-да, приличную сумму, достаточную, чтоб нанять прачку. Не вижу в этом ничего предосудительного. Какая разница? Так даже лучше».

Взмахнув флажком, дежурный дал сигнал к отправлению, машинист весело свистнул в ответ, и поезд тронулся. Постепенно набирая скорость, он оставил позади городские окраины; по сторонам замелькали поля, и деревья, и живые изгороди, коровы и лошади, и Жаб окончательно поверил, что спасен, что с каждой минутой приближается к Жабьему Холлу, — а там его ждут замечательные друзья, и карманы, и нежное позвякивание золотых монет, и мягкая кровать, и приятные сны, и полезная, вкусная пища. Он представил, как восхищенная аудитория, затаив дыхание, внимает рассказу о приключениях и злоключениях, как бешено рукоплещет, покоренная умом и талантом оратора, — и от избытка чувств волчком завертелся по кабине, высоко подпрыгивая и распевая во все горло, чем привел в полное недоумение машиниста, имевшего некоторое, хоть и довольно смутное, представление о племени прачек. Такую прачку он видел впервые в жизни.

Мирно стучали колеса, поезд убежал все дальше от ненавистных мест, и Жаб начал уже прикидывать, что заказать на ужин, как вдруг заметил странную перемену в поведении своего компаньона. Озадаченно наморщив лоб и вытянув шею, машинист то и дело высовывался из окна и к чему-то прислушивался. Затем вскарабкался на угольную кучу и, оперевшись на крышу паровоза, долго вглядывался в темноту. Вернувшись, он пробурчал:

— Ну, чудеса. Наш поезд в эту сторону по расписанию последний — а вот поди ж ты — там, сзади, еще один, чтоб мне провалиться, меня мои уши не обманывают.

Жаб, вздрогнув, перестал паясничать. Притихший, бледный, он почувствовал, как занял позвоночник; тупая боль отдавалась в ноги, захотелось сесть и ни о чем не думать.

Вошла луна. Машинист, заняв устойчивую позицию на угольной куче, смотрел назад, и рельсы лежали перед ним — ярко освещенные, четкие до самого горизонта.

— Ну, здарсьте-пожалуйста! — воскликнул он немного погодя. — Вон он, паровоз, в точности на наших путях — да как шибко идет: уж не за нами ли гонится?

Несчастный Жаб, скрючившись, сидел в угольной пыли, лихорадочно соображая, не осталось ли хоть какой лазейки, хоть малейшего шанса спастись.

— Догоняют! — закричал машинист. — Во наяривают, олухи царя небесного! И какие занятые — их там целая куча, паровоз набит аж под завязочку. Одни — ну чтоб не соврать — навроде старинных стражников и машут алебардами, другие — полицейские в касках, дубинками трясут; потом еще эти ребята, неряшливо так одетые, в котелках, даже отсюда ясно видать, что сыщики, у них-то трости и револьверы — словом, все они машут и вопят одно и то же: «Стоп-стоп-стоп!»

И тогда Жаб рухнул на колени посреди раскиданного угля и, вздев судорожно сжатые руки, взмолился:

— Спасите, о, пожалуйста, спасите меня, милый, добрый Мистер Паровозный Машинист, и я во всем признаюсь! Я не простая прачка, какой, должно быть, кажусь. Нет у меня детей, которые ждут не дождутся, — и невинных крошек нет, и вообще никаких. Я жаба, знаменитый, благородный милорд м-р Жаб. Отважный и мудрый, бежал я из отвратительной темницы, куда упрятали меня враги. Они кинулись в погону. Тот паровоз — по мою душу, сэр, и попадись я им в лапы — снова окажусь на цепи, на хлебе и воде, на грязной соломе. Горе, горе мне, бедному невинному Жабу!

Пристально посмотрел на него машинист и приказал сурово:

— Отвечай сейчас же: за что тебя упекли в тюрьму? И не вздумай хитрить и изворачиваться!

— Суший пустяк, — быстро ответил бедолага Жаб, заливаясь багровым румянцем. — Я просто позаимствовал один автомобиль: одолжил на время, пока хозяева обедали, — он им все равно был тогда ни к чему, верно? Я не собирался его воровать, честное слово, — но люди, и особенно судьи, так строго, так несправедливо наказывают за поступки, совершенные без злого умысла, всего лишь по велению пылкого, горячего сердца!

Машинист нахмурился.

— Боюсь, — грустно произнес он, — ты и в самом деле дурная жаба и, по совести, мне бы надо сдать тебя властям. Но уж так ты мучаешься, так страдаешь — я ж не изверг какой. Ладно, давай вместе выпутываться. Автомобили — да пропади они пропадом, не выношу я их и не выношу, когда полиция мною командует: я, черт побери, на своем паровозе, сам знаю, когда остановиться! А плачущие звери вообще могут из меня веревки вить — от ихних слез голова кружится и сердце плавится как масло. Не горюй, Жаб! Сейчас поднапряжемся и покажем им где раки зимуют.

Яростно работая лопатами, принялись они швырять в топку уголь. Пламя ревело, изрыгая искры; скрежеща, дергался и качался паровоз — и все же преследователи медленно приближались. Машинист вытер тряпкой потный лоб.

— Сдается мне, без толку это, Жаб, — вздохнул он. — Сам рассуди, они идут налегке, и паровоз ихний помощнее нашего будет. Эй-эй, не вешай носа, есть у нас в запасе еще одна хитрость — имей в виду, последняя, больше тебе надеяться не на что. Значит, слушай и мотай на ус. Тут чуток вперед проехать — и туннель, а потом рельсы по лесу проложены. Туннель длинный, лес густой. Так вот, через туннель мы понесемся на всех парах, а те, другие, ребята, напротив того, сбавят скорость, потому как аварии заботятся, а дальше, в лесу, я перекрою пар, нажму на тормоза; пойдем потихонечку-помаленечку — и тогда ты спрыгнешь и схоронишься в лесу по-быстрому, пока те не выбрались из

туннеля и тебя не застучали. А я тем временем опять припущу во весь дух, пушай они за мной гонятся сколько угодно — и куда угодно. Ну, держи ухо востро: как скоманую — тотчас сигай.

Они подбросили еще угля, паровоз, рыча, содрогаясь и громыхая, пулей влетел в туннель и тут же выскочил с другой стороны — на свежий воздух, напоенный спокойным лунным светом, и лес раскинулся вокруг, темный, готовый помочь. Машинист затормозил, Жаб спустился на подножку, поезд пошел тише, тише и наконец потащился со скоростью пешехода — и тогда раздался голос машиниста:

— Раз-два — давай!

Жаб прыгнул, скатился с невысокой насыпи, ощупал руки-ноги и, убедившись, что цел, пригнувшись, проскользнул в лес. Выглядывая из-за дерева, он увидел, как поезд вновь набрал скорость и, грохоча, умчался во тьму. Потом туннель выплюнул завывающий и свистящий паровоз преследователей: разношерстый экипаж его колошматил воздух своими многообразными орудиями и истошно голосил: «Стоп-стоп-стоп!» Промелькнув, они тоже исчезли, и Жаб, впервые со времени ареста, расхохотался от всего сердца. Впрочем, смех вскоре прекратился. Обступившая его ночь была поздняя, черная, холодная, а лес — чужой, незнакомый. Без денег, по-прежнему вдали от родного дома и от друзей, Жаб не мог рассчитывать даже на скромный ужин. Мертвое молчание наполнило мир, когда затих железный лязг и рык убежавших поездов, по спине поползли мурашки. Но покидать лесное укрытие казалось слишком рискованным; собравшись с духом, он развернулся и поплелся в самую чащу: необходимо было как можно быстрее распрощаться с проклятыми рельсами и оставить их далеко позади — чем дальше, тем лучше.

Проведя столько недель взаперти, в четырех стенах, Жаб не мог отделаться от мысли, что лес встречает его неприветливо и враждебно и, чего доброго, затеял сыграть с ним нехорошую, злобную шутку.

Моноotonно дребезжали погремушки козодоев, и Жабу мерещилось, что между деревьями по горячему следу крадутся стражники, держа наготове оружие. Бесшумная сова мазнула по плечу крылом, и беглец, уверенный, что это человечья рука, подпрыгнул как ужаленный и в ужасе оглянулся. Там никого не было, лишь большая птица, легкая в полете, как ночной мотылек, кругами уходила наверх, похохатывала, заходясь своим низким «Ух-ух-ух!», — и Жаб поморщился, оскорбленный дурным тоном вульгарной выходки. Немного погодя он столкнулся с лисом, который весьма скептически оглядел с ног до головы пухленькую фигурку в ситцевом платье и, подмигнув, прогнусил:

— Мое почтение, голубка. Я в прошлый раз недосчитался наволочки и полпары носков — ты прекрати это безобразие!

Хихикая, наглец прошептал дальше, а Жаб, клокоча от бешенства, судорожно зашарил по земле в поисках камня, но не нашел ничего подходящего, ничего достаточно увесистого, чтоб нанести обидчику ощутимое телесное повреждение. Тогда, продрогший, голодный и измученный, он вскарабкался в дупло дерева и, соорудив из сухих листьев и веток подобие постели, зарылся в нее и мгновенно уснул, и крепко спал до самого утра.

(Продолжение следует)

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Петр АЛЕШКОВСКИЙ (1952). Окончил исторический факультет МГУ, по кафедре археологии, работал в реставрационных мастерских. Опубликовал в журнале «Дружба народов» (№ 4, 1992) повесть «Чайки», вызвавшую широкий отклик читателей и литературной критики. В литературной периодике печатались рассказы из сб. «Старгород» и повесть «Жизнеописание Хорька» («Дружба народов», № 7, 1993). Живет в Москве.

Алексей БЕРДНИКОВ (1937), поэт переводчик, литературовед. Стихи и переводы печатались в журналах «Юность», «Смена», в «Литературной газете», в изданиях БВЛ и «Литературные памятники». Живет в Москве.

Марина ТАРКОВСКАЯ, окончила филологический факультет МГУ. Статьи, публикации об Арсени и Андрее Тарковских печатались в периодических изданиях: «Искусство кино», «Советский фильм», «Литературная газета». В журнале «Согласие» (№1, 1992 и №1, 1993) были опубликованы две первые части ее воспоминаний. Живет в Москве.

Мира ПЕТРОВА, канд. филол. наук. Автор более пятидесяти работ по литературе рубежа XIX—XX веков, среди которых выделяются статьи о В. Г. Короленко, М. Горьком, А. Блоке, П. Якубовиче, Н. К. Михайловском. Живет в Москве.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Алла МАРЧЕНКО

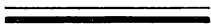
(зам. главного редактора)

Светлана БУЧНЕВА

(отв. секретарь)



Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.



Подписано к печати 29.10.93 ЛР № 01872 от 10.12.92

Формат 70×108^{1/16} Гарнитура «Литературная» Печать высокая
Физ. печ. л. 14,0 Тираж 3000 экз. Заказ 3845 Цена договорная

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ
140010, Люберцы-10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,
редакция — 235-14-10

Корректурa Э. А. Гендиной, В. А. Элькина

© Журнал «Согласие», № 8—12, 1993

SUMMARY

In this issue of «The Soglastye» we start the publication of a new novel by Petr Aleshkovsky, «The Harlequin, or The Life of Vasily Kirillovitch Trediakovsky». The novel is historical, a vivid portraiture of the eighteenth-century Russia in all its complexity and flourish for the author is a historian and a well-known prose writer.

The poems by Sergei Petrov (1911—1988), the translator of Baudelaire, will be a revelation to a reader. Anatoly Kobenkov, a poet from Siberia, is also in the poetry section of the issue.

Kirill Tyntaryov, a prosaic from Leningrad now dwelling in Sweden, in his short story «Sharmutta Americait» depicts Israel without either idealising or blackening it.

The letters of Vladimir Korolenko, a classic of pre-revolutionary Russian literature, form a life-story which would be of interest not only to the historians of literature.

In his regular column «Out of Context» V. Kardin turns to the problem of the «lost generation», the veterans of the Great Patriotic War in the post-perestroika Russia.

We finish the publication of the recollections of Marina Tarkovskaya entitled «The Fragments of a Broken Looking-Glass», an allusion to her brother Andrei Tarkovsky's world-famous film «The Looking-Glass» and a sort of a comment to it (for the beginning see No. 1) and of a new novel «A Desire to Be a Spaniard» by Sergei Yuryenen (started in No. 7), whose erotic prose gained its author a reputation of a literary scandalist. An afterword by Alla Martchenko and is intended to point at the peculiarities of Yuryenen's prose and to show its thoroughness and insight.

The publication of the novels «The Citadel» by Antoine de Saint-Exupery and «The Wind in the Willows» by Kenneth Grahame (both started in No. 1) is continued.

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1993, № 8—12

РЕДАКЦИОННО–ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексий,
А.М.Адамович, Г.П.Алференко, В.М.Борисов,
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков